НЁМАН

11/2017
НОЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 13.08.2017. Формат 70 ×108$^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,29. Тираж 1474. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +

Людмила РУБЛЕВСКАЯ



Авантюры студиозуса Вырвича[*]

Роман приключенческий и фантасмагорический

Глава восьмая

Как Прантиш с паном Полонием познакомился

Переступить через крыльцо — это вам не ложку затирки проглотить. Недаром в новый дом первыми пускают кошку или петуха — чтобы приняли на себя то, что под крыльцом прячется, гнев невидимого стража… Откупиться же от того стража всяк по-разному пробовал. Закапывали под крыльцом монеты, каплю ртути, змеиную шкурку, кусок железа, волчью голову или черную курицу, или еще страшнее — хоронили умерших некрещеными младенцев.

На пороге нельзя есть, сплетни притянешь, нельзя через крыльцо выплескивать во двор грязную воду — куриная слепота случится. Если что-то будешь на крыльце рубить — напустишь в дом ведьм и жаб. Зато нет более верного средства лечить болезнь от испуга, чем когда шептуха обрызгает тебя через распахнутые двери наговоренной водой или «убьет» перед ними испуг ножом или топором.

На этом крыльце лежала раздавленная ночная бабочка, ее обсыпанные серой блестящей пыльцой крылышки беспомощно прилипли к мокрому камню, и не верилось, что в них когда-то жил вольный воздух.

Доктор Лёдник был не суеверен, поэтому через крыльцо дома Реничей, мертвую бабочку и живые опасения переступил не колеблясь… А вот Прантиш Вырвич на его месте хорошо подумал бы, почему это на стук никто не отозвался, а двери отперты. Как говорили латиняне, даже между куском и ртом многое может случиться. Часть дома, который когда-то принадлежал отцу пани Саломеи, книжнику Ивану Реничу, Лёдники сдавали в аренду — там, где переплетная мастерская. И по всему выходило, что арендатор или кто-то из его челяди должны быть на месте… Но мастерская на замке. Прантиш достал саблю и заметил, что доктор тоже положил руку на эфес — значит, все-таки не потерял до конца бдительности, и жестом приказал Хвельке оставаться во дворе.

— Эй, есть кто дома?

Тишина… Но Вырвич был уверен, что они в строении не одни.

Так и случилось. В прихожей ждало человек десять — вооруженные до зубов вояки, которым не впервой стеречь в засаде. Посреди помещения, в кресле, неподвижно сидела пани Саломея Лёдник, бледная, напряженная, в больших синих глазах отчаяние. А за ее спиной, привалившись к подоконни-

---

[*] Продолжение. Начало в № 10 за 2017 г.

ку, в свободной позе застыл светловолосый гигант со страшным, покрытым шрамами розовым лицом, с бездонными глазами, казавшимися то прозрачно-светлыми, то багровыми… На губах богатыря витала ироничная улыбка, будто он присутствовал при легкой застольной беседе.

— Наконец мы вас дождались, ваши мости! Задержались же вы в дороге…

— Пан Герман Ватман…

Когда Лёдник успел оголить саблю — никто сообразить не успел. Но что такое сабля, если на тебя направлены пистолеты, а за спиной твоей любимой стоит искушенный убийца.

— И зачем было трогать мою жену? — холодно проговорил доктор.

— Ну, я же знаю, что в присутствии красоток разговор идет легче, — лениво-доброжелательно произнес Ватман, потянулся, приблизился вплотную к Саломее. — Конечно, сейчас все предпочитают молоденьких, трепетных, как стрекозки. Но мы же с тобою, доктор, мужчины взрослые, жизнью битые, мы ценим женщин с опытом…

Ватман обвел пальцем, не прикасаясь, очертание лица Саломеи. Лёдник скрипнул зубами.

— Что тебе от меня нужно?

— Ну что ты так спешишь, доктор, это же не кровь пускать. Неужели не рад видеть старого друга?

Вырвич сделал шаг вперед.

— Вызываю вас на дуэль, пан Ватман! При свидетелях, сейчас же!

Наемник не шевельнулся.

— А твой бывший хозяин не изменился, чернокнижник. Мог бы уже и воспитать стригунка. А где ваш спутник, такой рыжий, бешеный? Пренебрег компанией ваших милостей? Знаете, — голос Ватмана сделался доверчиво-интимным, — пан Михал Богинский очень недоволен. Он, можно сказать, оскорблен. Он же вас со всем уважением просил съездить в небольшую перегринацию. А вы носы воротите. А стоило Радзивиллам своего скомороха прислать — тут же с места сорвались. Нехорошо…

Доктор встретился глазами с Саломеей, его сабля едва заметно дрогнула в руке, как поверхность воды от тополиной пушинки.

— Какие условия князя?

— Условия? Это уже не условия, — голос Ватмана заледенел. — Это приказ. Когда будешь отъезжать, сообщишь, — прихватите с собой спутника. Все распоряжения которого станете выполнять. Ему и передадите, что добудете. Вернетесь — получишь назад свою красотку.

— А как же пан Агалинский? — высунулся Вырвич. — Он не потерпит, чтобы с нами ехал представитель Богинских!

— Умно глаголешь, студент, — иронично согласился Ватман. — Эту проблему мы решим! — и выразительно чиркнул пальцем по своей шее. Лёдник нахмурился.

— Я не могу допустить, чтобы с паном Агалинским что-то случилось. Я связан с ним присягой.

Прантиш вылупился на Лёдника, едва удержавшись от реплики. Доктор что, жить не хочет? Такая возможность избавится от злыдня Агалинского! Американец, правда, довольно забавный, и не трус, но доктора не пожалеет! Правда, Прантиш сам в свое время в Менске предупредил о заговоре злейшего врага — чтобы не допустить позорной расправы пусть и с мерзавцем, но настоящим шляхтичем. Еще Вырвич вспомнил, что от возвращения пана

Агалинского живым и здоровым зависит судьба маленького Алесика, а доктор рисковать сыном не станет ни за что.

Лёдник поджал губы и сверлил взглядом наемника. Ватман недовольно скривился.

— Если тебе так дорог Агалинский, можешь продолжать целовать его в задницу. Тогда сами придумайте, как представить рыжему нашего человека. Но вот если с ним, нашим человеком, что-то случится — все, доктор, распрощайся с красоткой. А я еще и хорошо проверю, чему ты научил ее в постели за три года. И не обижайся, думаю, мои лекции окажутся более содержательными, чем твои.

Присутствующие вояки заржали, прибавляя сальных замечаний о подробностях эротических лекций от Ватмана. Саломея в отчаянии прикусила губы. Лёдник, не сводя с нее взгляда, проговорил-прошипел:

— Цел будет ваш человек. Но если, пока я не вернусь…

— Знаю-знаю… Никогда мне не простишь, волос с жены упадет, пальцем трону — по мостовой меня размажешь, и еще три тарелки клецок сверху. Не сотрясай воздух, и так все понятно. Выхода у тебя, Балтромеус, нету. Радуйся, что я с тобой не еду.

— Неужто постыдились дважды посылать к жертве одного и того же убийцу? — проворчал доктор. — А кто с нами едет?

Ватман улыбнулся.

— Спутник ваш ловкач, так что хитрить не вздумайте. Он вам сам все о себе расскажет.

Ватман подал знак, и непрошеные гости повели Саломею к выходу, не дали даже проститься с мужем. Все-таки Ватман знал, на что способен этот типус, и следил, чтобы слишком близко ни он, ни его ученик не приближались.

Последним выходил Ватман, и Лёдник сказал:

— Ты должен понимать, Герман, эти поиски, как соломенный куль на коне. Только видимость.

— А мне это как зайцу клавесин. И не пробуй даже рыпаться, женушку искать. Глаз хватает за вами присмотреть.

Когда за пришедшими закрылись двери, Лёдник дал волю гневу. Но порубленный стул только затупит саблю, а пользы не принесет. Доктор, понурившись, стоял посреди испохабленного дома — гости здесь жили, похоже, не один день, и молчал, бессильно опустив саблю. Вырвич обошел его, как столб, отставил подальше потерпевший стул.

— Что теперь делать?

Лёдник заговорил глухо, как с того света.

— А что здесь поделаешь? Или я потеряю жену, или сломаю жизнь сыну… А еще духовник мой перед отъездом посоветовал дьявольское то оружие, если даже найду, уничтожить. Так что, может, лучше всего мне было бы, не откладывая, с паном Агалинским расплатиться. Кстати, я перед отъездом завещание составил — половина моего имущества тебе, половина — Саломее…

Прантиш рассердился.

— Пока шляхтич живой и при сабле, ему король — брат, а смерть — прислуга. Ты собирался к аптекарю идти. Так, быть может, не будем время терять? Раньше поедем, раньше вернемся. С нами же не Ватман отправляется — а мы даже с ним когда-то сладили. В конце-концов, посланец Богинских с паном Агалинским запросто могут в дороге схватиться…

— Только этого не хватало… — прошипел Лёдник.

На улице было серо и тоскливо, и мелкий дождь налипал на лицо, оседал в волосах серебряной пыльцой, так что можно было представить себя раздавленной бабочкой под чужим жестоким каблуком. Хвельку, перепуганного и усталого, оставили прибирать дом.

Аптека находилась рядом, даже если идти нога за ногу, предаваясь вселенской тоске. Обычный двухэтажный домик, с четырехскатной крышей, с вывеской, на которой зеленым с позолотой нарисованы кубок и змея… Тихий такой домик в окружении старых лип… Но когда Вырвич взялся за щеколду, за дверью послышался резкий пронзительный крик, просто нечеловеческий, в нем слышались возмущение и злоба. Рука Прантиша сама выхватила оружие… Лёдник также напрягся, приподнял саблю до уровня плеч, переглянулся со студентом и осторожно толкнул дверь. Та с предательским скрипом открылась… Возможно, самым разумным было бы не лезть в новую ловушку, но когда послышался голос дядьки Лейбы — дядька призывал на помощь всех праотцев во главе с Авраамом, — Лёдник ринулся в комнаты, за ним Прантиш. Вдруг что-то визгливое стремительно бросилось в ноги гостям.

— Держите! Ох, кары египетские!

Непонятное существо визжало и металось по полутемной прихожей, дядька Лейба взмахивал широкими рукавами и ругался.

— Дверь закрывайте! Вот мерзкое создание!

Прантиш, наконец, изловчился и бросился на зверя… Точнее, птицу: потому что хлопали крылья, под рукой сминались перья, а клюв попал точно Прантишу в подбородок.

— Ах, холера!

Вырвич едва не выпустил клювастое страшилище, но аптекарь ловко подхватил его, одной рукой прижав туловище, второй схватив за длинную шею.

— Дядька Лейба, зачем тебе павлин? — спросил ошеломленный Лёдник, отряхивая пух с дорожного камзола.

Запыхавшийся аптекарь затолкал разгневанную птицу в клетку размером с приличный шкаф. Павлин расправил перья и пронзительно пояснил, почему увидеть его во сне означает вскоре жизненную бурю.

— Пошли отсюда, а то поговорить не даст, чтоб его гром… — проворчал аптекарь. И уже в своей комнатушке, увешанной книжными полками, рассказал: — Пан писарь подарок сделал. Я его мость от почечуя вылечил, а он мне — эту птицу… Придумал, что крик павлина добавляет лекарствам от легочных болезней особенную силу.

— А откуда у писаря павлин? — поинтересовался Прантиш. Дядька Лейба вздохнул.

— От самого ясновельможного воеводы полоцкого, пана Александра Сапеги. Павлин этот особенно злой, эдакий бретер среди павлиньего народа, ну и, наверное, кто-то из птиц или из прислуги ему отомстил, так что птица досталась пану писарю полудохлой… Короче — на тебе Боже, что мне негоже. А я передарить кому-то эту радость не могу. Пан писарь — клиент постоянный, вот и приходится терпеть…

Павлин оскорбленно каркнул, совсем как ворона, и отвернул от обидчиков голову на тонкой шее. Лейба, наконец, сосредоточился на гостях и их проблемах, окинул острым взглядом светлых глаз бывшего своего подмастерья Бутрима и его нынешнего студента, физиономии у обоих были довольно унылые и нервозные.

— Значит, с Саломеей и ее гостями повидались… — задумчиво произнес аптекарь. — Я было сунулся в дом, но меня не пустили и на крыльцо. Посмотрел я в глаза пана, что меня прогонял, и понял, что снова ты, Бутрим, влез по уши в какую-то недобрую авантюру и Саломейку за собою потащил.

— Влез, дядька Лейба, — с печалью признался Лёдник. — Не смог преодолеть свое любопытство… Начал исследовать хитрое приспособление, вместо того чтобы сразу с рук сбыть или в каморе запереть. Вот и… Снова моя Саломея — в заложницах. И еще один маленький мальчик может поплатиться… И нужна мне от тебя, дядька Лейба, книжка…

Услышав, какой именно трактат хочет полистать Бутрим, аптекарь даже разгневался: шарлатанством заниматься! Но добытый из недр хозяйского дома словарь енохианского языка с рисунками лег на обшарпанный дубовый стол. А еще бывший алхимик потребовал географические карты, самые совершенные.

Цифры и буквы с рисунка Пандоры Лёдник восстановил легко, кто бы сомневался в исключительной памяти этого зануды. Ни единого разочка ни единого проступка бедного студента не забыл. А потом началась длинная и неинтересная работа, в которой гостю немного помогал аптекарь, но в основном горбатился сам Лёдник, шурша бумагами, как ветер сухими листьями.

Работа заняла вечер, полночи и еще весь следующий день. Енохианский язык для доктора Ди переводил его секретарь Эдвард Келли, назван он был по имени библейского пророка, отца Мафусаила. Тот Енох был взят ангелами на экскурсию в рай, о чем потом и написал книгу. Многие считали, что Келли своего покровителя просто дурачил, выдумывая несуществующие слова. Но если словарь языка есть — значит, на нем можно что-то зашифровать и, соответственно, расшифровать. В трактате имелось девятнадцать «енохианских ключей», поэтических текстов, продиктованных будто бы самим духом Уриэлем, приводился алфавит небесного языка, и самое главное, обозначение цифр.

Прантиш не очень понимал, что чертит на обрывках бумаги его профессор, поэтому тратил время на исследование аптекарского дома, где был три года тому назад. На полках прибыло банок с разными заспиртованными тварями, но такого добра было достаточно и в лёдниковских апартаментах. Под потолком по-прежнему висело на цепях чучело крокодила — обязательный атрибут аптеки. А вот на стене появилась большая древняя гравюра, пожелтевшая, потрепанная по краям, раскрашенная выцветшими красками. Гравюра представляла собой карту, на которой кроме очертаний рек и гор были обозначены маленькие каменные дома и красивые храмы с куполами, пучки пальм, верблюды, удивительные деревья с такими большими плодами, что должны были бы в реальности переломить ствол дерева своей тяжестью. Посередине красовался город, обнесенный зубчатой стеной… В углу надпись витиеватыми готическими буквами: «Иерусалим».

От пана Агалинского известий не было. Тот не возжелал воспользоваться гостеприимством ненавистного доктора — он приглашал всю компанию в дом своей жены, так как его собственный дом был продан за долги. Не остановился Американец и в гостином доме — горожане не напрасно не желали их строить, несмотря на понуждения магистрата. Пани Гигиена там не ночевала, поэтому путники не очень охотно соглашались кормить казенных клопов, да и горожанам намного выгоднее было поселить приезжего у себя и получить живые деньги. Вот пан Гервасий и снял большой дом рядом с кабачком. И ясное дело, на некоторое время огненный меч доктора Ди и месть поганому

доктору отступили перед мощью местной водочки-акавиты, коей здесь делалось сорок сортов: анисовая, тминная, полынная, голубая на зверобое… — а как же не попробовать каждой хоть по рюмочке?

А Прантиш после прогулок по Нижне-Покровской да Витебской, шуточек с молодками из Заполотья, с удовольствием наблюдал, как дядька Лейба под докучливые крики сапеговского павлина готовит на продажу лекарства. Он делал все не так быстро, как Бутрим, зато и не так серьезно, а будто играл в очень интересную игру, сам удивляясь тому, что получается, и рассказывая множество удивительных историй. О глиняном болване Големе, которого умели оживлять великие мудрецы с помощью написанного на его лбу слова «эмет», что значит «правда». О том, что в хвосте павлина смешивается 365 цветов, ибо именно через столько небесных сфер проходят эманации эфира. Что если хочешь сделать фитиль, который позволит видеть зеленых существ, летающих подобно воробьям и другим птицам, надобно взять зеленое сукно, коим кроют гробы, положить туда птичьи мозги и перья с хвоста, завернуть, поместить в новую зеленую лампу, наполненную оливковым маслом, и зажечь. Никогда до конца не было понятно, говорит Лейба всерьез или шутит, но Прантиш искренне веселился, слушая фантастические басни. Неудивительно, что маленький Бутрим в свое время, помогая аптекарю, так увлекся алхимической да лекарской науками.

Наконец, когда голова студиозуса уже раскалывалась от воплей мерзкой птицы, Балтромей объявил, что рисунок Пандоры теперь имеет прочные координаты. Спасибо тому же доктору Ди, который поспособствовал основанию Гринвичского меридиана.

— Место на окраине Лондона… — утомленно рассказывал Лёдник. — Но если сверяться с картами — самая последняя пятидесятилетней давности, — теперь там городские трущобы. Я по студенческой дерзости своей здесь шастал, но, поверьте, если б был без компании местных, один из них, кстати, настоящий лорд, пустившийся во все тяжкие в притонах Ист-Энда, мог бы навсегда там остаться, и выловили бы меня в Темзе без кошелька и носа.

— Так что вы должны оттуда привезти? — осторожно спросил аптекарь. — Снова какую-то святую реликвию?

— Хуже, дядька Лейба, — мрачно пояснил Лёдник. — Оружие мы должны привезти.

Аптекарь покрутил головой и тяжело вздохнул, даже пламя свечей заколебалось.

— Чего только люди не выдумывают, чтобы друг друга истребить… Как будто главная цель их жизни — чужая смерть. А чтобы победить самого великого богатыря или войско, достаточно ослиной челюсти или обычной пастушьей трубы, главное — чтобы на твоей стороне был Господь. Не хочу даже знать, Бутрим, что ты должен добыть… Мне хватило созерцать эту книгу… — аптекарь презрительно ткнул пальцем в трактат енохианского языка. — А кто, так сказать, ваш заказчик?

— Если бы кто-то один! — с досадой проговорил Вырвич. — А то обложили со всех сторон… И каждый по-своему угрожает. И как ни крути, всех мы не ублажим.

Между тем, политические вихри дошли и до Полоцка… Прантиш, пока Лёдник сидел в аптеке, во время гульбы наслушался от лавочников, извозчиков, старьевщиков да торговок и о страшных битвах между панами в Вильне, и о знаке на небе в виде скрещенных красных копий, что, как всем известно, пророчествует братские распри, и о призраке пана Михала Володковича,

который с завидной преданностью стережет Менскую ратушу, и про ведьмачку с мельницы, дочку водяного, что едва целую деревню не уморила красным почесуном, и о Черном Лекаре, который вернулся на днях в Полоцк, чтобы наварить золота, и о пане Гервасии Агалинском, затеявшем драку с бычком во дворе корчмы, и хорошо, что у бычка рога были подпилены, так что пан отделался синяками на самом деликатном месте, — получил, когда от того бычка деру давал…

Шпионская наука, по всему ясно, была для пана Гервасия намного более сложной, чем для студиозуса Вырвича анатомия. Тихого тайного отъезда не получилось. Когда всадники, профессор и студиозус, доехали до дома в Заполотье, где их должен был ждать пан Агалинский, во дворе толпились любопытствующие, которые наблюдали за подготовкой веселого щедрого пана к отъезду. Ехать в экипаже в самое разводье означало потерять уйму времени, поэтому отправлялись верхом. Зато пан Агалинский разжился королевским патентом, и они могли менять лошадей на почтовых станциях в первую очередь, как фельдъегери.

Более всего присутствующие рассматривали не лошадей, а пана Гервасия Агалинского. Посмотреть было на что: пан, очевидно, за эти дни ввязался в дуэль не только с бычком. Один глаз заплыл сине-красным, другой смотрел на мир очень мрачно, лицо вспухшее, заросшее рыжей щетиной…

Пан Агалинский схватил кувшин, поднесенный ему прислугой из лавки, обливаясь, взахлеб выпил… Кувшин задорно разбил о камни полоцкой мостовой…

— Поехали!

В добротных кожаных мешках, которые положили на запасного коня, нашлось место астролябии.

К Лёднику подошел с виноватой физиономией Хвелька, стал бормотать, что если бы здоровье позволило, он бы никогда пана не покинул… Хвелька должен был присматривать за домом Реничей.

— За отваром будешь ходить к апекарю Лейбе, — сурово распорядился Лёдник.

Зато не пришлось долго уговаривать пана Гервасия принять в компанию еще одного очень нужного попутчика, который должен был присоединиться к ним за городскими воротами. В действительности пану Агалинскому было все равно, кто с ними отправится, Давид, Голиаф или Бова-королевич. Американец был озабочен тем, чтобы не свалиться с коня и не очень показывать, что полученные от бычка травмы мешают благородному делу. Разговор с паном уподобился ложке в загустевшем киселе, что целиком Прантиша удовлетворяло. Правда, Агалинский все-таки пробормотал, что в Корытники назначил нового эконома, дал распоряжение отменить подушное и послал мужикам три воза зерна.

Небо затянули тучи, будто паненка задернула занавески, рассмотрев, что кавалер под ее окнами недостаточно щегольской. А чтобы стало совсем плохо, линул холодный дождь. Это по крайней мере заставило зевак попрятаться по домам и уже там домывать косточки Черному Лекарю, гостившему у еврея Лейбы, и пану Агалинскому, которого даже жалели, что связался с подозрительной компанией. Сын кожевника — известный ведьмак, женатый на ведьмачке, и вон в какую силу вошел… Пан над панами, лучше на глаза не попадать, а то сглазит. Слава Богу, отъезжает…

Городские ворота исчезли за серыми нитями дождя. Студиозус нетерпеливо приподнимался в седле, высматривая сквозь ливень таинственного

всадника. Возможно, это будет кто-то похожий на Ватмана — изощренный сильный вой, который убьет и не поморщится… А может, хитрющий шпик, похожий на князя Репнина.

А новый спутник присоединился совсем неожиданно, выехав из-за придорожной часовни, как участник призрачной дикой охоты. Коротко махнул всем рукой и поскакал впереди, будто так и надобно. Сменный конь незнакомца был нагружен приличными сундуками, что свидетельствовало — хозяин не собирается терпеть в дороге неудобств и недостатков. Лёдник кинул на пришельца короткий взгляд и снова углубился в свои раздумья. Пан Агалинский даже головы не повернул. Прантиш пришпорил коня, чтобы поравняться с гостем да поговорить, но напрасно — разговора не получилось. Посланец, щуплый, как подросток, был закутан в неброский, но добротный дорожный плащ, на глаза надвинута шляпа, нижнюю часть лица тоже не рассмотреть под навернутым шарфом, что неудивительно, ибо обниматься с мокрым ветром любителей мало. На вырвичские слова пан только вежливо поклонился и настойчиво махнул рукой вперед. Прантишу все это не очень понравилось, но будет же у них привал, где незнакомцу придется раскрыться. Пока что Вырвич оценил саблю пришельца, настоящую турецкую серпантину с крупным диамантом на эфесе, изящные сапоги из синего сафьяна, которые может себе позволить не каждый шляхтич, французские перчатки из шагреневой кожи. Все — рассчитанное на дорогу, удобное, неброское на первый взгляд, но если присмотреться, магнатского снаряжения. Хозяин молодой, ловкий, не очень силен, но богат и страшно самоуверен… Но вряд ли он так владеет саблей, как Прантиш Вырвич своим Гиппоцентавром! Нужно будет подзадорить и пофехтовать ради разминки. И уже тогда поиздеваться от души.

Придорожная корчма под названием «Венеция» если и напоминала знаменитый италийский город, то огромными рыжими лужами, которые никак не объехать, заезжая во двор. Одноэтажное деревянное строение не обещало роскоши… Зато были свободные места и кони. А новый попутчик хриплым шепотом потребовал отдельную комнату, сыпанув одноглазому «венецианскому» корчмарю столько денег, что хватило бы занять все здание, поэтому желанное помещение и получил. Бутриму и Прантишу пришлось делить комнату с Агалинским, который сразу же завалился на кровать и захрапел… Гнилой сенник пах болотом. Ночлег никак не обещал быть приятным, хоть Лёдник взял с собою от мелких кровососов несколько фунтов персидского порошка собственного приготовления.

Настало время без лишних ушей перемолвиться со спутником.

Тот стоял у окна своей комнаты, спиною к дверям. Щуплая фигура его была затянута в камзол из дорогой зеленой шерсти, на голове аккуратный паричок, напудренная коса перетянута черной атласной лентой. После того как ритуальные витиеватые фразы были произнесены и профессор, созерцая спину спесивого юноши, который все молчал и не двигался, начал раздраженно кривить губы, тот, наконец, повернулся к гостям… Невинные голубые глаза взглянули так прозрачно, так открыто, носик вздернут так занозисто, розовые губы улыбались так интригующе…

На некоторое время в покоях установилось молчание, как в балагане, когда зрители поняли, что индийский факир действительно растаял прямо на сцене вместе с их кошельками, табакерками и часами.

— И что, ваша мость, означает этот кунштюк в духе итальянской народной комедии? — наконец сурово спросил Лёдник. Полонея Богинская мило улыбнулась.

— Вы же получили письмо, пан профессор? Вот и выполняйте приказ. Благородный юноша Полоний Бжестовский, домашним учителем коего вы когда-то служили, едет с вами в Ангельщину.

Полонея показала на себя, подтверждая, что она и есть этот благородный юноша. Вырвич сразу вспомнил токайское вино с дурманом и злобно выкрикнул:

— Ваша мость шутит? Мы оценили шутки вашей княжеской милости, но позволим себе напомнить ясной паненке, что нас ждет не прогулка, едем не в карете, а верхом, ночевать придется иногда на голой земле, в грубой мужской компании, коврики под ноги никто вам не постелет.

Но Богинская только улыбнулась.

— Ваша мость Вырвич считает меня похожей на изнеженных мещаночек с Оружейной улицы, что закрываются передником от пылких взглядов студентов? Уверяю, я достаточно крепкое существо. — Взгляд паненки сделался жестким. — Никогда не понимала, почему мужчины считают женщин чахлыми да изнеженными. А попробовали бы вы, пан Вырвич, от семи лет ходить со стальными обручами на ребрах, не вздохнуть толком, в обуви, сжимающей ногу, в перчатках, плотно обтягивающих пальцы, на каблуках, от которых ноги, кажется, отвалятся. А знаете, как это — пару месяцев носить на голове тяжеленный каркас из проволоки, обмотанный чужими волосами, лентами да цветочками, когда спать можно только подложив под голову деревянную подставочку, а почесаться, извините за некуртуазную подробность, получается только прутом? А юбки, в которых невозможно пройти в дверь? Сколько бы вы выдержали такие пытки? — Полонея театрально вскинула руки, будто крылья, и счастливо засмеялась. — Да я сейчас взлететь готова! А насчет моих боевых способностей тоже не сомневайтесь — с тяжелым палашом не управлюсь, но кинжальчик, пистолет… В конце концов, мне рассказывали, что в вашем любимом Полоцке жила княжна, которая в двенадцать лет вопреки воле родителей пошла в монастырь, потом тоже вопреки всем постригла в монахини двух своих сестер, строила каменные храмы, переписывала книги… И даже съездила в Иерусалим — через все моря и пустыни!

— Сравнение неуместное, ваша мость! — холодно промолвил Лёдник. — Княжна Евфросиния не за приключениями ехала, а поклониться Гробу Господню.

— Да что я вас будто уговариваю… — паненка вдруг разозлилась. — Это вы должны выполнять, что я скажу. Если, конечно, пан профессор желает когда-нибудь встретиться со своей женой.

Лёдник просто скользнул вперед, как черная змея, навис над паненкой, которая судорожно сглотнула, пытаясь не показать страха.

— Вижу, ваша мость начиталась Дидро и Вольтера, прогрессивных идей насчет женского равноправия, долой корсеты… Ваша мость представляет себя амазонкой и Клеопатрой в одном лице… Так значит, это благодаря вам Саломея очутилась во власти красноглазого гунна Ватмана?

Ядом в голосе Лёдника можно было отправить на тот свет не одну Клеопатру, аспид от зависти завязался бы морским узлом. Но Богинская только прищурила голубые глаза и ответила не менее ядовитым тоном:

— Кто же виноват, пан профессор, что вы такой умный. Не трогали бы восковой куклы, не чинили бы ее, не разгадывали бы ее загадки — и вас бы никто не трогал, и естественно, вашу жену. А теперь поздновато на жабу дышать, чтобы от хвори избавиться. Так что я — пан Полоний Бжестовский, сын ваших бывших хозяев и благодетелей, который так засиделся за книгами,

что пренебрег исконно шляхетскими занятиями, почему и отправлен в опасные авантюры под вашу ответственность и присмотр.

В конце фразы голос Полонеи снова сделался кокетливо-наивным. Лёдник побледнел, а потом вкрадчиво проговорил:

— А ваш ясновельможный брат, его мость пан Михал Богинский, знает, что вы едете с нами?

— Вы сомневаетесь в слове княжны Полонеи Богинской? — холодно проговорила панна. Бутрим скривил губы.

— Как сын кожевника, могу себе позволить нешляхетное поведение. Не только сомневаюсь, ваша княжеская мость, в благородных словах вашей милости, но и убежден, что к нам был отправлен совсем другой человек. И не лучше ли мне сообщить его мости пану Михалу, где находится его младшая сестрица?

Это был сильный удар. Но Богинская не испугалась. Приложила к губам палец, изображая сосредоточенные раздумья.

— Интересный получается силлогизм… Как же нам решить эту задачу? Вы сообщите моему многоуважаемому братцу, где я, а я в ответ сообщу, что вы нарушили договор с ним и передали всю информацию про огненный меч Радзивиллам, а меня силой заставили ехать с собою, чтобы иметь заложницу, которую можно обменять на пани Саломею. И как вы думаете, васпане, кому поверит мой брат князь — сыну кожевника и недоученному студенту или родной сестре?

И снова мило улыбается! Вырвич не выдержал:

— Да зачем тебе это нужно? Что за блажь в голову пришла?

Богинская скромно опустила глаза.

— У меня через пару недель обручение… А жених так спешит, что сразу после обручения, не оглянусь, свадьбу устроят… Пан брат почему-то принял всерьез все эти сплетни о моем будто бы непристойном поведении и что только твердая мужнина рука меня обуздает. А я что-то под ту твердую мужнину руку не очень стремлюсь! — Полонея больше не играла, насмешка в ее голосе смешалась с подлинной горечью. — Жених мой предполагаемый уже трех жен обуздал… И пряменько до ворот в рай довел. Так что лучше опасная перегринация!

Бутрим сверлил взглядом «пана Бжестовского».

— Никаких поблажек не будет! Подносить нюхательную соль, подсаживать на коня, подсовывать лучший кусочек — не в наших условиях.

— Какие еще поблажки? — гордо вскинула голову Полонея. — Паны должны забыть, кто я. Так что, пан Вырвич, — заявила Богинская, — постарайтесь не направлять в мою сторону вашу выдающуюся галантность.

Прантиш почувствовал, как запылали его щеки.

— Я уже понял, что галантности паненка не ценит!

— Тихо! — отрывисто прикрикнул Лёдник. — Я сам прослежу, чтобы его мость пан Вырвич не позволял себе даже взглядов, которые могут выдать настоящую сущность пана Полония Бжестовского. И чтобы пан Полоний Бжестовский не начал капризничать, как светская дама.

Прантиш даже не попрощался с коварной красавицей.

Перед тем как профессор вышел из комнаты, панна тихо промолвила:

— Пан Лёдник, Саломея в безопасном, уютном месте, с нею обращаются самым лучшим образом. Поверьте, Ватман ничего с ней там не сделает, он ее даже видеть не сможет.

Лёдник застыл на месте, потом коротко бросил через плечо:

— Спасибо, ваша мость…

Корчма «Венеция» плыла по водам белорусского дождя, и тусклые паруса ее окон раздувались от храпа путников и мечтаний недоученных студиозусов. А где-то в полоцкой аптеке дремал взбудораженный павлин, и каждое его перышко хранило глаз античного бога Аргуса.

Глава девятая

Прантиш Вырвич и дракон

Нормальный белорусский дракон питается яичницей.

Если, конечно, его вырастил умный хозяин из похожего на черную ракушку яйца, снесенного черным петухом, и если тот дракон живет в клети и носит хозяину золото. Почему же не угостить полезную животинку?

Главное, чтобы хозяйка случайно яичницу не посолила, — а то дракон так обидится, что устроит пожар.

Пожар не пожар, но за то, что по вине студиозуса путники остались без соли, получит он огненных словечек в свой адрес… Да, нужно было плотнее крышку солонки прикрутить, нужно, но ведь спешил… А просыпанная в такие дожди в сундуках соль сразу же исчезает во влажной коже и древесине. Конечно, утрата будет восстановлена в ближайшей корчме… Но они уже два дня не могут добраться до корчмы, дороги размыло, а придорожная станция, на которую рассчитывали, похоже, совсем недавно сгорела — и дождь не спас. Вот ведь — на беду и вода горит. Пан Агалинский только щерится да шутит над изнеженными штатскими, которые в военных походах не бывали. Особенно поддразнивает юного красавчика Полония Бжестовского. Но и покровительствует ему — пан Бжестовский сразу покорил сердце вояки искренним восхищением мужеством и военным опытом Американца, ну и тем, что не уставал слушать американские да здешние байки. О царице Кинги, чей дворец провалился в землю, и теперь ночами царица сидит на камне на горе, пересыпает золото в сундуке и ждет, когда какой-нибудь смелый путник принесет ей букетик цветов… О дорожном духе Кликуне, что летает на крылатом змее с кнутом в одной руке и золотым рогом в другой, и если бы лето, можно было бы увидеть его в пыльных вихрях на дороге. О чуме, которая превращается в сову и летит за человеком, окликая его по имени, и главное тогда — не оглядываться… Естественно, пан Агалинский со всеми персонажами своих рассказов был знаком лично, во что пан Бжестовский, конечно же, верил. Прантиш аж захлебывался от ярости — как хитрющая Богинская, поддакивая да нахваливая, умело направляет мысли и настроение простака Гервасия, причем всем заметно, что она тонко издевается, а пан Гервасий даже раздувается от гордости и продолжает поучать благородного милашку отрока.

Зато никаких капризов от Полонеи из-за дорожных тягот, на удивление Вырвича, не было. Панна даже не чихнула после ночлега в руинах сгоревшей станции, когда от дождя и ветра спасало только натянутое на жерди набрякшее одеяло. Только заметила, что в варшавском дворце сквозняки зимой не слабее, беднягам дамам приходится сутками фланировать в декольте, а в мороз кожа так синеет, что белила не спасают.

При упоминаниях о придворной жизни у Агалинского и Богинской оказывалось много общих тем… Оба знали дворцовые сплетни, могли долго обсуждать, действительно ли пани Чарторыйская любовница князя Репнина,

кто украл знаменитый серебряный кубок на две кварты воеводы Валицкого, который хозяин предлагал осушить залпом за пятьдесят дукатов, а кто не сумеет — тому пятьдесят батогов, и честно ли подкоморий Казимир Понятовский убил на дуэли любимца Варшавы пана Тарло… Лёдника такие материи не трогали, а Прантиш просто ничего о них не знал.

Зато во взглядах на будущее Речи Посполитой никакого единства не чувствовалось.

Полонее Богинской было все равно, станет ее брат королем с помощью российской императрицы, прусского императора, шведского короля или вообще турецкого султана. Балы для владычествующих лиц будут устраиваться всегда. И так же все равно, где на них танцевать — в Варшаве, Вене, Париже или Вильне, лишь бы весело и можно было позволить немного приятного амурного риска. Пан Гервасий Агалинский почитал сарматские идеалы, а воплощением их считал своего хозяина Кароля Радзивилла. Что тот изречет — то пан Агалинский с помощью добытого огненного меча и станет выполнять. Шляхта должна быть сама себе законом! Главное, пан Кароль не допустит, чтобы всякая шваль, мещане, сыновья кожевников, равнялись с настоящей шляхтой и мешали свою беспородную кровь с благородной. Лёдник, конечно, с этим не согласился бы… И вообще профессор, похоже, мечтал о чем-то вроде республики в белорусских краях со свободой вероисповедания и господством науки и философии. Счастье еще, до политических дискуссий вроде сеймовых дело не дошло. Полонея умело уклонялась от серьезных разговоров, Лёдник отмалчивался, но Прантиш всерьез побаивался, что если кто из попутчиков заведется, до Ангельщины никто не доедет. Даже до Гданьска, где ждал корабль.

Вырвич особо не возражал, когда Лёдник дорогою читал лекции. Все лучше, чем грызться между собой.

Между тем дорога вынырнула из леса, резко повернула и привела к прекрестку с тремя тополями, которые потеряли почти все листья, только вершины желтели. Лёдник сверился по картам, проигнорировав астролябию, демонстративно вынутую Агалинским из кармана, и сообщил, что нужно ехать прямо. Но тут на дороге слева показался воз. Чтобы снова не очутиться на развалинах, стоило расспросить тутошних о местных корчмах — польским языком владели все. Нужно срочно менять лошадей, та, что под Лёдником, вот-вот начнет хромать.

Семейная пара на возу, груженном добротными корзинами, муж и жена в вышиваных тулупчиках, празднично одетые, были не очень склонны к разговорам на перекрестках с подозрительными незнакомцами. Женщина, до самых бровей обвязаная белым шерстяным платком в красные розы, только молча посматривала на чужаков. Мужчина в смушковой шапке все же неспешно вынул изо рта трубку и сообщил, что ближайшая корчма в том направлении, куда едет уважаемое панство, часах в трех езды, но примут ли там путников, неизвестно, потому, что все корчмы переполнены теми, кто едет в Дракощин на осенний фэст.

Будто в подтверждение, слева показались два всадника, а потом бричка… После того как несколько дней, кроме дождя, ни с кем не встречались, это был неожиданный наплыв людей.

— А что за фэст? — сразу заинтересовался пан Агалинский. Мужик снова взял трубку в рот, пыхнул дымом в пшеничные усы.

— О фэстах в Дракощине стыд не знать, милостивый пан! В том городе живет настоящий дракон! Вот уже восемнадцать лет, как живет. В пещере

около ратуши. Ух и злющий! Девушек красивых жрет, жертв требует… Ревет так, что мостовая трясется! Изрядный дракон! Можно просто съездить, послушать, посмотреть… А лучше всего на фэст, вот как мы, — там и состязания лучников, и карусель рыцарская, и представление будет, как святой Михаил убивает дракона… Опять же, продать что-нибудь, купить… Мы вот всей семьей цельный год корзинки плетем, чтобы там сбыть. Что на базаре в Дракощине куплено — драконову мощь приобретает!

Лёдник и Прантиш, вскормленные академической наукой, одинаково скептически хмыкнули.

— Однажды в краковский дворец единорога привозили, — иронично проговорила Полонея. — Дамы наши все побежали смотреть, рог священного животного потрогать, чтобы потом хвастать, что подтвердили тем свою девственность. А один бойкий пан залез в вольер и объявил, что рог несчастной животинке прикрепили к носу с помощью клея.

— Ты сам дракона видел? — сурово спросил Лёдник у встреченного. Но тот, разозлившись, что паны сомневаются, только пыхнул трубкой и дернул вожжи.

Сине-серые тучи разошлись, будто их растолкал кто-то любопытный, чтобы посмотреть, что делается на земле. Тяжелое осеннее солнце подсветило сцену человеческих комедий, трагедий и фарсов, которую поливают кровью и моют слезами.

— Вы как хотите, ваши мости, но я дальше никуда не двинусь, пока не посмотрю настоящего дракона! — заявил пан Гервасий, даже ноздри раздувая от азарта. — Пусть хоть весь мир в тартарары — а посмотрю!

И было понятно, что пана не переубедить. Даже Лёдник только сжал зубы и прошипел что-то неодобрительное. А Прантиш глянул на насмешливое личико Полонеи, она же — пан Полоний Бжестовский, и со страшной силой зажелалось, замечталось: а вот победить бы того поганого дракона, бросить его отрубленную голову под ноги гордой паненке Богинской — и чтобы в ее холодно-ироничных глазах запылал огонек восхищения, из которого нетрудно раздуть костер настоящей любви…

Ну и побыть на городском фэсте, после ночлегов в чистом поле поспать на кровати — хорошая приманка!

Лёдник сверился по картам и заявил, что никакой Дракощин на них не обозначен, а есть в паре верст отсюда маленькое местечко со скромным названием Земблица. Не иначе, теперь переназваное в честь чуда-юда. Естественно, всю дорогу пан Гервасий бубнил о драконах — водяных, воздушных да подземных, а также об американском змее Цукане, сплошь обросшем перьями, а на голове у него грива, как у коня.

Дракощин, бывший Земблица, был похож на игрушечный городок, какие рисуют на тарелках. Острые шпили храмов, кованые балкончики домов, толстые стены с подъемным мостом… А как чистенько! Прантиш таких местечек в жизни не видал. Метельщики да фонарщики здесь явно не голодали и создали мощные цеха. Город был украшен, как огромный зал для балов. Разноцветные ленты, гирлянды из искусственных цветов… И повсюду — изображения дракона. На флажках, на вывесках, на рубахах и шляпах (одну такую, зеленую, с имитацией чешуи, Американец сразу же купил себе)… Броши и серьги в виде драконов (на это добро тоскливо посматривала Полонея, которая вынужденно вела себя по-мужски, а значит, не скупала женские безделушки), бумажные драконы, коих можно запускать в воздух на веревочках, свечи, отлитые в виде драконов, драконы фарфоровые, драконы сахарные, драконы

из теста… Когда Вырвич присмотрелся, заметил, что на всех изображениях крылатый змей был пронзен мечом.

— Потому что иначе — грех! — чинно заявил торговец воздушными чудищами, на спине которого тоже был нарисован меч с эфесом в виде геральдической лилии. — Епископ объясняет: мы не дракона почитаем, а неизбежную победу над ним! — И перешел к торжественному громкому рассказу, адресованному всем потенциальным покупателям: — Помните все, наш несчастный город страдает под властью свирепого чудища, посланного нам за наши грехи, и мы вынуждены терпеливо ждать избавления, когда избранник милостию Божией убьет творение тьмы! А чтобы это произошло быстрее, на память о славном Дракощине купите, уважаемые, воздушного змия! Всего десять грошей!

Камни мостовой блестели, как вымытые с мылом. На каждом углу лютнисты да шарманщики распевали героические песни о битвах с участием дракона, в которых фигурировал непобедимый рыцарь с месяцем во лбу, а также страшные баллады о преступлениях дракона. Эти же страшилки можно было почитать на больших цветных плакатах, развешанных по стенам: чудище требует в жертву самую красивую девушку местечка, подгребает под себя кучи золота и украшений, перекусывает зубами мост, глотает карету вместе с людьми, которые беспомощно высовываются в окна и молят о помощи… В одном месте, около пекарни, под вывеской в виде огромного кренделя, послышались знакомые слова: белорусский лирник, как и положено, слепой, в тулупе, с длинными седыми волосами и бородой, выводил тонким сильным голосом:

— Даўным-даўно тое было:
Кругом зямлі мора лягло.
А ў моры тым тай жыў люты Цмок,
Штодня збіраў з людзей аброк.

Пан Агалинский сыпанул лирнику-земляку в шапку, что лежала на мостовой, денег… И певец, не прерывая пения, как-то слишком ловко для слепого подтянул к себе шапку ногой.

Вырвич заметил, что рядом с изображениями дракона все время встречается изображение красивого юноши с золотыми волосами, который гордо вздымает меч с эфесом в виде лилии, а на лбу воина нарисован почему-то перевернутый молодой месяц, рогами вверх, как челн. Прантиш решил, что это местная трактовка святого Михаила либо иного драконоборца, святого Юрия.

Между тем пестрая толпа двинула по запруженным улочкам в центр города, туда, где возвышался шпиль самого высокого храма.

— Сейчас голос подаст! Кормежка у него! — кричали люди, толкаясь, и лезли едва не под копыта лошадей. Вырвич и его спутники все-таки въехали на площадь с огромным готическим костелом из красного кирпича и белокаменной ратушей.

— Ти-хо! — заорал кто-то, и толпа умолкла, как поле перед грозой. Прантиш затаился, ожидая какого-то мошенничества, но в глубине души так хотелось настоящего чуда! И вдруг…

Нет, это было не мошенничество. Откуда-то из-под земли послышался рык живого существа, голос древнего ужаса, нечеловеческого одиночества и жажды… Завизжала женщина, заплакал ребенок, зафыркали кони… Глаза людей загорелись смесью страха и любопытства.

— Я должен посмотреть на это страшилище! — аж застонал Американец. Расспросы обнадежили: хотя узреть дракона стоит немалых денег, но это возможно. Только нужно занять очередь в магистрате… И через пару дней... Правда, дракона показывают только через специальные окошки в дверях подземелья, но историй о нем сторожа расскажут!

Зато никакие деньги не помогли снять приличные помещения хоть в каком гостевом доме. Только невероятная сумма в двадцать талеров и напористость пана Агалинского обеспечили странникам одну комнатку на всех под самой крышей отеля «Под золотой курицей». Конечно, ради этого из комнаты отселили в какой-то чулан менее денежных гостей.

Отель состоял из четырех этажей, причем было заметно, что верхние достроены совсем недавно, спешно — ясно, что из-за притока любопытствующих. Вообще, во всем городе шло строительство, то там, то тут виднелись леса, дома сияли свежими красками.

Нужно ли уточнять, что изображения дракона, меча с эфесом в виде лилии и юноши с месяцем во лбу украшали все комнаты отеля «Под золотой курицей», и даже ночные вазы…

Из харчевни на первом этаже поползли соблазнительные запахи. Пан Агалинский растолкал пеструю публику, продираясь к столу, который вызволил тоже очень просто, выбросив из-за него двух мелких мещан, по одежде — то ли писцов, то ли судебных канцеляристов.

— Верещаки и пива!

Верещака — это было самое модное блюдо, придуманное поваром Августа Саса по фамилии Верещака. Здесь, судя по заказам посетителей, ее умели готовить неплохо.

Музыканты — лютнист, скрипач и владелец контрабаса-басетли — выводили мелодию баллады. Отгадайте, о ком? — о драконе и святом Михаиле… Дым и шум наполняли корчемку не меньше, чем придорожную белорусскую, разве что пили не водку, а медовуху, и на горожанах красовались не шапки-магерки, а шляпы с перышками, и разговаривали не по-белорусски, а по-польски, по-немецки, изредка — на голландском и французском.

Не успела дородная шинкарка в белом чепце размером с небольшой стог принести заказанные кувшины с пивом и верещаку в глиняных мисках, как посетители взревели и повскакивали с мест, кого-то высматривая. Прантиш завертел головой и тоже приподнялся…

И увидел парня с полумесяцем во лбу.

Точно такого, как на рисунках. Хорош, будто королевич, золотые волосы до плеч аккуратно подвиты, алый камзол с золотом, дилея с горностаевой отделкой… За юношей двигалась свита, тоже красиво убранные шляхтичи, а уж как посматривали на этого горделивого красавчика девицы! А тот встал посередине корчмы, властно поднял руку — белые кружева манжета аж слепили, и промолвил во внезапной уважительной тишине:

— Многоуважаемое панство, земляки мои да гости нашего славного города! Завтра в полдень приглашаю всех в ратушу, на очередное испытание лилейного меча! Мы определим, настало ли время моей смертельной схватки с поганым чудовищем, кое захватило наш несчастный город. Приходите, чтобы искренними молитвами святому архангелу Михаилу, драконоборцу, поддержать меня в стремлении освободить родной город!

Присутствующие взревели, зашумели… Кто-то крикнул: «Виват пану Доминику Ранглинскому, избраннику!» Восклицание подхватили… Прантиш перехватил взгляд Полонеи, которым она проводила надменного красавца, и сердце у него дрогнуло…

Да что же, лихо их возьми, в этом местечке происходит?

Пан в багровом полинялом жупане и с носом такого же цвета, по произношению — с Волыни, охотно пояснил все несведущим приезжим. Дракона просто так убить нельзя, ибо он послан городу в наказание за грехи! Но Господь если и дает страдания, дает и средство избавления. Поэтому было пророчество, что родится мальчик с полумесяцем во лбу, который в определенный час убьет дракона, и непременно мечом с эфесом в виде лилии, хранящемся в ратуше в специальном застекленном шкафу. А случится этот смертный бой только тогда, когда в день святого Михаила меч в руках избранника засияет ангельским огнем!

И здесь огненный ангельский меч…

Лёдник фыркнул, демонстрируя свое скептическое отношение к романтической истории. Пан Агалинский даже подпрыгивал от радости, что, возможно, увидит живого дракона… А Прантиш мрачно думал — вот же, кому-то везет в жизни, признали того Доминика избранным, носятся с ним, как с золотым яйцом, девицы готовы от восхищения из юбок выпрыгнуть… А впереди его ждет настоящий подвиг, о котором будут петь лирники и писать поэты!

Спать Вырвичу и Лёднику пришлось на полу, бросив на него сенник, так как в комнате помещались только две кровати. Пан Агалинский, простая душа, начал было ворчать, что изнеженных юношей, вроде Полония Бжестовского, как раз и надо укладывать на пол, да и на кровать запросто можно вдвоем лечь, и Прантиш долго потешался, представляя, что было бы, если бы Полонею уложили в постель к пану Гервасию, и тот «эмпирическим способом» узнал, что с ними путешествует девица в мужском костюме. Не то чтобы это было неслыханным делом… В неспокойную эпоху ловкие дамы, отправляясь в странствие, часто переодевались в мужское — так гораздо безопасней. Но сам Вырвич был убежден, что он бы так не обманулся… Давно бы разоблачил авантюрную даму! Даже по тому, что дабы справить нужду, лжепарень отбегает от попутчиков, как от медведей, да стыдливо прячется за кусты…

Но что с рыжего Американца взять… Вон уже храпит себе.

Последнее, что в этот день увидал Прантиш, — как Лёдник, отчитав молитвы, при последнем свете свечи рассматривает листок с неровно начертанными детской рукой буквами…

Утром Прантиш выскочил из дома, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. Как-никак, он впервые был в таком далеком зарубежье, где даже в бытовых мелочах отличия от привычного — хотя бы в манере женщин повязывать платок. А уж такой большой костел не осмотреть грех! Его построили еще крестоносцы, которые собирались здесь хозяйничать, пока не получили пинка под Грюнвальдом от литвинов, поляков да жмудинов. У Вырвича даже дыхание сперло, когда он вблизи поднял голову, чтобы увидеть круглые витражи окон… Будто прямо на тебя по волнам неба плывет величественный красный корабль!

Прантиш с удовольствием поболтался среди горожан, приметил несколько пригожих девушек… Перемигнулся…

А подымаясь по лестнице в помещение отеля, услышал гневные голоса Лёдника и Агалинского. Мудрый студиозус решил сначала послушать и разобраться, что за каша там варится, — неохота под горячую руку панам попадать… Ой-ей, сцепились о политике!

— Из-за шляхетского своеволия гибнет государство! — гремел низкий голос Лёдника. — Пусть ваша мость вспомнит, когда последний раз не сорва-

ли сойм? При Августе — никогда! Одно название — депутаты! Самый тупой пьянчуга использует «Либерум вето», и умный закон, который мог поспособствовать благосостоянию всей державы, не принят! На выборах кто больше напоит да взяток сунет — тот и победил!

— Если бы не шляхетские вольности, державы и не было бы! — кричал пан Гервасий Агалинский. — Кто ее защитил от московцев, шведов, татар? Мещане? Мужики? Купцы? Шляхтич с детства готовится отдать жизнь, обороняя свою землю от врагов! Кто ты такой, чтобы о державе рассуждать? Хоть весь патентами нобилитации обвешайся — ты ничтожный мещанин!

— Я, может, и мещанин, но в моей деревне крестьяне не голодают!

— Ну да, мужика, известно, волнует, что другой мужик на обед имеет! — насмешничал пан Гервасий. — А ты знаешь, что крестьяне в твоей деревне сеют, какая там почва, хватает ли удобрения? Не стоит ли прикупить какой-нибудь луг? Приехал, посмотрел, копейку бросил — и на лекции. Какой из тебя хозяин имения?

— А вот интересно, если бы пан Лёдник мужиков в академию начал принимать… — это молвила легко-невинно Полонея… Вот же дрянь, специально подзуживает.

— Вот, это и есть безобразие в государстве! — подхватил Американец. — Я бы таких самозваных шляхтичей, как ты, клистирник, дальше конюшни не пускал! Ты же, схизматик, спишь и мечтаешь, как нашу землю москалям отдать! Думаешь, они тебя одарят, так станешь равным с нами! Не быть тому — князь и в России князь, а холоп — и в Риме холоп! — Агалинский кричал, как ворона на дождь.

— А неуч и пьяница — и на троне неуч и пьяница! — совсем разошелся в вольнодумстве своем Лёдник. — Благородные! Что же вы под Альканиками не были такими благородными, когда Богинские да Вишневецкие Сапегов разбили, а потом, напившись, в костел ворвались да пленных своих же панов-братьев порубали? Я в летописи сам читал: «Супротив Бога и совести обязательства под присягой обещанное сломав и слова не сдержав, буде от перепития стаей ухарской в злобе и гневе более на зверей диких, чем на людей похожей, никакого верховенства княжеского не респектуя». Пленного гетмана Михала Сапегу ударом в спину убили. Это не я свою землю продаю, а те, кто право на трон готовы из чьих угодно рук принять!

— Да я тебе сейчас язык твой холопский отрублю!

В комнате зазвенела сталь, Прантиш еле сдержался, чтобы не вмешаться. Но сдержался правильно: что-то брякнулось об пол, и Лёдник холодно промолвил:

— Не советую васпану повторять свой экзерсис. В честном бою у вас нет против меня шансов.

Кто бы сомневался, что доктор выбьет саблю из рук драчливого пана Гервасия в первую же минуту… Ну что, обошлось?

— Это я действительно ошибся, — голос пана Агалинского аж срывался от ненависти. — Скрестил с тобою, мерзавец, свое шляхетское оружие! Забыл, кто ты такой и на что способен! Развратник и предатель! Все, хватит! Нос дерет, командует, поучает! — пан снова сорвался на крик. — Сейчас же расплачивайся, как присягал! Запорю, как собаку!

— Как будет угодно васпану! — Лёдник тоже зашелся от гнева. — Плеть — то оружие, которым вы владеете в совершенстве! Ничего иного стране от вас и не дождаться! Да мне приятней сейчас сдохнуть, чем дальше с вашей мостью одним воздухом дышать!

Похоже, фитиль догорел до последней ниточки. Прантиш ворвался в комнату. Лёдник бросил саблю и срывал с себя камзол, аж мелкие пуговки летели на пол, а Агалинский, красный и распаленный, как заходящее солнышко, сжимал в руке тяжелую плеть. Полонея сидела на подоконнике, как нарисованная, и искренне забавлялась.

— Паны, сейчас в ратуше дракона будут убивать! — звонко выкрикнул Прантиш, но оба дискуссанта, поедая ненавидящими взглядами друг друга, не очень обратили на него внимание.

— Ваши мости совсем обезумели! — Прантиш стал между врагами. — Мало того, что из-за вашей несвоевременной горячности не осуществится наша миссия, но и мы все погибнем! Во время фэста в городе под угрозой смертного наказания запрещено всякое насилие. Вас, пан Гервасий, повесят! А нас посадят в острог. И пользы будет, как у гуся овес покупать.

О запрете насилия Прантиш врал, но вполне возможно, какой-то подобный обычай в Дракощине существовал.

— А вы бы, пан Полоний, сходили лучше посмотрели, как прелестник Доминик с мечом красуется, — язвительно бросил Вырвич Богинской. Та легко соскочила с подоконника.

— Ой, и правда! Как же пропустить такое зрелище! Для моего шляхетского воспитания героические примеры необходимы! А пан Гервасий не боится близко к дракону подходить?

Княжна, как всегда, ловко расшевелила нужные чувства. Лёдник и Агалинский, все еще тяжело дыша, готовые загрызть друг друга, немного охолонули. Пан Гервасий поднял свою саблю и обратился к доктору:

— Только потому и позволяю тебе еще немного пожить, что знаю — недолго.

И выскочил из помещения, так хлопнув дверью, что даже пауки разбежались по щелям.

Лёдник молча надел камзол, на котором не хватало пары пуговиц, поднял саблю, стараясь не смотреть на Прантиша.

— Если васпан не дорожит собственной жизнью, — холодно промолвил Прантиш, — то подумал бы о судьбе двух человек, что напрямую зависят от его жизни.

Профессор вложил саблю в ножны так яро, будто втыкал в тело злейшего врага, и тоже хлопнул дверью.

С такими жильцами «Золотая курица» долго не простоит, на дощечки-камешки рассыплется…

Полонея с милой улыбкой приблизилась к Вырвичу, вся такая же кукольная, как Дракощин, в аккуратном паричке, голубом камзольчике с серебряными пуговками, белых чулочках…

— Пан Вырвич, а что за присягу дал пану Агалинскому доктор?

Вырвич только молча просверлил коварную паненку взглядом:

— А вы впредь, пан Бжестовский, хорошо подумайте, прежде чем разжигать ссоры между взрослыми мужчинами, потому что следующий раз их, возможно, не удастся остановить, а если Лёдник умрет, вы останетесь один на один с паном Агалинским.

Панна немного побледнела, но Прантиш не стал ждать ее ответа и выбежал вслед за своим профессором.

Солнце щедро золотило даже серые камни мостовой… Люди валом шли к ратуше. В одном месте, где улицу перегораживала огромная лужа, в которой плескался позавчерашний дождь, проворные местные ребята сладили

хороший бизнес, перенося на собственных спинах через грязные волны торжественных паней в необъятных юбках и панов в белых чулках. Пан Полоний Бжестовский, естественно, воспользовался этим предложением.

А за вход в ратушу и честь присутствовать при испытании ангельского меча, оказалось, нужно выложить целых пять цехинов! Лёдник прошипел, что предприимчивый Дракощин выдоит даже магнатские карманы, но пан Агалинский и не задумался. А чего там — радзивилловским золотом кошелек набит, как рождественская колбаса.

Ратушу украшали два шитые золотом штандарта. На одном — правильно — пронзенный мечом дракон, на втором — архангел Михаил на коне. Первый этаж ратуши представлял собой огромный зал с колоннами, в котором было так удобно разместиться важным гостям. Дамы со своими фижмами проплывали, как заваленные цветами челны, окутанные почти зримыми облаками парфюма, некоторые из панов демонстративно поднимали к глазам последнее свидетельство прогресса, только что из Парижа, — круглые стеклышки на ручках, эдакая усовершенствованная линза батюшки пана Гервасия Агалинского, какую тот подарил симпатичной горничной. И пан Доминик со шрамом во лбу был здесь же — сиял, что начищенный червонец. Панна Богинская так и прилипла к нему взглядом. Ясно, если б не в мужской одежде, испытала бы на красавчике свои чары.

Затрубили фанфары. Пан Доминик торжественно подошел к постаменту в конце зала, на котором под стеклом лежал меч с эфесом в виде лилии. Два кавалера распахнули стеклянные створки…

Естественно, меч в руке избранника не засиял, не расцвел и не пустил сноп искр.

О чем с должной грустью было объявлено.

Битва с драконом откладывалась на год. Зато сейчас ожидалось очередное кормление чудища. Выбор жертвы для него (самой пригожей девицы). Театральное представление. Турниры лучников и бардов, танцы, ярмарка…

А как же горькая судьба отданной на съедение девушки? Осознание, что чудище не побеждено? Ничтожные трусы!

Вдруг послышался громкий рык. Дамы, как положено, завизжали… Несколько слуг в красных одеждах торжественно провели через зал белую телушку, украшенную красными лентами.

— Он проглотит ее целиком! — объявил важный пан, тоже в красном кафтане.

Местный дракон питался явно не яичницей.

Прантиш был взбешен. Пан Доминик все так же самоуверенно прохаживался в сопровождении свиты и отвечал на глупые вопросы, вроде — как он не боится отправляться на битву со страшилищем?

Снова загудела труба, в зал вполз огромный, но кукольный, дракон, которого играли актеры, накрытые зеленым сукном, и зрители устремились в другой конец помещения… Начиналось представление. Пан Гервасий и Полонейка двинулись за всеми. Балтромей Лёдник нашел компанию — худого, как штакетина, пана в черной мантии с золотой цепью на шее, свидетельством докторского звания, и оба ученых мужа, о чем-то важно переговариваясь, зашились за спины толпы.

Оскорбленный, разочарованный Прантиш остался один у стены, где на постаменте лежал никому ненужный меч. Вырвич осторожно открыл стеклянную дверцу… Погладил сталь… Оглянулся… Даже стража отправилась

посмотреть на клоунов. А там, в подземельях, пыхтел огнем еще живой дракон, захвативший несчастный город!

Рука сама ухватилась за эфес в виде лилии… Избранник! Какого рожна тот Доминик — избранник, если он даже меч правильно держать не умеет? Рыцарь не рассуждает, рыцарь идет в бой!

Дверь, за которой исчезла белая телка, распахнулась, слуги, вернувшиеся от дракона, бегом бросились присоединяться к зрителям…

Прантиш достал меч из витрины… А потом шляхтич Вырвич, как сэр Ланцелот, как Трищан, как гетман Кастусь Острожский, твердым и быстрым шагом отправился на смертный бой — осуществлять рыцарский подвиг.

Вход в подземелье, находившийся за ратушей, в обнесенном высокой стеной круглом дворике, выглядел очень прозаично: деревянные двери, укрепленные железными полосами, будто в большой погреб. И даже не заперты! Вот же неосторожно… А если чудище вырвется, пожрет всех?

Прантиш спустился по широким ступеням в пещеру. В нос ударила страшная вонь. Но какая-то… совсем не легендарная. Будто бы вошел в большой коровник. Глаза постепенно привыкли к полутьме… Какая там пещера! Помещение с каменными стенами, с окнами, забранными в решетки… А на стенах — ужасное: веночки с белыми вуалями. Известно — тех девушек, что стали жертвами. И несколько портретов висело здесь — красавицы грустно посматривали на Прантиша, будто молили: отомсти за нас, отважный рыцарь! Защити других невинных девиц от страшной смерти! Рука Прантиша изо всей силы сжала эфес лилейного меча…

Впереди ждали еще одни огромные двери с окошками, закрытыми искусно раскрашенными ставнями… Прантиш догадался, что именно через эти окошки и показывают за деньги чудище. А что оно там — точно! Студиозус слышал его дыхание, глухой рык, скрежет… Позорный пот волнения заливал глаза…

Но погибшие девушки!... А еще утереть нос избраннику Доминику…

И Прантиш рванул на себя тяжелые двери.

Да, он был там! Самый настоящий живой дракон… Свет скупо просеивался на него сквозь маленькие окна в потолке. Какой он был огромный! И какой-то… Будто покрытый плесенью. Блеклые глаза, как слепые, — где же в них огонь? Да из пасти тоже огня не видно… Зато пасть здоровенная! Половина Прантиша в нее точно поместилась бы. Голова дракона была одновременно похожа и на змеиную, и на огромную лошадиную. А что наиболее странно — не виднелось крыльев! Возможно, они просто сложены, как у летучей мыши? Чешуи тоже, насколько Вырвич рассмотрел, не имелось — морщинистая блекло-коричневая кожа. Между огромных лап с грязными когтями величиной с арбуз лежали останки белой телушки.

Чудовище дышало, как испорченные меха. И вдруг взревело — но вблизи в этом реве слышалась не угроза, а скорее что-то жалобное.

Обманывает! Теперь следовало, наверное, вызвать дракона на дуэль… Ради будущих баллад… Но слова застревали, и вместо героической речи получилось нечто невразумительное и грубое, будто задиристые слова в драке бурсаков.

Вдруг чудище ударило лапой прямо перед Прантишем, когти отвратительно проскрежетали по камню…

Когда-то, во время учебы в иезуитском коллегиуме, Вырвич со своим другом, горбатым, но очень умным школяром по кличке Вороненок, рассуждали, как можно убить дракона. Ибо, естественно, Прантиш уже тогда меч-

тал о подобном поединке, достойном рыцаря. Парни долго обсуждали, куда нужно нанести удар — драконову чешую не пробьешь, единственное — сразу попасть в глаз!

Прантиш, чтобы сбить чудовище с толку, двигался взад-вперед. Дракон молотил лапами, не попадая во врага, ревел, мотал головой… Но Вырвич прошел еще и фехтовальную школу безжалостного Лёдника! И, улучив момент, бросился на бестию — раз! — меч по гарду вошел в блекло-желтый глаз! Если у чудища были мозги, их должно было пронзить насквозь.

Как взревело воплощение тьмы! Дракон бросался в стороны, на счастье, снова не вперед, не к дверям, к которым отскочил Прантиш… Корябал когтями камень… И наконец упал, застонав, почти как разумное существо, и в подземелье стало тихо-тихо… Даже в ушах зазвенело, и далекая музыка праздника показалась нездешним эхом. Подвиг осуществлен, город освобожден, красавицы в безопасности…

Теперь, согласно рыцарским романам, следовало в доказательство своего подвига отрубить побежденному дракону голову… Нужно же что-то бросать под ноги Прекрасной Даме!

Прантиш осторожно подошел к чудовищу (воняло от него, даже в глазах щипало!), сапогом потрогал лапу… Потом взялся за рукоять меча, едва вытащил клинок из мертвого глаза… Даже если удастся за пару часов отрубить эдакую голову, разве человек может ее поднять? И навряд ли хоть какая панна обрадуется такому подарочку… А когда Прантиш все-таки попробовал ощупать шею монстра, его ждало ужасное открытие: железный ошейник! Дракон сидел на цепи! Здоровенной, в руку толщиной… Неудивительно, что он не мог достать ловкого студиозуса!

Стало как-то еще более неудобно. Но, может, хоть какой коготь на лапе отрубить?

Глаза все больше привыкали к полумраку, и дракон выглядел все более мерзко… И жалко. Шрамы, пятна… И этот кожаный мешок столько лет держал в ужасе весь город? Вот же трусы здесь живут! А главный из них, конечно, шрамолобый пан Доминик.

Прантиш, чувствуя, что это самый важный момент в его жизни, двинул назад, изгоняя из головы все сомнения в собственном героизме.

Из дверей ратуши выглядывали испуганные людишки — видимо, услышали предсмертный крик чудовища.

Вырвич важно ступил в зал, поднял окровавленный меч.

— Ваш город освобожден! Я, белорусский рыцарь Прантиш Вырвич герба Гиппоцентавр из Подневодья, убил страшного дракона!

Музыка оборвалась, публика умолкла.

Как-то не так Вырвич представлял встречу победителя.

Люди начали перешептываться. Войт, чья физиономия заметно перекосилась, отдал отрывистые распоряжения, и несколько человек побежали в подземелье…

Около студиозуса материализовался Лёдник, стал плечо к плечу, рука на эфесе сабли.

— Вырвич, — ласково проговорил доктор, не сводя настороженных глаз с толпы, — я называл вас когда-нибудь олухом?

— И довольно часто, профессор, — проговорил Прантиш, которому от не очень приязненных взглядов присутствующих становилось не по себе.

— Тогда для вас это не будет новостью. Вы — олух, пан Вырвич, — както очень грустно проговорил профессор.

— Убили! Дракона убили! — закричал кто-то за спиной. Люди загудели, как разворошенный улей, руководство города заспорило… Вырвич прислушался:

— Почему охрану не оставили? — сурово спрашивал войт.

— Кто же знал, что какой-то придурок решится… — оправдывался кто-то, дальнейший разговор потонул в общем шуме.

Архангел Михаил посматривал со штандарта на стене почти насмешливо.

— Меч положи, не хватало еще, чтобы в хищении реликвии обвинили, — все так же ласково и тихо проговорил профессор, и Прантиш спешно, — все отшатывались, как от коростливого, — вернул священное оружие на место.

— А сейчас медленно, с улыбками двигаемся как можно ближе к выходу…

Лёдник крепко ухватил студиозуса за плечо и поволок через толпу. Люди настороженно расступались, мелькнуло рассерженное лицо избранника Доминика…

— Дракон был убит без благословения святого Михаила! — вдруг заорал кто-то. — Держите охальника!

— А вот сейчас уходим быстренько, и даже очень…

Профессор толкнул Прантиша вперед и выхватил саблю. Поднялся шум… Лёдник и Прантиш приближались к дверям со всей доступной быстротой, к счастью, толпа препятствовала не только им, намного сильнее мешала охране. Пан Гервасий пробился к спутникам:

— Ну ты и устроил, пан Вырвич! Его мость пан Кароль Радзивилл обязательно принял бы тебя в орден альбанцев!

Американец захохотал, как леший, и тоже оголил саблю.

Вот и дверь на площадь… А там — ноги не поставить из-за зевак.

— Дорогу победителю поганого дракона! — вдруг прокричал звонкий голос. — Начинаются большие гулянья! Музыка!

Панна Полонея Богинская, искушенная в дворцовых интригах, сбивала народ с толку. После ее выкрика вдруг даже музыка начала играть, а кто-то крикнул: «Виват!»

— Ты не просто испортил людям праздник, ты, пане, благополучие всего города упразднил, — ласково-угрожающе говорил на ухо Прантишу Лёдник. — Улыбайся, рукой помаши, болван несчастный… Может, удастся пройти без драки… Пан Бжестовский, держитесь за моей спиной!

— Хватай их! — кричал кто-то, но из-за шума и общей неразберихи никто толком не понимал, кого хватать и за что.

— Я же освободил город… Здесь девушек в жертву дракону приносили… — бормотал Прантиш.

— Сим-во-ли-чес-ки! Символически приносили в жертву! — раздраженно объяснял на ходу доктор. — Красавицы соперничали, которая лучше, победительница торжественно заносила в подземелье венок и фату… А потом счастливо выходила замуж с выделенным от магистрата приданым. Горожане этого реликтового ящера в болотах выловили. Доктор, с которым я познакомился, лечил его — существо старое, насквозь больное… Даже выпусти — не догонит. Зато какой экономический успех! Нам бы, белорусам, так научиться свои малые города поднимать. Земблица эта за восемнадцать лет в три раза выросла. А сколько работы поэтам, художникам, артистам, музыкантам, архитекторам! И все рухнуло из-за одного студиозуса, которому зачесалось совершить подвиг!

— А как же этот… избранный… с полумесяцем во лбу? — растерянно проговорил Прантиш, обходя дородную пани в юбке с фальбонами, будто колючий куст.

— И как ты занимался медицинской наукой, если не можешь узнать обычный шрам от подкованого копыта!

— А ну, с дороги, гицли! — пан Гервасий, как всегда, не просился, а действовал силой, грубой и надежной. Пани Полонея скромно пряталась за спиной Лёдника, самого высокого из компании.

Наконец они выбрались из густой толпы. Но судя по крикам, погоня приближалась.

— Нас на кусочки могут разорвать… — задумчиво проговорил Лёдник, и было понятно, что не шутит. — Быстрее! — и прибавил ходу. — Пан Бжестовский, не отставайте! Главное, из города выбраться…

— А как же вещи в отеле? — задыхаясь, прокричала на бегу Богинская.

— Считайте, их дракон проглотил!

Постепенно люди втягивались в новую игру — «лови преступника».

— Здесь они, вон, убегают! Хватай!

Кто-то толкнул торговца воздушными змеями, и те пестрой стайкой взлетели в воздух.

Когда Прантиш в очередной раз оглянулся, то не увидел пана Гервасия.

«Испугался, рыжий вояка!» — злорадно подумал студиозус.

А между тем, похоже, их догоняли…

Прантиш тоскливо рассуждал — вот, совсем недавно совершил, как считал, великий подвиг и рассчитывал на виваты и уважение, венки, и восхищенные взгляды… А теперь порубят их на чужой мостовой да на тела плюнут…

Вдруг всех оглушил свист, бешеным аллюром промчались кони, запряженные в красивую карету с незнакомым гербом, приостановились, едва не искры из-под копыт.

— Садитесь!

Пан Агалинский стоя управлял лошадьми, его рыжие волосы развевались, как флаг, — шляпу пан где-то потерял. Полонея первая уцепилась за распахнутую дверцу кареты, ловко залезла внутрь. Прантиш и Лёдник запрыгнули уже на ходу.

— С дороги, увальни! Дракона вам победили, а вы еще недовольны! — орал Агалинский, нещадно подхлестывая коней. — Я пострашнее дракона буду! Пан мой, Кароль, городок ваш за час уничтожит!

Полонея выпустила несколько пуль во всадников, что пробовали догнать карету, и их пыл уменьшился. Наконец проскочили городские ворота — по причине праздника мост был опущен… Вот колеса кареты затряслись на ухабах немощеного тракта… Потом по крыше застучали еловые лапы… Беглецы, свернув с наезженого пути, заехали в лес. Погоня отстала.

Наконец пан Агалинский остановил приуставших коней и тоже залез в карету, шумно выдохнул.

— Я даже астролябию бросил! Проклятый городишко…

— Теперь Дракощин придется снова переименовывать в Земблицу, — задумчиво проговорил Лёдник, который успел уже высказать студиозусу все, что думал по поводу его умственных способностей и авантюрности, удовлетворился его искренним раскаянием и сам немного успокоился.

— А что их избраннику теперь делать? — фыркнул Агалинский. — Сразу все девицы отпрыгнут, как блохи с дохлого пса.

Полонея засмеялась, и Прантиш не удержался от улыбки. Хотя на душе было так погано, так погано… Даже подташнивало — как на первом курсе, когда они с Недолужным попались ректору за игрой в карты, да еще разложились на удобном надмогильном камне около университетского храма, и разъяренный ректор по старому обычаю приказал ту колоду карт измельчить, приправить бигосом да скормить игрокам до последней ложки.

— Эх, такую редкую животинку не пожалел! — укоризненно проговорил Лёдник. — Они когда-то населяли землю, еще до того, как появились привычные нам звери. Ящер этот, драконом названный, последний, возможно, из своего племени остался, а ты его… Как свинью шилом…

Прантиш отвернулся, щеки запылали… Действительно. Убил старое, больное, посаженное на цепь животное…

— Ого, свинью такую убить! — возразил пан Агалинский. — Его мость пан Вырвич не знал же, насколько опасно то чудовище… Он шел в смертельный бой, готовый погибнуть! Это достойно рыцаря!

— Один французский король, умирая, так это достоинство обозначил, ваша мость: после нас — хоть потоп! — раздраженно проворчал Лёдник и язвительно прибавил: — Но я же, простой мещанин, не имею права рассуждать об эдаких высоких материях.

Помолчал, неохотно вымолвил:

— Кстати, благодарю вас, пан Агалинский — вы нас всех спасли.

— Не мог же я лишиться возможности убить тебя собственноручно! — оскалился пан Гервасий и вздохнул. — Эх, а я так живого дракона и не увидал!

А панна Богинская страшно нахмурилась, рассматривая свои обломанные ноготки, и Прантиш понял, почему: вспомнила о сундуках, брошенных в отеле Дракощина. А там же и ножнички-притирания, и юбки, башмачки на случай, если удастся вернуть себе женский облик… Да, этого паненка ему никогда не простит. Стало на душе еще поганее. Хоть ты возвращайся в тот Дракощин, чтобы на кусочки заслуженно разорвали.

А Богинская вдруг улыбнулась и обратилась к Прантишу милым голоском:

— А почему пан Вырвич не принес голову дракона какой-нибудь прекрасной даме? Следующий раз не забудьте сделать именно так. Прекрасная дама будет вам благодарна!

Глава десятая

Лёдник и объятия святого Фомы

Трясея трясет, Огнея разжигает, Ледея выстуживает, Каркуша корчит, Гнетея на ребра да черево кладется, Гринуша на грудь… Невея — всех проклятее, и человек жити от нее не имает…

На потемневшем от ветров и дождей придорожном кресте трепалось то, что когда-то было заботливо вытканным рушником, а сейчас казалось выцветшей до туманной серости тряпкой. А самое угрожающее — выбеленный конский череп, который кто-то старательно прибил к верхней перекладине креста, нарисовав на лобной кости алый крест. Через черные провалы глазниц смотрела «сестрица-бесица» Невея из страшных рассказов.

— Помоги, святой Виллиброрд… Святой Себастиан… Святой Антоний… Святой Христофор… — пан Гервасий Агалинский перекрестился и забормо-

тал молитвы. От того, что он упоминал святых, которые считались защитниками от чумы, Прантишу стало совсем не по себе. Одно дело — когда перед тобою враги с саблями да ружьями, пусть бы целая толпа, и другое — когда враг невидим и неодолим…

— Поветрие, — сурово озвучил Лёдник то, что вертелось у всех в голове.

— Не нужно было сворачивать с тракта… — уныло промолвил Прантиш, хотя ясно, что свернуть пришлось именно из-за его приключений в Дракощине, чтобы сбить возможное преследование.

Вдруг Полонея совсем по-девичьи завизжала, показывая куда-то пальцем — даже кони шарахнулись. Вырвич всмотрелся — поодаль, в седой траве лежал человек… Рядом еще… Похоже было на то, что изможденные люди ползли к дороге в поисках спасения. Лёдник поднял руку:

— Стойте на месте… — и неспешно поехал в сторону тел.

— Вам, пан Полоний, нужно было девицей родиться, — внимательно всматриваясь в спину доктора, проговорил пан Гервасий свою любимую в последние дни фразу. Богинская ответила в привычной манере, но без тени веселья, тоже не отводя взгляда от черной фигуры на коне, которая приближалась к страшной находке:

— Это было бы вашим величайшим несчастьем, пан Гервасий. Вы бы влюбились в меня, и ваше сердце было бы разбито моей жестокостью.

Лёдник остановил коня, через некоторое время резко повернул его и подскакал к спутникам. Его худое лицо было как-то слишком спокойно.

— Чума.

Полонея снова вскрикнула, пан Гервасий зашептал молитвы…

— И… что делать? — Как ни досадно было признавать это, но в их благородной компании при тяжелых обстоятельствах подобные вопросы все невольно задавали прежде всего единственному неблагородному ее члену. Лёдник иронично хмыкнул.

— Ну что я могу вам предложить, пан Вырвич. Только то, что в подобных ситуациях столетиями советовали мои коллеги: «Cito longe fugas et tarde redeas», — уходи быстро, далеко и долго не возвращайся.

И вдруг пришпорил своего коня:

— Айда!

Они неслись по дороге, подальше от креста с черепом, и казалось, что за ними летит страшная тень с распростертыми крыльями…

На следующем распутье пришлось приостановиться. Лёдник посмотрел на перепуганные лица.

— Пока бояться нечего. Судя по положению покойников, поветрие на той стороне, откуда они двигались. А значит, мы от него удаляемся. В конце концов, с вами врач, и поверьте, я видел не одну эпидемию. Жаль, сумка с инструментами и лекарствами утеряна…

Решено было, однако, остановиться на ночлег, отъехав как можно дальше от страшного места. К счастью, сегодня не было дождя, и дорога немного даже подсохла. Мелькали верста за верстой… Леса сменялись полями, темнели сгорбившиеся хатки, будто стаи уродливых существ припали к земле, готовясь к нападению… Пан Гервасий болтал, рассказывая байки о поветриях. Особенно американские: как испанские кондотьеры нашли в зарослях золотой город, но стоило взять одному из них в руки слиток, его кожа начала покрываться позолотой, и бедняга умер на месте, так как сердце тоже сделалось золотым. А второй отряд, на этот раз ангельцев, разбил лагерь на полянке с красивыми розовыми цветами, а наутро оказалось, что эти цветы, похо-

жие на вьюнок, проросли прямо сквозь тела спящих, и пока отряд выбрался к людям, все умерли мучительной смертью, и были сплошь покрыты цветами.

Рассказы веселья не добавляли.

Лёдник снова сверился с картами насчет ближайшей станции, до которой можно доехать засветло. Но когда Богинская узнала, что есть возможность попасть в местечко под названием Томашов, захотела туда. Ясно почему: выглядит теперь маскарадный пан Бжестовский совсем не так красиво, как на фэсте в Дракощине, ибо переодеться не во что, в корчмах галантных вещей не продавали, чулки давно уже стали черными от грязи, парик нужно было высушить и напудрить, а собственные волосы паненки, темные, коротко остриженные, висели неприглядными водорослями… Паненка мечтала о сапогах, чистой рубахе… Ну а еще о горячей воде, зеркале, парфюме, кровати… Да и Прантиш не против был посетить Томашов. Вряд ли там держали дракона.

Издали город выглядел более мрачно, чем Дракощин. Серые стены, никаких тебе пестрых штандартов на них… Да и народу к городским воротам направлялось намного меньше. Вот заехал одинокий воз, груженный бочками, зашел мужик с мешком на спине… И все. Ни одной живой души, куда ни кинь. Даже расспросить некого, что в городе делается.

Когда они подъезжали к воротам, Вырвичу вдруг очень захотелось повернуть коня… Какой-то необъяснимый страх охватил, что студиозус списал на следствие пережитого в Дракощине. Лёдник называл такое «фобия» — человек чего-то один раз испугается, а потом шарахается от подобного всю жизнь…

Нет, страх не победит шлятича герба Гиппоцентавр!

Прантиш потрогал саблю, задрал голову и постарался придать лицу особенно высокомерное выражение.

Но когда путники очутились по другую сторону ворот, собственные предчувствия не показались студиозусу такими уж бессмысленными. С обеих сторон на гостей направили ружья стражники с лицами, обвязанными до глаз тряпками. Судя по запаху, тряпки были вымочены в лекарственном отваре.

— Прошу панов спешиться и пройти вон в тот шатер. Вас осмотрит врач, нет ли следов болезни.

Белый полотняный шатер стоял прямо перед воротами так, чтобы его нельзя было обойти. Пан Агалинский начал было возмущаться по поводу шляхетских прав и слова чести, которое перевешивает любые осмотры. Но Лёдник соскочил с коня первым.

— Мы охотно покажемся доктору. А кто-то в городе уже заболел?

— Да бережет святой Рох, пока нет. Поэтому пусть паны простят — если хоть тень подозрения, что вы принесли заразу, погоним прочь пулями и огнем.

Колючие глаза стражника скрывали тот испуг, древний, темный, который может сделать из человека зверя, худшего, чем дракон. Панна Богинская тревожно кусала губы — а что, если потребуют раздеваться? Прантиш злорадно усмехался: не все же тебе, паненка, других ставить в неподручное положение! А Лёдник тронул паненку за плечо и тихонько проговорил:

— Держитесь за мной, пан Бжестовский. Что-нибудь придумаем.

Ну как же, профессор не мог не пожалеть глупую девчонку! Которая, если что, профессора не пожалеет ни капельки.

Полотнище шатра распахнулось, и Вырвич едва сдержал вскрик: там стояло чудовищное создание. В головном уборе, похожем на птичью голову

с большим загнутым клювом, в черном просмоленном балахоне и перчатках. От того, что студиозус знал — это лекарь в обычной во время эпидемий одежде, какую носят служители Гиппократа, спокойнее не становилось. Казалось — перед ними воплощенная чума.

Первым вошел пан Гервасий и сразу начал браниться… Подумаешь, раскомандовались здесь всякие!

Местный доктор имел хорошую выдержку, потому что на ругань Агалинского не отвечал, слышалось только властное: «Повернитесь, ваша мость!», «Расстегните, будьте любезны, рубашку».

Прантиш, как без пяти минут выпускник Виленской академии и ассистент медика, держался намного более разумно: продемонстрировал отсутствие чумных бубонов, целостность слизистых оболочек, покорно принял обрызгивание вонючей жидкостью, которое осуществляли на другой стороне шатра еще две фигуры в балахонах…

Где-то на городской ратуше часы отбили пятый вечера, время осенних сумерек. Тут же выстрелило орудие — то ли местный обычай, то ли средство отгонять чуму.

И тут в шатер зашел Лёдник.

— Балтромеус! Какими судьбами?

Томашовский врач стянул с себя угрожающий клюв, показав совсем не страшное, с мягкими чертами лицо, которое сейчас освещалось радостной улыбкой.

— Ёханнес Вайда!

Оба доктора обнялись, похлопывая друг друга по спине, как могут только приятели юности.

— Как хорошо, что ты появился! Действительно — Бог посылает помощников в тяжелую годину… А здесь — однокурсник по Праге! Следил, следил за твоими публикациями. Похоже, твои взгляды сильно изменились. А здесь столько дел — не успеваю… Знаешь, наверное, что эпидемия близко подбирается?

В светлых глазах пана Ёханнеса действительно пряталась усталость.

— Прости, друг мой, но я здесь только случайно — и проездом. Нам к среде надо быть в Гданьске, корабль ждет, — виновато сказал Балтромей.

Ёханнес грустно вздохнул:

— В таком случае, ты очень неудачно пожаловал в Томашов, мой друг. Если бы еще час назад… Но — сам слышал! — пробило пять, выстрелила пушка… А значит, в городе волей епископа объявлено блокадное положение. Теперь никто сюда не въедет и не выедет — пока не закончится поветрие. Даже с королевскими патентами. Вы — последние наши гости. Я бы мог объявить вас больными, чтобы вытурили из города, — но епископ приказал обходиться с носителями заразы, как с еретиками. Боюсь, вас могут просто расстрелять со стен, а тела сжечь.

Вот те раз! Прантиш застыл, успев надеть камзол только на одно плечо, Лёдник, похоже, был тоже ошеломлен.

— Это невозможно… Я должен ехать! Может, переговорить с епископом? Выпустив меня со спутниками за ворота, город же не получит вреда!

Ёханнес покрутил головой с черно-седыми волосами.

— Друг мой, ты знаешь, кто у нас стал епископом, настоятелем храма святого Фомы, а заодно приором монастыря? Отец Габриэлюс Правитус!

Похоже, это была очень плохая новость, потому что Лёдник побледнел и схватился рукой за горло, как от одышки.

— Да, да, твой бывший пражский учитель! — с каким-то особенным выражением промолвил Ёханнес.

— Мне действительно не стоит с ним встречаться… — сдавленно произнес Лёдник.

— Да, епископ наш — человек непростой, все в городе ему подчинено — и бургомистр, и рада, и купцы, и ремесленики. Люди на него молятся — чудотворец, святой благодетель… А когда ты сбежал из Праги, пан Правитус, рассказывали, сильно на тебя гневался. Мол, любимый ученик его предал, уничтожил надежды.

Ёханнес испытующе смотрел на однокурсника, тот удрученно молчал.

— Как далеко ты зашел со своим бывшим учителем, Бутрим? — тихо спросил пан Вайда.

— Далековато, Ёхан. Дальше, чем стоило, — так же тихо проговорил Балтромей.

— А мы тогда, когда он лекции у нас стал читать, его боялись. Чтобы, не дай Господь, не блеснуть умом, чтобы не затащил в свой кружок. Ходили слухи о его магических занятиях, на которых люди исчезают, а кто-то сходит с ума или начинает говорить не своим голосом. Я специально экзамены завалил, — задумчиво промолвил Вайда.

— А я вот блеснул… Из кожи лез, чтобы заметили, допустили к тайным знаниям… — с горькой усмешкой промолвил Лёдник.

— Ну, всем Бог судья, — стряхнул с себя грусть пан Вайда. — Пана Правитуса в свое время из Праги тоже едва не на копьях вынесли, наш городок для него — просто ссылка. Так или иначе — ближайшее время ты проведешь в моем доме, Бутрим! Места хватает — хватит и твоим спутникам… Заразы же никто не подцепил? Тебя осматривать не стану — сапожнику сапог не шьют…

— И мальчика, что там у шатра ждет, не стоит осматривать, — поспешно промолвил Лёдник. Ёханнес выглянул наружу, смерил взглядом щуплую суетливую фигуру пана Бжестовского, улыбнулся:

— Ты искушенного медика задумал обмануть, Бутрим? Хорошо, если даешь слово, что твой… мальчик не заражен, пусть паненка больше не нервничает. Раздеваться не заставлю. А то вон черевичками дырку в мостовой просверлит. Но обливание раствором принять придется и тебе, и ей.

— Можжевельник, ладан, спирт, чеснок? — принюхался Балтромей. — А почему не окуривание?

— Жидкость считаю более эффективной, чем дым.

— Ты прав, но для меня твой выбор фатален… — с мрачной иронией проговорил Лёдник.

— Почему? — удивился пан Вайда.

— Потому, что если бы ты травы жег, а не заваривал, я бы еще до ворот услышал запах и уж ни в коем случае не пустил бы своих сюда.

Врачи начали неинтересную лекарскую дискуссию. А Прантиш решил, что приключения в Дракощине и на проклятой мельнице — это еще первые снежинки в сравнении с метелью, которую обещает пребывание в Томашове.

Он не ошибся.

Дом доктора Вайды оказался действительно вместительным. Как оказалось, доктор после окончания университета выгодно женился на дочери томашовского войта. Поэтому заполучил двухэтажный каменный дом. Пани докторова была медлительная, белокожая и дородная, едва не вдвое больше мужа. Она ходила в дорогом платье с брабантскими кружевами, ее курносое,

немного вытянутое лицо в окружении белейших оборок чепца было таким спокойным, что пани казалась надежным островом среди бурлящего океана. У колен пани сновали двое детишек — мальчик и девочка, третий, совсем маленький, спал на руках няньки, краснощекой матроны, которая также излучала спокойствие и уверенность. Стол ломился от колбас и блинов.

— Так и живем, — удовлетворенно обвел рукою идиллическую картину пан Вайда.

— А как твои исследования составляющих крови? — спросил Лёдник. — У тебя были интересные идеи…

Вайда махнул рукой.

— Все что мне нужно знать, рассказали в университете. Это ты в академии можешь витать себе в эмпиреях, искать философский камень, потрошить трупы. А здесь нужно лечить людей, да так, чтобы одобрил святой костел и не заподозрили в святотатстве. Не высовываться. Не выделяться. И когда священник утверждает, что грешное тело свое честный христианин дает мыть дважды в жизни — при рождении и когда умрет, мое дело скромно молчать.

— Подожди, — удивился Лёдник. — Отец Габриэлюс сам же эксперименты любил… И утверждал, что от древних римлян обязательно нужно перенять обычай ежедневно мыться…

Пан Вайда только хмыкнул.

— Сам знаешь — громче всех кричит «держи вора!» вор, и приор монастыря святого Фомы просто охотится на инакомыслящих, святотатцев, ведьмаков, чернокнижников…

— Разве он прекратил свои опыты? — настороженно спросил Лёдник, цепляя двузубой вилкой колбаску.

— Такие не останавливаются, — хмыкнул пан Ёханнес. — Но о его настоящих занятиях догадываемся я, ты, ну еще несколько человек, которые целиком зависят от епископа и епископских приспешников. Здесь — его владения. И его порядки. И могучие покровители по всему свету. Десять лет держит людей в страхе. Повсюду его уши и глаза… Кто начнет говорить плохо об отце Габриэлюсе — может вдруг исчезнуть или умереть от внезапной болезни. А случается, епископ поднимет умирающего с постели одним взглядом. Сам король у него гороскопы заказывает. Так что эпидемия ему — только укрепление власти. А я — маленький человек. Могу кровь пустить, клизму поставить. Что я против чумы?

— Подожди, а помнишь, мы пробовали придумать от нее лекарства? — воскликнул Лёдник. — Даже сам пан Правитус подсказывал — взять пепел короткого ребра и лимфатического подмышечного узла умершего от чумы…

— Еще раз говорю — в Томашове все в соответствии с дедовскими обычаями, — твердо промолвил Ёханнес. — Как сто, двести, триста лет назад. Нам здесь что война в Америке, что interregnum в Короне… Вот поветрие — близко. Сейчас начнется очередная истерия на тему «Искупайте грехи, ибо скоро конец света». Пойдут по улицам флагеллянты, высекут себя во славу Господню, аж брызги кровавые полетят на стены. Кто-то во имя святого Фомы пожертвует костелу все имущество и станет нищенствовать, на улице Золотарей или Рыбников словят пару ведьмарок и поведут топить в пруду… Потом разгромят лавки евреев… Их обвинят в эпидемии и начнут убивать. После евреев возьмутся за нищих — мол, они отравили воду в колодцах. Потом настанет пора крыс и мышей — а может, какой-нибудь козы, в которую вселился дьявол. Надеюсь, до лекарей очередь не дойдет. Город маленький,

нас здесь всего четверо, если считать цирюльника-зубодера. А потом эпидемия закончится, конечно, благодаря молитвам владыки Габриэлюса.

— А мы должны здесь сидеть и это все наблюдать? — возмутился Прантиш, у которого семейное счастье томашовского доктора почему-то вызвало чувство, как выпитая без особого желания, по принуждению няньки кружка кипяченого молока с пенкой.

Пан Агалинский шумно поставил на стол пустой кувшин, в котором только что пенилось неплохое темное пиво.

— Неужто имя его мости, ясновельможного пана Радзивилла здесь ничего не значит? Я выполняю его поручение!

Богинская скривилась, а пан Вайда вежливо поклонился.

— Если бы его мость князь Радзивилл сделал одолжение сюда заглянуть, его бы, конечно, встретили по-королевски. Но здесь не владения пана, к тому же поветрие не разбирает титулов. Смерти боятся больше, чем князей человеческих. Боюсь, что вас, пан Агалинский, епископ даже не примет. Да он пальцем шевельнет — и вас отправят в подвалы, как охальников. Так что, Бутрим, хоть знаю, что ты — православной веры, завтра отправимся на литургию в костел. Я вон, лютеранин, хожу как миленький и о своей вере молчу, как гроб. Пересидите тихонько на последних скамьях… А мне оправдываться проще будет: призрел добрых христиан.

Лёдник совсем помрачнел, посматривая на маленького сынка Вайды, который увлеченно пускал деревянную лошадку скакать по подлокотникам кресла. Ясно — вспомнил малыша Алесика.

— Неужто нет никакого способа выбраться из города?

— У нас есть деньги, пан Вайда, — звонким голосом вмешалась Богинская, уже в новеньком камзольчике и паричке, приобретенных у местных продавцов, вымытая и выспавшаяся. — Даже во время осады можно найти сговорчивых стражников… Подземные ходы… Тайные двери… Возможно, перстень с изумрудом немного приблизит наш отъезд?

И повертела в пальцах драгоценность, за которую можно было приобрести несколько лошадей с каретой в придачу. Свет заиграл на гранях русалочьего камня. Даже пани Вайда заинтересованно всмотрелась…

— Заверяю вашу мость, никто в городе не пойдет против воли владыки Габриэлюса. Ибо уверены, что он владеет нездешней силой. Что он и демонстрировал не раз. А страх перед мором вообще изгонит из сердец милосердие, — твердо промолвил пан Ёханнес и обратился по-немецки к жене: — Сердечко мое, Гретхен, уложи детей спать!

Пани докторова неспешно поднялась, искоса глянула последний раз на изумруд в пальцах пана Полония и ушла вместе с детишками и нянькой.

— Единственное, что может вам помочь… Знаете, в маленьких местечках, в глухих деревнях есть много такого, что жители считают священным обычаем и сохраняют веками, в то время как человеку пришлому это кажется дикарством, — голос доктора Вайды звучал как-то неуверенно.

— О каком обычае ты хочешь нам рассказать, Ёханнес? Говори, не бойся. Меня трудно чем-то удивить, — подбодрил Лёдник. — Если это поможет нам отсюда выбраться, я готов на самый дикий обряд. Что там нужно — ожениться с соляным столбом, провести ночь на могиле проклятого князя, сбить стрелою череп с башни?

— Обняться со святым Фомой, — криво усмехаясь, промолвил Ёханнес. — Тебе это не понравится, Бутрим.

Из того, что рассказал томашовский доктор, ничего хорошего действи-

тельно не вырисовывалось. Объятия святого Фомы помогали в приобретении стигматов. Иногда у особо верующих, святых угодников сами собой возникали раны, как у Господа. В Томашове их получали с помощью особого приспособления. Обычай возник еще с основания монастыря святого Фомы и соответственного монашеского ордена. Приор в нем был фанатичный. Каждый монах, вступающий в орден, должен был пройти жестокое испытание. Потом это стало наказанием. Потом — особенным духовным подвигом, осуществив который, можно просить настоятеля храма о милости — и тот обязан удовлетворить просьбу. Нельзя желать денег, ничего, что обогатит или нанесет кому-то вред. Но таким образом несколько раз возвращали себе свободу приговоренные к заключению или те, кому угрожала долговая яма, иногда доказывали свою невиновность подозреваемые в ведьмарстве и кощунстве. Причем воспользоваться традицией могли люди разной веры.

— При мне на объятия святого Фомы решались трижды, — рассказывал пан Вайда. — Один сразу не выдержал, его с позором погнали из храма, еще и плетей дали. Двое достоялись… Но зрелище неприятное. Думаю, случаев было бы намного больше — сколько людей доведено до такого отчаяния, что еще одна рана на теле им не страшна. Но к реликварию святого Фомы допускают далеко не всех и не всегда. Нужно, чтобы просящий был способен прочитать покаянный канон. Причем двадцать раз подряд. Главная опасность испытания — можно, пока все дочитаешь, изойти кровью. В это воскресенье реликварий откроют. Значит, завтра один из вас сможет к нему взойти. Ну и попросить потом, чтобы вас выпустили из города. Будет считаться, что на вас благодать, святая защита… Что вы очистились от всех грехов и болезнь к вам не пристанет. И мне хорошо, что в моем доме не еретики жили.

— Да мне испытание телесной мощи пройти — как соломину сломать! — сразу заявил пан Гервасий. — Я — воин! Не сосчитать, сколько раз ранен!

— Вырвичи из Подневодья ничего не боятся! — заносчиво заявил Прантиш. — Да меня на кусочки резать будут — не поморщусь!

— Вы, ваша мость пан Вырвич, слишком молоды для испытания, которое должны брать на себя взрослые мужчины с давно выросшими усами! — пан Гервасий важно подкрутил рыжий ус. Прантиш почувствовал, что кровь бросилась в лицо. Да, усики у Вырвича еще не свисают над губой, но он никому не позволит над этим насмехаться! Рука сама нащупала саблю. Пан Гервасий тоже оживился в предчувствии драки…

— Попрошу панов не ломиться в двери, когда дом еще не построен, — холодно промолвил Лёдник и поднялся, строгий, выпрямившийся, спокойный, как смертельно опасное оружие. — Пошли, Ёханнес, покажешь мне, что за объятия святого Фомы. Нужно прикинуть, как выйти из этой глупости с наименьшими потерями.

— Тихо… — побледнел пан Вайда. — Не нужно произносить такие слова о святых вещах!

— Только не говори, Бутрим, что снова возьмешься сам! — возмутился Прантиш. Лёдник только приподнял брови.

— Во-первых, я самый старший, во-вторых, самый грешный. В-третьих, самый безродный. И согласитесь, пан Агалинский, — с кривой улыбкой обратился профессор к пану Гервасию, который готовился что-то сказать вопреки, — меня наименее жалко, не так ли?

Вырвич начал в соответствии со всеми правилами логики опровергать своего учителя. А панна Богинская скромно молчала, справедливо считая, что не должна ввязываться в такие брутальные и неизящные мужские дела.

Воскресенье началось с дождя и стрельбы из пушек. Пошли слухи, что в городе уже кто-то заболел, и люди перешептывались, нарушая святую тишину храма.

— Руки покалечишь и как дальше будешь работать? — в сотый раз сказал Прантиш. Лёдник посмотрел на свои ладони…

— Руки жаль, — спокойно согласился он. — Но постараюсь все правильно рассчитать, чтобы особенно не повредить. Не впервой. Помнишь слуцкие подземелья? Там куда как хуже было. Заживет. Мазь взял?

— Взял… — напряженно ответил Прантиш, которому было не по себе. Неудивительно: паства Томашова выглядела совсем не так, как в Дракощине, Вильне или Менске. Все в сером, черном или коричневом. Ни париков, ни фижм. Нет благородного шляхетского обычая оголять саблю во время чтения Священного Писания. У женщин платья застегиваются под горло, строгие чепцы — ни одного локона не увидишь. Вон и пани Вайда нарядилась именно так, стоит, кротко опустив глаза, как будто и не надевала никогда модное платье с декольте. Не дай Господь, кто-то узнает, что здесь присутствует девица в мужском костюме…

Парфюмом здешние жители тоже не пользовались, видимо, считая это грехом, особенно во время строгого поста во время эпидемии. Немытые тела воняли так, что делалось тошно. Прантиш привык еще в Подневодье посещать баню по крайней мере раз в месяц. При коллегиуме тоже была баня. Ну а Лёдник вообще считал, что по примеру древних греков да латинян мудрый человек должен мыться ежедневно, хоть это, по мнению святош, было страшным богохульством. Так можно смыть с себя всю святую воду, что попала на кожу во время крещения! Достаточно менять рубаху и употреблять парфюм. Ничего, что одну из дочерей французского короля заели вши, другой король умер от чесотки, а третий потерял сознание, когда под его окнами проехала карета и разворошила миазмы от накопившихся отбросов.

В Томашове бани, наверное, тоже теперь считались грехом. Так же, как и здоровые белые зубы. Зато глаза прихожан фанатично горели. Это были взгляды людей, видевших чудо спасения и ужас смерти.

Особенно эта неряшливость чувствовалась на фоне чудесного храма, чьи величественные арки сходились так высоко, что казались темным небом. В островерхих окнах сияли витражи тонкой работы, а над алтарем, в круглом огромном окне-розе летел среди лучей, звезд, ангелов белый голубь — Дух Святой… На алтаре, на стенах потемневшие от времени деревянные скульптуры с вытянутыми пропорциями казались грозными тенями того света.

Вдруг все, как будто кто-то взмахнул над головами лезвием гигантской косы, упали на колени. Собор был такой громадный, что Прантиш не мог толком рассмотреть таинственного приора — а это приветствовали именно его. Зато голос был слышен отлично — благодаря отменной акустике. Голос зачаровывал, владычествовал, ему хотелось подчиняться…

В начале литургии процессия мистрантов подошла к каменному возвышению с распятием, окруженному внушительной позолоченной цепью. Цепь торжественно опустили, затем сняли тяжелый, вышитый золотом покров с мраморного столбика под распятием — в столбик был встроен серебряный кружок, реликварий с останками святого апостола Фомы.

— Давай, Бутрим! — напряженно прошептал пан Вайда. Лёдник стремительно раздвинул верующих, поднялся по ступенькам на возвышение, опустился на колени, положил ладони по обе стороны столбика с реликварием в сделанные в полу углубления по форме рук и с силой оперся… Каменные

плитки подались вниз, и ладони мгновенно пронзили острые штыри, похожие на наконечники копий. Пан Вайда объяснял, что если ослабить нажим, копья сразу же спрячутся, по этому можно следить, насколько искренне раскаивается тот, кто молится.

— Pater noster... — зазвучал низкий голос Лёдника, которому полагалось отчитать двадцать покаянных канонов. Люди возбужденно зашептались, окружили возвышение. Кто-то побежал вперед, видимо, сообщить настоятелю, что сегодня один из братьев решился на духовный подвиг. Прантиш стоял рядом и тоскливо наблюдал, как каменные углубления наполняются кровью. Доктор твердо опирался на пробитые руки, острия не прятались в камни, голос его звучал ровно, будто на лекции. Любопытные пробовали заглянуть чужаку в лицо, завешенное черными прядями волос, видимо, чтобы увидать отражение страдания. Шепотом придумывали на ходу, какие страшные грехи искупает пришелец, кто он такой. Кто-то умудрился намочить свой палец в крови, что натекла из пробитой руки жертвенника, — видимо, согласно местной традиции, она считалась целебной, так же, как кровь одержимых флагеллянтов, которые целыми хороводами ходили и хлестали себя во имя Господа на площадях. Вот какая-то женщина уже и платочек в той крови намочила.

Пан Гервасий Агалинский явно не видел ничего особенного в том, что происходит, — не на кол же холопа посадили, не за ребро на крюк повесили. Панна Богинская также не переживала, сидела на скамье да с самым набожным видом шептала под нос молитвы, разве что время от времени брезгливо косилась на коленопреклоненного Лёдника. Мало ли по ее приказу пускали кровь плетьми нерадивым слугам.

И Прантиш явственно понял, что и его жизнь, и Лёдника для тех, кто с детства ел на золоте и вытирал ноги о спины ближних, значит не больше, чем обычные бытовые предметы. Пока нужны — хорошо, сломаются — приобретем новые. Доктор может сколько угодно спасать, закрывать, поддерживать, расплачиваться собственной кровью — в этом будет его заслуги не больше, чем у ложки, что помогает шоколадному крему попасть в панский ротик. Теперь Вырвичу больше не казался бессмысленным старый закон, который позволял пану греть ноги, если озябнут во время охоты, в разрезанном чреве слуги.

— Все мы, как святой Фома, сомневаемся, не впускаем веру в свое сердце, пока не потрогаем раны Христовы. Поэтому нужно бороться с собственным неверием собственными ранами! — заговорил священник, наверное, в связи с тем, что происходило у реликвария святого Фомы.

Хор был выше всех похвал, казалось, это ангелы выпевают светлые слова во славу Господню. Но служба затягивалась. Ясно, люди не разойдутся, пока не окончится зрелище. Струйка крови чрезвычайно медленно потекла по возвышению, первая капля стекла через край, под ноги прихожанам. Голос Лёдника звучал все более глухо, он несколько раз мотнул головой, видимо, чтобы стряхнуть капли пота.

— Слушай, пан Вырвич, а он не умрет? — встревожился, наконец, пан Гервасий. Ну как же, забеспокоился, дошло, что без доктора сам ничего не добудет за морем. Прантиш нервно пожал плечами. Вдруг благородная панна Богинская, пригожий такой, наивный отрок, подскочила к возвышению, выхватила платок и быстренько вытерла виленскому профессору лицо. Какая-то женщина тут же объяснила действия юнца практически: пот христианина, отбывающего страдания святого Фомы, целебен еще более, чем кровь, и от чумы точно оградит, и полезла было со своим платком к профессору — но

испугалась его угрожающего взгляда, закрестилась и удовлетворилась тем, что вымочила тряпку в крови, которой было предостаточно.

Прантиш бдительно наблюдал — чтобы не промедлить и не допустить того, что Лёдник упадет. И с досадой понимал — глаза у людей вокруг горят тем же самым азартом, как у публики в Дракощине, которая жаждала посмотреть на дракона.

Что-то было в этом особенно мерзкое… Святые старцы не напрасно утверждали, что молитвенные подвиги нужно осуществлять келейно и не хвастать ими. А здесь… Балаган какой-то! Как те покаяния с бичеванием, что устраивал Радзивилл Пане Коханку в виленских храмах.

Час, второй… Литургия давно окончилась. Люди, у которых нашлись неотложные дела, разошлись по домам. Поветрие поветрием, а есть, пить да удовлетворять иные надобности грешного тела необходимо. Но зевак хватало. Тем более, многие уходили и возвращались, чтобы досмотреть представление. Свалится или не свалится, выдержит или нет, что попросит, когда достоится?

Кто-то вслух считал количество отчитанных грешником молитв.

Три часа… Четыре…

Последние молитвы Лёдник прочитал, низко опустив голову, совсем глухо.

Одобрительный шум разнесся по собору. Профессор шевельнулся, штыри, что пронзали его ладони, сразу спрятались. Прантиш устремился поддержать Лёдника, но тот не дался, аккуратно стряхнул с рук кровь и пошел, хоть и медленно, к алтарю, где его уже ждал предупрежденный настоятель. Теперь Прантиш смог рассмотреть эту таинственную личность: седые, коротко стриженые волосы, властное, все еще красивое лицо, резкие морщины от уголков прямого носа к узким губам, упрямый подбородок… А глаза — темные, ироничные, пронзительные… В Лёдника они вглядывались как-то особенно.

Бутрим преклонил колени перед настоятелем:

— Ваша экселенция, во имя молитв святого Фомы, прошу, чтобы вы разрешили мне и моим друзьям выехать из города и продолжить дальше свой путь.

Приор улыбнулся, взмахом руки отослал подальше любопытных и склонился над просителем.

— Господь всегда слышит молитвы тех, кто искренне раскаивается. Вот он и привел тебя ко мне, Балтромеус. Ты же понимаешь, дорогой мой, что на самом деле очутился здесь не ради этой твоей просьбы, а потому, что хотел вернуться ко мне. Разве не так?

Голос приора звучал мягко и так убедительно, что возражать было невозможно. Но Лёдник глухо повторил:

— Прошу позволить нам выехать из города, ваша экселенция.

— Покажи мне свои руки, Балтромеус, — попросил приор. Лёдник неохотно протянул окровавленные ладони. Отец Габриэлюс взял их в свои руки, склонился над ними, будто молча помолился, — Прантиш всем существом почувствовал какую-то нездешнюю силу, от которой во рту остался привкус меди и на коже поднялись волоски, будто кто-то провел по ней перышком. Приор выпрямился, утомленный, словно долго и тяжело работал, на губах играла победная улыбка. Лёдник покрутил ладонями перед глазами: раны затянулись, точно бы прошло несколько лет, остались только розовые сморщенные рубцы. Сжал пальцы, разжал… Вырвича едва не стошнило от мистического ужаса. Где-то за спиной взвизгнула Полонея… Ее визг утонул

в восхищенных криках. Теперь было понятно, почему весь город слушается настоятеля. Неужели он действительно святой?..

— Что скажешь, Балтромеус? — с ласковой улыбкой спросил настоятель. Лёдник посмотрел на свою ладонь и спокойно ответил:

— Впечатляет.

— Ты тоже так можешь, — отец Габриэлюс говорил доверчиво и одновременно властно. — Ты напрасно испугался своей силы, ушел в самом начале, так сказать, из прихожей, которая показалась тебе замусоренной. Стоило пройти дальше, ты попал бы в роскошные покои. Ты даже не представляешь, от чего отказался.

Лёдник, бледный как призрак, слушал, упрямо сжав губы и не поднимал глаз. Приор положил ему руку на плечо:

— Ну, хорошо, пойдем, Балтромеус. Ты потерял много крови, я дам тебе лекарства.

Бутрим, все так же опустив глаза, покорно встал и двинулся за приором. Даже не оглянулся на своих спутников.

Люди расходились, возвышенно-потрясенные. Ошеломленный Прантиш подавленно сжимал в кармане ненужную банку с целительной мазью, приготовленную профессором.

Когда они проходили около возвышения с распятием, снова обнесенного цепью, Прантиш заметил, что последние капли крови уже стерты с камня любителями реликвий.

От любопытных, что цеплялись с расспросами, удалось спрятаться только в доме пана Вайды. Пан Гервасий наконец дал волю потрясению и начал выспрашивать томашовского доктора, что тот думает о чуде исцеления, свидетелями которого они стали в соборе. Но пан Вайда только отмахивался и ссылался на волю Божью. Но Прантиш видел, что в святость отца Габриэлюса пан Вайда особенно не верит.

Что же это тогда, колдовство? И почему приор говорил Лёднику, что тот может так же?

Зато пан Вайда заверил гостей, что путь из города для них открыт. Панна Полонея сразу же начала собираться, складывать накупленное, а чего не хватало — просить у пани Вайды.

А Вырвич заметил, что платок, которым вытирала лицо Лёднику, панна брезгливо выбросила через окно.

Лёдник вернулся поздно. Нормальные люди, это значит фрау Вайда, дети, прислуга — уже спали. Вырвич бросился с расспросами…

Но доктор даже головы не повернул, молча зашел в отведенную ему комнату, упал спиною на кровать, положив вылеченные руки под голову, и сосредоточенно вперился в потолок.

Потолок был как потолок — дубовые балки, прикопченные свечами. Но ясно, что Лёдник видел совсем не этот неинтересный материальный предмет. Его темный взгляд был такой отсутствующий, что делалось страшно.

— Бутрим, завтра отправляемся!

— Я остаюсь.

Доктор вымолвил это очень будднично.

— Послушай, мы и так время потеряли. И пока есть возможность…

— Я никуда не еду, — доктор перевел взгляд на Прантиша. И Вырвич испугался. Такого Лёдника он еще не видел… Точнее, таким он время от времени проявлялся — когда устраивались опасные опыты или диспуты… Полоцкий Фауст.

— Отправляйтесь без меня. Вас выпустят. Вот разрешение от настоятеля.

Балтромей достал из кармана бумагу, бросил Прантишу. В свете свечей худое лицо бывшего алхимика казалось зловещим.

— Бутрим, что он с тобой сделал? — почти закричал Прантиш. — Чем пригрозил? Расскажи, что-нибудь придумаем!

Лёдник снова уставился в потолок.

— Он дал мне возможность выбора. Я могу уехать с вами, если захочу. Только я понял, что все это время хотел иного… Если бы вы только знали, что показал мне сегодня владыка Габриэлюс! Какие открытия, какие возможности для невзнузданного ума! Это просто невероятно! Оружие доктора Ди… — профессор презрительно фыркнул. — Устарелое! Ди был мастером, но не самых высоких степеней. О самых сведущих никто не слышит и не знает. Подобное оружие в тайных лабораториях они давно, наверно, умеют делать, и гораздо более совершенное…

В голосе Лёдника звучали восхищение и настоящая страсть. Прантиш испугался.

— Бутрим, ты же столько раз говорил, что есть знания опасные, что сам едва не загубил душу… Вспомни, как ты каялся! Снова хочешь обрушиться во тьму?

— Может быть, стоит рискнуть и пройти сквозь тьму, чтобы добыть свет? — отсутствующе проговорил Лёдник.

— Ты же православный!

— Отец Габриэлюс никогда не требовал от меня сменить вероисповедание. Главное — искренняя вера в Господа.

— Ничего себе! — возмутился Прантиш. — Не знаю, какими фокусами задурил тебе голову приор, но почему же он, такой прогрессивный и терпимый, охотится здесь на ведьмаков да развел в городе такую грязищу?

— Все в свое время изменится…

Прантиш, Полонея и пан Агалинский стояли перед кроватью, на которой валялся отрешенный доктор, в полной растерянности.

— Пан Лёдник, пусть ваша мость вспомнит о своей красавице жене. Неужели пан не желает больше увидеть ее? — милым голоском проговорила Полонея. Доктор немного помолчал, потом ответил так же безразлично:

— Возможно, ей будет лучше без такого мужа, как я.

Вырвич не верил своим ушам.

— Как ты можешь предать Саломею? Она же тебя любит!

— А что насчет судьбы одного маленького мальчика? Насчет слова чести? — угрожающе спросил пан Агалинский. Доктор медленно сел на кровати, направил на пана Гервасия холодный взгляд:

— Таким, как я, не нужно иметь никаких привязанностей и обязательств. Это мешает.

И встал, ледяной, безразличный, нездешний.

— Кстати, когда я возвращусь в братство, куда меня однажды приняли и где я прошел по дороге знаний так мало, я сам смогу решать чужие судьбы. Вообще, вскоре наступит время, когда миром будут руководить не уродливые побеги монархических династий, а ученые и философы.

— Ах ты, холоп поганый! — пан Агалинский схватился за саблю, но вдруг осознал, что не может вытащить ее из ножен. Он дергал свое верное оружие и обливался потом под пристальным и тяжелым взглядом Лёдника.

— Я был вынужден унизиться перед вашим братом только потому, пан Агалинский, что был неучем и отказался пользоваться своими определенными способностями. Это было не мое бессилие, а мой выбор, — ровным голосом проговорил доктор.

— Бутрим, хватит! — в ужасе закричал Прантиш. — Остановись! Подумай о Саломее! Об Алесике! Обо мне, наконец!

— Я и думаю, — глухо промолвил Лёдник, сделав шаг к дверям. Вам всем лучше быть от меня подальше.

— Я никуда тебя не пущу! Сейчас же — на коней и прочь из проклятого города! — Прантиш попробовал схватить Лёдника за рукав, но под взглядом учителя не смог сделать и шагу. Воздух будто уплотнился, сжало горло. Кажется, это почувствовал не только один студиозус, потому что панна Полонея снова завизжала.

Теперь Вырвич ясно видел страшное сходство взглядов Лёдника и приора монастыря святого Фомы.

— Прощайте.

Лёдник резко развернулся и вышел. Сразу вернулась свобода движений. Но настроение было самое отчаянное.

Они сидели за столом, по местному обычаю пили чай с молоком, и казалось, даже часы на стене не тикают, а вскрикивают.

— Я так и знал, что он — колдун! И как мы теперь без доктора найдем пещеру, панове? — уныло спрашивал пан Гервасий.

— Что же, я буду за него! — вздохнул Прантиш. — Все расчеты он оставил, в основном я в его исследования посвящен.

— Если вы поможете в поисках, вы получите большую награду, пан Вырвич! — сразу поддержала героический порыв студиозуса панна Богинская. — Вас ждет блестящее будущее!

— На острие сабли Германа Ватмана, ваша мость? — язвительно спросил Прантиш.

— Пан Кароль Радзивилл сделает вас мечником! — со своей стороны добавил пан Гервасий. — И вы, пан Бжестовский, если поможете, тоже попадете в число альбанцев! Из вас вырастет настоящий мужчина!

Полонея, несмотря на трагизм положения, не преминула понасмешничать.

— Такой же мужчина, как вы, пан Гервасий?

— А то! Я сам займусь вашим воспитанием, ваша мость!

Теперь уже и Прантиш едва не захохотал.

— Не знаю, какие ваши дальнейшие планы, милостивые панове, и знать не хочу, но лучшее, что вы сделаете себе и мне, если на рассвете отсюда уедете, — нервно промолвил пан Вайда, который сидел, сцепив руки и не притрагиваясь к своей кружке. — Не то чтобы я выгоняю вас, но… Я люблю тихую жизнь. Привык, знаете, к своему маленькому счастью. Я сказал вам, что мы боялись во время учебы пана Габриэлюса Правитуса. Но однажды мы начали так же побаиваться своего однокурсника Балтромея Лёдника. И я очень уважал его за то, что он смог порвать с паном Правитусом и теми, кто за ним стоит. Ибо считалось, что от них уйти невозможно. Но, видимо, так и есть…

В дорогу отправились, как советовал томашовский доктор, на рассвете, еще в темноте и тишине. Но стоило выехать за ворота дома — их остановили. Все произошло быстро и умело… И Прантиш понял, что из города они не выедут никогда — просто исчезнут, и Лёдник, возможно, никогда не узнает об их судьбе. Да и станет ли узнавать?

На прощание Прантиш ухитрился всучить пану Вайде, который вышел их проводить и стоял испуганный, как воробей под лапой кошки, листок бумаги, оставленный Лёдником. Листок с начертанным именем «Александр».

— Передайте Бутриму… Расскажите о нас…

Пан Вайда не очень охотно взял послание. И Прантиш не был уверен, что томашовский врач решится рискнуть своим покоем ради чужаков.

Но это была единственная надежда.

Потому что в подземельях, куда их привели, для надежды места не предусматривалось. Темно, как в гробу. Вонь, холод, сырость… Наверное, здесь исчез не один богохульник и противник воли всемогущего приора…

Напрасно пан Агалинский кричал о шляхетских своих правах и требовал трибунальского суда. В городе, который закрылся от поветрия, законы не действовали. Вырвич помнил скупые рассказы Лёдника о нравах во время эпидемий. Придут к какому состоятельному человеку для осмотра. Лекарь незаметно натрет ему руку ляписом — и вот тебе черные пятна, проявление чумы… Беднягу — в карантин… А его имущество разграбят. И повезет, если он действительно не заболеет или не отравят. А в Лондоне, по рассказам того же Лёдника, во время чумы лорд-мэр издавал приказ о «запирании домов»: если в доме кто-то заболеет, на дверях рисовали алый крест и навешивали замок. Никто не мог отсюда выйти. Специально приставлялись сторожа — дневной и ночной, которые за этим следили. В доме могли голосить, плакать, молить… Пока все не умолкали. А что ждет паненку Богинскую, когда разоблачат ее маскарад? Конечно, пан Михал Богинский за сестру заступится, может и войско сюда прислать, — но откуда ему знать, куда подевалась его неугомонная сестрица? Все спишут на поветрие. Трупы чумные никто не осматривает.

Единственно хорошее было у тьмы — она освобождала ото всех условностей. Прантиш подсел ближе к панне и осмелился ее приобнять. Не те обстоятельства, чтобы церемониться. Полонея прерывисто вздохнула и прижалась к бедному шляхтичу из Подневодья.

Похоже, тюремщики решили подержать узников в неведении и страхе. Минуло двое суток. Кувшин вонючей воды и кусок заплесневелого хлеба — все, на что расщедрились славные томашовцы для своих гостей. Даже рассказы Американца о всяческих заокеанских чудесах не спасали от ужаса. Но через двое суток на одних воде и хлебе стало не до баек. Пан Гервасий напрасно орал в запертые двери угрозы и оскорбления.

Прантиш старался отогнать мысль, что их здесь просто забудут. Тела съедят крысы… А Лёдник будет занят совсем иным. Что ж, возможно, он получит свое счастье… Хотя, скорее всего, снова наступит момент горького раскаяния, и доктор примется читать канон святому Киприану. А пока этот канон читал за него Прантиш. Неужто Господь допустит, чтобы Бутрим после всех перенесенных для спасения души страданий снова попал в сети чернокнижия?

На третьи сутки — святой Фронтасий знает, день был или ночь? — в коридоре послышались шаги. Через маленькое зарешеченное окошко в двери показался луч света, слепящий после сплошной тьмы. Узники вскочили как могли быстро. Вот заскрежетал в замке ключ… Полонея крепко ухватила Прантиша за руку, аж ноготками впилась.

Двери отворились. С факелом стоял мрачный Лёдник и раздраженно глядел на бывших товарищей по путешествию.

— Вас на минуту покинуть нельзя! То дракона несчастного убьют, то крыс в епископских подземельях гоняют…

И бросил на пол три сабли, Прантиш с радостью узнал свой Гиппоцентавр.

— Берите — и бегом. Второй раз обниматься со святым Фомой я не стану.

Прантиш от радости едва не рассмеялся. Бутрим Лёдник, его бывший слуга, язвительный профессор и самый мужественный человек на свете, учитель, купленный за шелег, вернулся! Именно таким, каким он так нужен Прантишу!

Караульные крепко спали, положив головы на стол, где, похоже, только что играли в кости. Несомненно — дело Бутрима.

Панна Полонея не постеснялась ухватить со стола кусок хлеба и на ходу вцепилась в него зубами.

На улице была ночь. И кони. И воля. Которая целиком воплотилась, когда их все-таки выпустили из города, — бумага, подписанная епископом, тоже оказалась у Бутрима, коего в городе, к тому же, знали как нового любимчика святого Фомы и владыки Габриэлюса, а таковому грех прекословить.

Они гнали коней, забыв о голоде и усталости. Остановились только когда совсем рассвело.

Когда все спешились, Лёдник обвел глазами настороженные лица спутников.

— Что? Все в силе! Еду туда, где кукушки не кукуют, нахожу пещеру, в которой неизвестно что, но очень нужное большим панам, подставляю спину под плеть пана Агалинского… Жизнь не длинная, но насыщенная. Что в сравнении с этим сто лет в роскоши, власти и интересных опытах, которые мне обещал один очень прогрессивный охотник на ведьм?

Знакомая язвительная ирония.

— Бутрим! — Прантиш не выдержал, бросился к своему профессору, обнял, даже всхлипнул от радости.

— Благодарю вас, пан Лёдник! — с некоторой неловкостью промолвила Полонея. — Кстати, должна сказать, — в голосе панны Богинской зазвучали кокетливые нотки. — При дворе вы бы имели огромный успех! У нас страшно любят таких вот мистических личностей с необычными способностями… Если еще распустить слухи, что вы происходите от египетских жрецов…

Лёдник только скривился, как проглотив горсть клюквы. А пан Гервасий Агалинский гневно заявил, что всегда знал, Лёдник — колдун и враг монархии.

Но, возможно, он все-таки позволит пану доктору выйти против себя на шляхетскую дуэль.

Глава одиннадцатая

Как Лёдник и Прантиш с Нептуном знакомились

Море пахнет не рыбой, не йодом, не гнилыми водорослями и новыми монетами, как утверждают купцы, приезжающие в вольный портовый город.

Море пахнет неизвестностью. От которой сладко и тревожно щемит в груди, и охватывает тоска по далеким странам и ужас перед холодной зелено-серой бездной, где живут своей невероятной жизнью гигантские чудища, холодные и скользкие.

Это летом, когда облака похожи на безобидных беленьких овечек, морская глубина синяя, голубая, прозрачная… А в ноябре, когда тучи напоми-

нают призрачных драконов и не каждый корабль решится подставить паруса мокрому соленому ветру, смерть выглядит зелено-серой, а иногда она и цвета чернил…

Сейчас волны были стального, сердитого оттенка.

Гданьские корабли с оголенными мачтами жались к причалу, их паруса, казалось, скукожились от холода, как лепестки, даже чайки перестали кричать… Море билось о камень, как разгневанное сердце.

Пан Гервасий и панна Полонея по этому случаю не сильно нервничали, так как лучше им было сейчас в путь не отправляться — оба перхали, как рогачевские бабы в церкви, когда хотят вылечить от кашля овец, носы нешляхетно покраснели, глаза слезились… То, что Лёдник принуждал каждый час пить полезный лекарственный отвар, не беда, — плохо, что доктор при этом говорит и что написано у него на лице.

А написано неодобрительное: паны — дети горькие. Разбалованные и неразумные. Ладно, если бы простудились, на земле ночуя, в непогоду блуждая… А то — дорвались дворцовые баловни до итальянского мороженого! И один вперед другого налегали серебряными ложечками… Модное кушанье! Что за бал без мороженого… С фисташками, лимоном и корицей… В итоге — болячки в горле, вода — в носу…

Дом на Длугим Таргу, где поселились паны, был достоин магнатов. Лакеи в напудренных париках, фарфор, итальянские картины — ясно, у местных банкиров и для Богинских, и для Радзивиллов счета имелись. Прантиш снова чувствовал себя не в своей тарелке. Лёдник ворчал, что ничегонеделание для мыслящего человека хуже ржавчины в механизме. Сам побежал по местным ученым — и от диспутов, на которых ученые мужи с помощью утонченных дефиниций раскатывали друг друга тоненько, будто тесто для налистника, даже расцветал, как гишпанская роза. На последние деньги купил зачем-то атлас знаменитого гданьского астронома Яна Гевелия с созвездиями — красивый, конечно… Но как такой томище тащить за море? Вырвич отдавал первенство иному изобретению пана Гевелия — чудесному крепкому пиву, названному в честь ученого. Так и должен жить сведущий человек — зарабатывать на жизнь приготовлением пива, а в свободное время наблюдать звезды! Сам Вырвич по дождливо-ветреной дороге в корчемку только злорадно посматривал на каменные изображения, что украшали фриз соседнего дома, называемого Львиным Замком: фигуристые дамы Грамматика, Арифметика, Риторика и Геометрия больше не схватят за ухо и не потащат на ослиную скамью. Пусть себе мокнут под осенним ливнем.

Пан Гервасий на удивление не лечился водочкой. Сначала, конечно, завалился в ресторацию «Под лососем», попробовал знаменитой «золотой воды» — водки с сусальным золотом, немного посуду поколотил… Но когда простыл, валялся себе на диване, что-то записывал в зеленую книжицу да повторял пану Полонию Бжестовскому о том, что он должен воспитывать в себе мужество, а то очень похож на девицу.

Кабы это был кто иной, а не Американец, Вырвич заподозрил бы, что пан раскрыл истинную сущность юнца Бжестовского. Панна Богинская даже устала отшучиваться, а временами просто сцеплялась с паном Агалинским, как Лёдник на диспуте с менее прогрессивными коллегами, и их ссоры Прантиша очень радовали. Потому что на него самого Богинская внимания не обращала, хоть Прантиш и так, и эдак силился разговор завязать, намекнуть, что не может забыть объятия в томашовской темнице да поцелуи в доме за Доминиканским костелом, пусть и с привкусом отравы. Но княжна всем

видом показывала, что это для нее ничего не значило. Так королевы от скуки допускают интимные шутки лакеев да шутов. Панна нашла другую игрушку: цеплялась к доктору, как репей за полу, с просьбой показать еще что-нибудь… эдакое. А предметы пан доктор может двигать? А делаться невидимым? Мастерством глаза отводить ведь даже деревенские ведьмаки владеют! А как выглядит философский камень? Правда ли, что пан Лёдник его нашел? А как насчет связи с сильфидой?

Когда же разговор заходил о предсказаниях и гороскопах — ну не будет это большим грехом, дорогой пан Балтромей, составить ма-аленький такой гороскопчик для одной доброй благородной особы, — Лёдник сжимал зубы и ретировался, как Генрих Валуа с польского трона. Молча и внезапно.

Пан Гервасий о темной сущности попутчика не вспоминал, только после приезда в Гданьск Вырвич подслушал горячий разговор: Американец умолял доктора признаться, не заколдовал ли тот все-таки пани Гелену Агалинскую, склоняя к близости, а Лёдник едва не рычал, отрицая.

А раздражения своего даже фехтованием не мог унять… Потому что на второй день по приезде в Гданьск вдруг на пол кружку уронил и браниться на пяти языках начал… Смысл всех ругательств был приблизительно таков: «целитель хренов». Вырвич увидел, что из ладоней доктора капает кровь — открылись чудесно заживленные раны. Так что теперь доктор ходил с забинтованными руками, а на совет Полонейки полечиться тем самым способом, что демонстрировал владыка Габриэлюс, сердито отвечал, что эта ментальная медицина — все равно что завешивать ковриком пролом в стене. Эффект мгновенный, а пользы чуть… Ничего, заживет натуральным образом.

За две недели, на которые их привязала к суше непогода, руки профессорские с помощью специальных мазей действительно более-менее зажили, писать да готовить лекарства доктор мог по-прежнему, а вот браться за саблю пока себе не позволял. Хорошо, что знакомства с местными коллегами отвлекали внимание от воспитания несчастного студиозуса Вырвича. К тому же, принесли письмо от Саломеи — панна Богинская расстаралась. Письмо коротенькое, жива-здорова, в безопасности… Не лезь, Фауст, в трясину, береги бессмертную душу…

Наконец флюгер в виде золотого петуха перестал вертеться как бешеный. Со шхуны «Святая Бригитта» прислали известие, что через пару дней можно будет отплывать. Давно упакованые сундуки отправили на корабль.

И тут к пану Полонию Бжестовскому пришел гость.

Отменно вежливый, с политесом, в парике и камзоле из серебряной парчи… Но от шляхетного гостя почему-то даже неосведомленная прислуга рассыпалась по сторонам, как шкодливые дети от сердитого гувернера. Если бы белорусские волоты восстали из курганов, возможно, кто-то из них выглядел бы именно так. Пан мог войти не в каждые двери, такой огромный. Брови и ресницы светлые, как пушинки одуванчика, а глаза на исполосованном шрамами лице обманчивые, то светлые, то бездонно-темные, с багровым оттенком. Пан даже усмехался — и от этой улыбки хотелось нащупать саблю, а еще лучше — заряженный пистолет.

— Рад видеть вашу княжескую милость! — раскланялся пан перед перепуганным паничом из Бжестовских. — Потому что исчезновение ваше наделало много горя и испуга и для неутешного жениха, и особенно для вашего ясновельможного пана брата. Длинные дни поисков вашей княжеской мости были горькими, как полынная настойка, и счастливо завершились благодаря сообщению от гданьского банкира, чьими услугами вы сделали милость

воспользоваться. Ваш пан брат неотложно хочет вас видеть в Слониме, где состоится обручение вашей мости с ясновельможным паном подкоморием Пацем. И не будет ли любезна ваша мость, наияснейшая панна, сообщить, куда подевался его мость пан Мартин Борщевский, знаток языков и известный картограф, каковой должен был находиться в этой компании вместо вашей ясновельможной особы и от чьего имени к вашему брату отсылались письма?

На последней фразе в вежливом голосе пана Германа Ватмана прибавилось металла. Прантиш глянул на Американца, который стоял в стороне и ничем не выдал удивления насчет того, что его спутник оказался благородной панной. Но если Ватман разоблачил пред Агалинским личность Полонейки, значит, твердо намеревается ее увезти. Панна Богинская встала, как на коронации:

— Пан Мартин Борщевский очень хотел посмотреть Гишпанию, и благодаря счастливому случаю его мечта сбылась. А я подменила пана в его миссии. И пока не совершу путешествие, возвращаться не собираюсь, ваша мость. А на обручение я своего согласия не давала. В Статуте запрещено выдавать паненку замуж против ее воли. Так и передайте моему пану брату.

Наемник наигранно-сокрушенно вздохнул.

— Как вы меня огорчили, ваша мость. Ибо имею поручение привезти вас независимо от желания панны, потому что воля вашего брата и жениха имеет большую силу.

— Его милость Пац мне пока не жених! — отчаянно выкрикнула хриплым от простуды голосом Богинская. — Лучше в море погибнуть, чем с ним к алтарю!

Комната, где происходил разговор, была увешана пасторальными пейзажиками: пастухи и пастушки в красивеньких одеждах пасли овечек, качались на качелях, собирали цветочки… Так что хотелось запустить в их марципановый мир натурального худого и злого волка… Или хотя бы язвительного профессора Виленской академии. Лёдник мрачно молчал, матримониальные планы Богинских его не волновали, но было видно, прикидывает: увезут девицу, оно дальше проще будет, но кого пришлют вместо нее? Ватман это тут же пояснил:

— А я вместо панны съезжу в Ангельщину, помогу своим дорогим друзьям панам Вырвичу и Лёднику в дорожных тяготах.

Профессор помрачнел, но возражать не стал: конечно, искушенный убийца в попутчиках — дело нервное, но лучше иметь его при себе, чем он будет крутиться где-то около Саломеи.

— Панна Богинская сама должна решить, ехать ей или оставаться! — воскликнул Прантиш. — Ваша мость не может ее принудить.

— А я здесь при чем? — наигранно-удивленно промолвил Ватман. — Панна незамужняя, поэтому ее опекун — брат. Собирайтесь, ваша мость! Карета ждет.

Полонея побледнела, как выдержанный на солнце воск. Беспомощно оглянулась в поисках спасения.

— Если ваша мость утверждает, что жених имеет право решать судьбу своей невесты, то не вижу никаких препятствий для взаимопонимания! — вдруг выступил вперед Американец, так расправив широкие плечи, обтянутые бархатным золотистым шлафроком с песцовой опушкой, что уютная комнатная одежда показалась воинской кольчугой. — Ясновельможная панна оказала мне честь назваться моей невестой!

— Что? — Прантиш не верил ушам. Панна Полонея, похоже, тоже такого не ждала и сейчас не знала, что делать.

— Ваша мость не много на себя берет, называясь женихом панны Полонеи Богинской, сестры его мости князя Михала Богинского? — холодно и немного настороженно спросил Ватман. Американец задрал нос:

— Я — пан Гервасий Агалинский, на сегодня — старший в нашем роду, мечник Дрисвятский, поручик войска его мости князя Радзивилла. Панна Богинская под моей защитой, и если вы, пан Ватман, будете настаивать на отъезде панны, мы сегодня же с ней обвенчаемся.

Герман Ватман даже крякнул от раздражения:

— Ну панна, ну крученая! Сама хоть понимаешь, что наделала? Да твой брат и с тебя, и с меня шкуру спустит, если узнает о таком самовольном женишке!

Угроза была нешуточная. Битвы за невест с приданым были частыми и кровавыми. И слово согласия здесь значило многое. Вон пан Сологуб однажды гостил у богатого соседа, да не хотел уезжать, пока красавица-дочь хозяина не подаст ему стремянной кубок. Чтобы отправить пьяного шумного гостя, отец попросил дочь не упираться, да еще что-то такое необязательное бросил на настойчивые просьбы пана по поводу брака… Гость уехал, проспался, но обещания хозяина не забыл. И под угрозой суда, дуэли или наезда отец был вынужден выдать дочь за не самого выгодного жениха. Так что слова пана Агалинского могли иметь печальные последствия. За каждым родовитым шляхтичем стояла целая партия — родственников, сторонников, а над теми в свою очередь — один из магнатов, которого они поддерживали. Пане Коханку запросто мог вмешаться и начать помогать одному из альбанцев пожениться с избранницей. У Ватмана даже пот на лбу выступил…

— Пан Герман, а зачем моему брату-благодетелю знать о пане Агалинском? Тем более, я и передумать насчет брака с ним могу… — быстренько оценила ситуацию Полонея. — Допустим, вы не нашли меня, опоздали… А из-за моря я вернулась бы, как была, невинной и добропорядочной паненкой и сразу бы поехала к своему брату. А если вы, пан Ватман, будете принуждать меня сейчас же возвращаться, костел в конце улицы…

Наемник обвел глазами компанию, видимо, примеряясь, не перебить ли всех лишних да не утащить шкодливую паненку, но здесь были слуги, здесь был вольный город Гданьск, здесь был посланец князя Радзивилла, и наемник криво усмехнулся:

— Я всегда выполняю то, что мне поручили.

— Вот и выполните порученное… Только немного позже, — мило проговорила Полонея. — Боюсь, лучшего выхода у вас, пан Герман, нет.

— И ты готов взять такую женой? — с ужасом спросил у Агалинского Ватман. Пан Гервасий подкрутил рыжий ус.

— А я люблю лошадей и женщин с характером.

На прощание Ватман едва двери не вынес. Даже пастухи и пастушки на картинах вздрогнули.

— И давно ваша мость знает, что я — не мужчина? — с некоторым смущением спросила Богинская.

— Ну, в томашовских подземельях я окончательно решил, что пан Вырвич с мужчиной обниматься не стал бы.

Панна Богинская покраснела и чихнула. Сейчас же, будто в ответ, чихнул и пан Гервасий. И оба весело рассмеялись. А Прантиш… Прантиш развернулся и пошел… В дождь, ветер и отчаяние.

В очередной раз посконника ткнули носом, кто он есть. Пусть слова о жениховстве были враньем, способом спасти даму из неловкого положения… Но пан Агалинский сделал легко, шутя то, что Прантишу не под силу. Потому что устремления Вырвича к жениховству даже прикостельный юродивый не принял бы всерьез. А пан Агалинский, хоть и не магнат, имел достаточно высокое положение, чтобы его претензии на руку княжны Богинской не выглядели совсем невероятно. Случалось, таким везло породниться с магнатами. А Прантиш — так, пообниматься в темноте…

У фонтана Нептуна, в котором серые струи смешивались с дождевой водой, Прантиш вдруг выхватил саблю, еще не зная, что сейчас сделает: себя зарубит или кого-то другого… Клинок отражал серый холодный мир, в коем не было сострадания и надежды…

— Пан собрался драться с мраморным Нептуном? — запыхавшийся голос Лёдника прозвучал за правым плечом, будто отозвался ангел-хранитель. Прантиш, помедлив, все-таки спрятал Гиппоцентавра.

— Как ты думаешь, они поженятся?

Вырвич сам не узнавал своего голоса. Все эти годы студиозуса подталкивала далекая мечта добиться княжны Богинской, стать с ней вровень… И вот — эту мечту походя отобрал рыжий, но богатый и родовитый неуч…

— Ты тоже будешь вынуждать меня составлять гороскоп? — Лёдник положил руку Прантишу на плечо. — Поверь, парень, не звезды определяют человеческую судьбу. Самый совершенный гороскоп — всего только вариант событий… А молитва имеет силу даже изменять пути планет. Потому на твой вопрос у меня один ответ — не знаю.

Прантиш закрыл лицо руками. В фонтане журчала вода, и по обычаю, отправляясь в царство Нептуна, нужно было бросить к ногам мраморного морского бога монетку… Но Лёдник всегда так непримиримо относился к суевериям, что Прантиш не решился проявить позорную слабость. Так и не бросил.

Тучи плыли по небу Короны со стороны Литвы, как фрегаты неизвестной страны.

А их шхуна была самой обычной. Торговым судном под названием «Святая Бригитта», чей трюм был набит неинтересными вещами вроде льняных рулонов и конопли. Путь ожидался долгий и опасный… С заходами в разные порты. Прантиш на некоторое время даже забыл о своем унижении.

А вот в каюте настроение снова испортилось. Все-таки Прантиш ожидал чего-то более удобного… Отведенная им на пару с Лёдником конура была больше похожа на кладовую, спать предстояло в подвешенных на веревках гамаках из грубого рядна, да еще все воняет гнилой рыбой! За те деньги, которые Радзивиллы отвалили за место на «Святой Бригитте», на суше можно было бы снять покои из сплошного золота. Правда, когда Прантиш посмотрел апартаменты Агалинского и Полонеи, которые имели каждый отдельную каюту, его раздражение немного утихло. Помещения важных панов были не лучше их. А уже когда показали, как живут матросы… А чего хотеть, купеческое судно — не дворец, здесь каждый вершок должен использоваться с пользой. Чем побольше товара рассовать, пассажиров поселить.

Лёдник никак не выказал неудовольствия, выпил какое-то зеленое снадобье из маленькой бутылочки — таких у него была целая котомка, пристроился к круглому окошку читать, и все — даже лекций нет. А Прантиш был страшно разочарован. Сколько раз он представлял себе свое морское путешествие — стоять на палубе, дышать морским ветром, наблюдать, как величественно

катят волны… А здесь по палубе особенно и не пройдешься — ветер с ног сбивает, море серое, небо серое… От качки тошно.

Но человек привыкает ко всему. Быстро Прантиш облазил все судно, куда его только пускали. Особенно интересовался навигационными приборами — некоторые из них, между прочим, придумал таинственный доктор Ди. И Американец нашел себе занятие — выяснил, что штурман и двое матросов побывали в Америке, один даже дрался с индейцами… Начальство, естественно, косо смотрело на то, что членов команды отвлекают от службы, но пассажиры важные, деньги заплатили… А мореходы и рады байкам. Со штурманом, седым подтянутым немцем, у пана Агалинского вообще едва не дружба завязалась на теме экзотических приключений.

Прантиш удивлялся, какая тяжелая это работа — морская. Даже тяжелее, чем крестьянская. Это они, пассажиры, могли себе качаться в койках, а матросы целый день чем-то занимались, временами совсем глупостями, вроде надраивания до блеска разных деталей. Да еще за самый малый проступок их нещадно пороли. Неудивительно, что на судах обычным делом были бунты.

Панна Богинская носа из каюты почти не показывала, даже в кают-компанию, на ужины офицеров и родовитых пассажиров, где по традиции было более роскошно. Лёдник предупредил, что раз решила продолжать путешествовать в качестве пана Бжестовского, лучше, чтобы у команды судна не возникало никаких подозрений. Конечно, век Просвещения… Но суеверия насчет того, что женщина в море приносит несчастье, живучи.

Шхуна шла ходом десять узлов, море было осеннее, суровое, и Прантиш заметил, что с Лёдником что-то не то. Профессор и так не отличался румянцем, а тут сделался не то что бледный, а просто зеленоватый. В кают-компанию не ходил. И кажется, вообще ничего не ел, только опустошал свои бутылочки — даже глаза ввалились, так что в темноте профессора можно было запросто принять за какое-то потустороннее существо вроде упыря.

Беда случилась, когда Прантиш, как-то неосторожно проходя мимо Лёдника, который снова полез в свою котомку с лекарствами, запнулся и упал на нее… Короче, бутылочки разбились. Лёдник редко бывал так разгневан, хорошо, что ослаб и не сумел ухватить студиозуса за русый чуб, и тот удрал из каюты, прибился к пану Гервасию, который употреблял вместе со штурманом очередную порцию грога — теплого напитка со щедрой добавкой рома. А когда Вырвич вернулся, то Лёдник стоял на коленях в углу каюты, ухватившись за рундук, и его рвало… Поскольку желудок профессора давно был пустой, зрелище тяжелое.

— Бутрим, что с тобой? Чем помочь?

— Пшел прочь… — голос у доктора был такой слабый, что Прантиш перепугался.

— Может, корабельного врача позвать?

Хриплые звуки, которыми профессор отреагировал на слова студиозуса, должны были означать смех.

— Еще шептуху мне приведи… А помог ты, разбив всю микстуру.

— Да что с тобой? Отравился?

Вырвич уложил Лёдника в койку. Но профессор тут же свесил голову вниз от нового приступа рвоты.

— Да что за хворь?

— Не вздумай… кому… рассказывать!

Наконец стало ясно, что у профессора просто морская болезнь. В тяжелой форме. Лёднику приходилось уже в своей жизни плавать, и каждый раз слу-

чалась такая же беда. А поскольку профессор страшно стыдился проявления любой слабости, об этой тоже молчал. Приготовил в дорогу лекарства, которые, честно говоря, не очень помогали. А теперь — вообще нисколько.

— Переживу! — шипел сквозь зубы Лёдник, коего, похоже, более беспокоило, чтобы кто-то не узнал о его «пороке», чем собственные страдания.

Но Прантиш был встревожен. Если это состояние надолго — а еще плыть и плыть, — кончится плохо. Профессор ничего не ест, не пьет, наверное, и не спит. И если он, один из лучших лекарей Европы, не может сам себе помочь…

Поскольку советоваться с позеленевшим Лёдником было бесполезно, Прантиш бросился к спутникам. Лёдник напрасно переживал, что над ним станут насмехаться, — в первые дни путешествия плоховато было всем, потом привыкли, даже панна Богинская. А потерять профессора посреди моря таким глупым образом не хотелось никому. Панна Богинская снова завела разговор о магнетизме, которым владеет доктор, — пусть применит магию для собственного спасения! Агалинский побежал советоваться со знакомыми из команды… И через час завалился в каюту доктора, держа под мышкой огромную бутылку с мутным содержимым.

У Лёдника не было сил даже прогнать гостя.

— Пей, волшебник! Хуже не станет! Моряки подсказали — ром с перцем и еще с какой-то дрянью…

Лёдник попробовал отбиваться, но, видимо, ему было уже все равно, что село, что выселки.

Прогрессивная медицина заслонила свое постное лицо трактатом о строении вестибулярного аппарата и гордо вышла из помещения…

Через пару часов Лёдник и пан Гервасий сидели за крепким столиком, прочно прикрепленным к палубе каюты, и распевали песню о Левутеньке:

— Рыцар каня паіў,
Лявутэнька ваду брала
І з рыцэрам размаўляла:
— Ай, рыцэру, рыцэру,
Прашу цябе на вячэру...

Дальше в песне говорилось, как рыцарь должен был переплыть ночью реченьку быстреньку на свет трех свечей, зажженных Левутенькой, но «каралёва ключніца, усяму свету разбойніца, каля рэчкі хадзіла, хустачкай махнула, усе свечачкі пагасіла і рыцэра ўтапіла». А когда Левутенька узнала, что любимый погиб, умерла от горя… И выросли на могилах влюбленных клен и березонька, соединились вершинами…

Мутной жидкости в бутылке осталось на самом дне. На куске окорока, который краснел на металлической тарелке, виднелись следы докторских зубов (о диете после болезни профессор, похоже, и не вспомнил).

— Из чего следует, — менторским тоном проговорил Лёдник, спотыкаясь на отдельных буквах, — что в данной народной балладе прослеживаются мотивы античного мифа о Леандре и Геро…

— Откуда, ваша мость, мужикам знать античные мифы! — заплетающимся языком возразил пан Гервасий. — У мужика, васпане, мозги иначе лежат. Там высокие материи не помещаются…

— Античные мифы придуманы античными мужиками, васпан! — важно подняв вверх палец, промолвил Лёдник. — Поэзия рождается в поле… А во дворцах одни сладенькие селадоны да галатеи.

Пан Гервасий злобно прищурил помутневшие светлые глаза.

— Я знаю, какая поэзия тебе по нраву, Балтромей.

Ударил по столу кулаком… Еще раз… еще… И под угрожающий ритм тихо запел:

— Далёка слыхаці такую навіну:
Забілі Пятруся, забілі ў Жыліну.
А за што забілі, за якую навіну?
Што сваю мае, чужую кахае.
Чтэры служачкі да Пятруся слала,
А за пятым разам сама паехала.
— Пакінь, Пятрусю, у поле араці,
Няма пана дома, будзем начаваці...

Голос пана Агалинского делался все громче, надрывней, больше похожим на плач.

— Выглянула пані з новага пакою,
Убачыла пана на вараным коню.
— Уцякай, Пятрусю, уцякай, сардэнька,
Бо ўжэ пан прыехаў — будзе нам цяжэнька.
Узялі Пятруся ды пад белы рукі,
Павялі Пятруся на вечны мукі.
— Пакажы, Пятрусю, пакажы жупаны,
Што падаравала вяльможная пані.
Пакажы, Пятрусю, пакажы пярсцені,
Што падаравала вяльможна ў пасцелі.
Білі Пятруся чатыры гадзіны,
Упаўнялі сабе, што Пятрусь няжывы...

Пан Агалинский прекратил стучать по столешнице, голова его с прилипшим ко лбу потным рыжим чубом свесилась, последние слова песни прозвучали почти шепотом:

— Вяльможна ідзе, яго матка хліпе...
— Не плач, матка, не плач, бо я сама плачу,
Я за тваім сынам панства, жыцце трачу...
Ды яшчэ Пятруся ў дол не апусцілі —
Па вяльможнай пані званы зазванілі...

Лёдник уткнулся головой в сложенные на столе руки, будто хотел спрятаться. Напротив в такой же позе застыл пан Гервасий. В помещении установилось молчание, как на кладбище, наполненное болью и непоправимостью.

— У нее были такие легкие, непослушные волосы… — шептал пан Агалинский будто сам себе. — Казалось, в них живет ветерок. А когда она улыбалась, верхняя губа приподнималась так смешно… Так беззащитно… Если бы я был старшим братом, она была бы моей… И улыбалась намного, намного чаще. Я бы высушивал каждую ее слезинку губами… Ты помнишь улыбку пани Галены, доктор?

— Я помню, как улыбается моя Саломея… — шептал Лёдник, которого, что предсказуемо, разобрало еще сильнее, чем собеседника. — Когда она улыбается, на ее левой щеке образуется ямочка. А волосы у нее темные, тяжелые, блестящие… Когда пропускаешь их сквозь пальцы, кажется, что проскальзывает шелк…

— Я все равно тебя убью… — пробормотал пан Гервасий. И оба окончательно провалились в пьяное забытье.

А Прантиш обрадовался в душе своей, что никто из попутчиков не вспомнил паненку Полонею Богинскую.

Потому что, когда она улыбается, не по-светски, а по-настоящему, искренне, ее носик так мило приподнимается, а в глазах такие шаловливые искорки… И левый уголок розовых губ немного выше правого, и нужно быть слепым, чтобы не влюбиться за одну эту улыбку…

И качала всех их, влюбленных счастливо и несчастливо, жертв и палачей, деревянная «Святая Бригитта», как букашек качает сухой листик, который слетел на речную струю… И бился в мокрых парусах ветер, и не было в этот час безопасной пристани.

Война, сотрясавшая Европу уже седьмой год, издыхала, как сильный хищник, в которого всадили стрелы и копья, а он все еще ползет, бьет когтями, царапает все, до чего можно дотянуться. После того как брат прусского короля Генрих Прусский выиграл битву при Фрайберге, явив миру «чудо Бранденбургского дома», в сердцах снова поселилась тревога… По дорогам блуждали банды мародеров, войска наемников, готовые на любые преступления или подвиги, жизнь человеческая стоила менее шелега… Дорога по морю, пусть длинная, в неблагоприятную пору была более безопасной, чем по залитой кровью суше.

Когда проходили Зунд, остановились в датском порту. Появилась возможность ступить на твердую землю. Решилась и панна Полонея. Она скромно держалась компании доктора и Прантиша, к которым прибился и корабельный врач, пузатый, веселый и профессионально циничный. Лёдник вознамерился познакомиться с коллегой только после того, как с помощью радикального средства от пана Гервасия уменьшил симптомы морской болезни, и тем избавился от угрозы стать пациентом. Не сказать чтобы доктору было совсем хорошо, — но ходить, есть и читать лекции мог.

Пан Гервасий пошел с приятелями из команды по местным шинкам… Лёдник предпочел навестить кунсткамеру. В кунсткамере оказалась модель паровой машины. И два доктора плюс один доктор недоученный два часа обсуждали причудливый механизм и его перспективы. Только пан Полоний Бжестовский задрал нос и заявил, что при дворе его старшего брата есть изобретатель, построивший намного более совершенную машину. Правда, об устройстве этой машины панич ничего сказать не мог. Поэтому скучал и рвался в ювелирные магазины. И все было бы мило, если бы Прантиш не заметил злые взгляды, которыми по возвращении проводили матросы со «Святой Бригитты» юного пана Бжестовского, да еще при этом перешептывались.

Своими наблюдениями студиозус, однако, делиться ни с кем не стал — мало ли что… А потом пришлось еще помогать тащить на судно пьяного пана Гервасия, который умудрился устроить в шинке драку с португальскими мореходами и получил живописный фонарь под глаз и ножевой порез уха — еще немного и нес бы его пан в кармане.

Ухо пану Гервасию зашивали в четыре руки — оба врача, да еще со зловещими шуточками. Прантиш подозревал, что они начали какую-то профессиональную игру, возможно, заключили пари. Но ухо пана вернулось на место, тем более что специального обезболивающего не потребовалось — в крови пана Гервасия щедро струился ром.

А ночью Прантиша разбудил Лёдник. Корабль качался так, что фонари напоминали привязанных на нитки светлячков, рвущихся на волю. Такой качки еще не случалось. Из-за шума волн приходилось кричать.

— Пошли к Богинской!

Прантиш вылущился из своей койки, едва не упав.

— А что такое?

— Матросы бунтуют! Говорят — баба на корабле, потопит всех.

Панна Богинская забилась в уголок каюты, прикрываясь пистолетом, как веером. Пан Агалинский, с обвязанной белым платком головой, у поврежденного уха на ткани темнели пятна засохшей крови, был на удивление веселым — его, кажется, забавляла ситуация.

— Капитан пробует переговорить с этим быдлом! — прокричал сквозь шум волн пан Гервасий. — Если что — перестреляем глупцов, в море побросаем! Женщин боятся!

— А не ваша ли мость во время задушевных разговоров с матросами что-то лишнего о женщинах наговорил? — строго спросил Лёдник. Пан Гервасий опустил глаза.

— Ну, может, за бутылкой что-то и рассказал о своей дорогой невесте…

— Я слова выйти за него пока васпану не давала! — возмущенно крикнула панна Богинская. — Какое право имел ваша мость обсуждать меня с пьяными мужиками?

— Золотко мое, мужики с мужиками всегда обсуждают достоинства прекрасных дам! — без тени неловкости ответил пан Агалинский. — Главное, что за честь своих дам мы можем отдать жизнь. Не волнуйтесь, ваша мость, вы под моей защитой, и ради вашей безопасности…

— Ради моей безопасности пан должен был просто помолчать! — нервно крикнула Богинская. Судно бросило особенно сильно, так что пришлось хвататься за то, что под рукой, чтобы не упасть. — Доктор! А вы можете какую-нибудь иллюзию создать? — панна Богинская упорно принимала доктора за волшебника из сказок. — Сон на них наслать?

— Наслать на команду сон во время шторма — все равно что корабль потопить, — сердито сказал Лёдник. — Надеюсь, пан Гервасий, записывая байки об индейцах и их золотых городах, не рассказал заодно и о моих ведьмарских заслугах?

Пан Гервасий снова опустил глаза.

— Ей-богу, панове, не помню…

Ну вот, теперь у моряков «Святой Бригитты» были серьезные причины требовать, чтобы опасных пассажиров отправили за борт для умиротворения разъяренного Нептуна.

В дверь каюты постучали, послышался голос капитана. Красное лицо главного на корабле даже покрылось пятнами.

— Вот вы где все! Мне, конечно, заплатили хорошо, но посреди моря деньги стоят немного. Ты, пан, который доктор, колдовать умеешь?

— Я профессор Виленской академии! — Лёдник возмущенно вскинул голову, не прикрытую париком, даже темные пряди волос мотнулись по лицу.

— А мне до задницы, чего ты там профессор, — рычал капитан. — Мне нужно успокоить этих гицлей, коих вы, ваши мости, взбаламутили своими непотребными разговорами. Капеллан при смерти, штурману сломали руку, меня не хотят слушать. Поэтому иди, доктор, на палубу и на глазах команды умиротворяй Нептуна, русалок, наяд или какую иную холеру — или придется отправить на корм рыбам девицу и тебя вместе с ней.

— Мне странно слышать, что образованный человек потворствует суевериям, ваша мость! — заявил Лёдник.

— Лупить с матросов шкуру за потакание суевериям будем, если этот шторм переживем! — отрезал капитан. — Давай что-нибудь там разыграй перед моряками, которые уверены, что ты — великий волшебник.

— Могу только помолиться, ваша мость, — холодно ответил доктор.

— Так иди и молись! — капитан схватил Лёдника за рукав и вытащил из каюты. Вырвич, держась за специально натянутые повсюду леера, двинул следом. Пан Агалинский остался защищать свою «невесту».

Никогда Вырвич не забудет той ночи. Холодная соленая вода сбивала с ног, море пело на разные голоса хорал, под который можно отправляться на тот свет, не разобрать, где начинается небо и заканчивается море, одинаково черные. Та обычная вода, что брызгала в лицо, казалось, не имеет ничего общего с живой, дышащей субстанцией за бортом. Единственный фонарь болтался, как последний лист на дереве. Лёдник стоял на носу судна, привязанный, чтобы не смыло, линями, и громко читал, отплевываясь от соленой воды и задыхаясь от порывов ветра, православный канон святому Киприану, своему всегдашнему покровителю, хоть, кроме рева моря, ничего не было слышно. Кто-то из матросов считал, что это шаманит волшебник, кто-то, возможно, принимал доктора за святого, тем более кое-кто заметил на его руках стигматы, иные понимали, что он такой же человек, как они, который в опасности призывает высшие силы… Главное — появилось хоть что-то, во что можно поверить между блестящими черными горами, выраставшими из ниоткуда с безразличием человека, что наступает на муравьев.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы шторм не унялся. Возможно, очутились бы пассажиры «Святой Бригитты» за бортом… Но Господь прислушался к молитвам, и шхуну перестало швырять как щепку. Назавтра море было обычным, неприветливым, но все-таки более похожим на вспаханное поле, чем на горные хребты. Между туч даже кое-где проглядывали синие лоскуты.

Лёдник сидел за столом каюты, снова уткнувшись лбом в сцепленные руки, то ли молился, то ли просто думал о чем-то тяжелом. В помещение ввалился пан Гервасий с обвязанной головой. От пана заметно несло ромом, и пошатывался он не только по воле моря.

— Паненка наша перепугалась. Снова тебя зовет, доктор — то ли голова у нее болит, то ли живот, то ли нервы трепещут. И что это к тебе бабы, как мухи на мед, липнут? Эй, а что с тобой, Бутрим? Погано? У меня акавита есть, принести?

Профессор, не шевельнувшись, утомленно проговорил:

— Мне надоело играть в чужие игры. Слышите, ваша мость, крики? Это лупят матросов, для которых я представлял пророка Моисея перед Черным морем.

— Ну и правильно лупят, — ответил Американец. — Заслужили! Если это быдло не драть, они следующий раз со страху и хозяев потопят, и себя. Жолнер должен гнева своего командира бояться больше, чем врагов!

— Человек, который боится, — жалкое создание, ваша мость. Бояться нужно только Господа, а не другого человека.

— И ты меня не боишься? — насмешливо спросил пан Гервасий. — Я же — смерть твоя.

Лёдник поднял голову и твердо вымолвил:

— Жизнь моя и смерть в воле Господа, ваша мость.

Пан Гервасий, однако, не начал задираться. Прислушался к крикам боли, долетавшим с палубы.

— Эк орут… Смотри, доктор, будешь с моей невестой вольно обходиться — тоже так заорешь.

Лёдник холодно глянул на пана.

— Предупреждение излишнее. Я женатый человек, христианин, давал клятву Гиппократа, и к тому же, девочками такого типа не интересуюсь. А сейчас посещу более серьезных пациентов, помогу коллеге. Покалеченных сегодня на судне хватает.

Прантиш фыркнул:

— Только как ты по судну ходить будешь? — И пояснил пану Гервасию: — От него теперь одни разбегаются и пальцы скрещивают, как от нечистой силы, а другие пытаются руки целовать. Думают — святой. Только бы те и другие между собою не подрались.

— Бедлам! — прошипел доктор, резко поднялся и начал паковать свой докторский чемоданчик.

Крики умолкли. Пан Агалинский зевнул, осторожно потрогал пришитое ухо.

— Ну а мы, пан Вырвич, давай в карты перекинемся, пока судно не бросает.

Оставалась еще неделя хода — если Нептун не разозлится. Мстительный морской бог, наверное, не забыл, что пан Прантиш Вырвич так и не бросил монетку в фонтан в Гданьске.

Глава двенадцатая

Литвинские гости и аглицкие воры

— Всего пенни! История славного разбойника Джека Шеппарда, который шесть раз бежал из Ньюгейтской тюрьмы! С портретами и изящными рисунками! Всего один пенни!

Чумазый парень в шляпе с обвислыми полями, надвинутой на самые уши, бежал за экипажем, размахивая стопкой бумаги. Немного отстал — и вот уже исчез в густом влажном тумане. Прантиш в очередной раз высунулся из окна кареты: туман, мокро, темные стены, запах дыма и прогорклого сала… И это Лондон?

А он уже нафантазировал себе нечто величественное!

Когда они увидели с судна белые меловые скалы, на которых стоит знаменитый Дуврский замок, показалось, сейчас попадут в страну чудес… Чудеса начались, когда в отеле оказался ватерклозет — уборная, где все человеческие отбросы сразу смываются водой. Прислугу не удивило, что Лёдник сразу, с порога, затребовал горячую ванну — будто обычное дело. Пожалуйста, панове! И ванна у них была чугунная, на львиных бронзовых лапах, а не корыто. А какие-то не самые состоятельные люди, все в шляпах, сидели в кофейне на первом этаже отеля и читали газеты… И кофе пили из фарфоровых кружек с синими рисунками! Лёдник объяснил, что здесь научились делать фарфоровую посуду на фабриках, где рисунок наносит машина. Поэтому она и не дорогая, даже бедняк может купить.

Зато нищие и дети голытьбы на улицах были такие же грязные, как и на континенте.

Лёдник, который единственный из компании более-менее владел аглицким языком, еще и предупредил: ни с кем знакомств не заводить, ничего без

совета с ним, Лёдником, не покупать, вещи без присмотра не оставлять. А то всучат какую-нибудь чудодейственную «Золотую эссенцию» или «Дух жемчуга», а ему потом лечить олухов от отравления. И главное, не вздумайте приобретать у разносчиков за полтора пенни белый мутноватый напиток под названием салуп! Там все равно ни капли алкоголя: сладкая трава сассафрас, молоко да сахар, а вот заработать расстройство желудка можно.

Но в Дувре все казалось хорошим хотя бы потому, что закончилось тяжелое путешествие через море. И хотя земля еще сутки под ногами покачивалась, это все же была земля… Пусть и чужая-далекая.

Лондон встретил туманом, вонью и шумом. Даже не рассмотришь ничего толком, каждый переулок ведет будто бы в потусторонний мир.

Лёдник высунулся из окна экипажа и переговорил с кучером в странном зеленом плаще с чепцом.

— Сейчас подъедем к самому приличному отелю в Кларкенуэлле. Кучер его горячо рекомендует. Я пойду договариваться с хозяином, а вы стерегите вещи и друг друга. Район не самый спокойный… Но наша цель именно здесь.

— Бери самые лучшие апартаменты! — важно заявил пан Агалинский.

— Как возжелаете, ваша мость, — язвительно отозвался профессор. — Деньги все равно ваши, платить будете сами. У меня и битого талера не осталось.

Экипаж остановился перед трехэтажным аккуратным строением, встроенным между соседними, похожими на него, как родные братья, только на этом красовались ладные кованые балконы и жестяная вывеска с названием «Дуб и Ворон». Причем нарисованный ворон с желудем в кривом клюве больше напоминал ястреба. Кстати, это была еще одна особенность Лондона, поразившая студиозуса, — кроме ворон здесь было полно ястребов, которые садились на фонари и крыши, копошились в мусоре — совсем как привычные городские вороны.

Вырвич, естественно, не послушал приказа бывшего слуги, выскочил из экипажа вслед за Лёдником. Рядом тут же очутились панна Богинская и ее самозваный «жених». Прантиш никак не мог сообразить, что в действительности испытывает пан Гервасий к своей «невесте»… Студиозус вон сколько галантностей на паненку тратил… Многозначительный взгляд, пожатие ручки, фривольный намек в разговоре… А пан Агалинский, хоть красивых женщин нигде не пропускает, за бок ущипнет, в кладовую с хорошенькой прислугой не против зайти, к Богинской по-прежнему — как к пану Бжестовскому. Немного снисходительный веселый разговор… Подкалывают друг друга или сплетни обсуждают. Может, все не так безнадежно, и авантюрная паненка с голубыми глазами, немного курносая и с холодным сердцем пану безразлична?

Между тем кучер что-то залопотал, требовательно и злобно. По понятному везде знаку — ангелец будто растер что-то между пальцами — догадались: требует заплатить. Пан Агалинский широким жестом достал из пояса два дуката и бросил кучеру. Тот схватил так жадно, что дурак понял бы, насколько переплачено. Сразу же налетели какие-то слуги и в мгновение сгрузили панские сундуки на мостовую, тоже потребовав платы. Кучер в знак вежливого прощания тронул пальцами шляпу и хлестнул лошадей. Путники остались около горы вещей.

Вдруг неподалеку послышался гневный женский крик. Под уличным фонарем две пригожие женщины азартно, со вкусом ссорились. Тут же набежали зеваки, начали их подначивать… И что такое? В руках у каждой появи-

лось по ножу. Совсем не карманному… Ссора превратилась в смертельную дуэль!

Прантиш схватился за саблю — первое движение шляхтича при наименьшей опасности — и от захватывающего зрелища забыл обо всем на свете. Женщины посреди круга зрителей — Вырвич, конечно, занял самое удобное место — двигались, как в танце, как два тренированных воина. Наскакивали одна на одну, ловко уклонялись… Юбки они подобрали, так что зрелище оголенных выше колен крепких ног принудило пана Агалинского забыть обо всем. Потому что и пан Агалинский терся здесь, в первых рядах… И панна Полонея, любопытная, как молодой воробей… Правда, за толпой, которая немилосердно толкалась, орала, охотники за огненным мечом видели друг друга плохо.

Женщина, та, что тоньше и ниже, с черными волосами, ловко подставила подножку сопернице, и обе покатились по земле. Толпа раздвинулась, все азартно кричали: «Гоу! Гоу!»

Подожди, Лёдник же говорил не отходить от вещей! Один сундучок, между прочим, набит радзивилловскими дукатами… Прантиш оглянулся, приподнимаясь на цыпочки, чтобы за головами зрителей увидеть родные сундуки…

И не увидел.

Может, их уже занесли в помещение?

Прантиш с самым нехорошим предчувствием начал пробираться через толпу… Чуть продрался, и то — оголив саблю, чтобы напугать нахалов.

На том месте, где недавно громоздились привезенные на «Святой Бригитте» вещи, серели мокрые камни мостовой. Лёдник, наконец, вышел на крыльцо в черной треугольной шляпе, белом парике, черном бархатном камзоле с мелкими пуговками.

Доктор уставился в растерянное лицо Прантиша, потом повернул голову туда, где происходила драка. Лицо его стало таким, как будто на лекции подловил учеников за тайной игрой в карты. Но не успел профессор задать вопрос, как в общем шуме послышался пронзительный визг:

— Пан Гервасий! Помогите!

Полонея! Прантиш и Лёдник бросились в толпу. Вырвич успел только заметить, что двое оборванцев пробуют что-то у пана Бжестовского отнять, а пан Агалинский разбрасывает их, как медведь собак.

И вдруг все куда-то разбежались, даже две дуэлянтки. На пустой улице остались стоять только четверо литвинов да на крыльце отеля «Дуб и Ворон» щерилась прислуга и солидный пан с рыжей бородкой, в жилете — наверное, хозяин отеля.

В тумане насмешливо каркали лондонские вороны.

— Где вещи? — очень спокойно спросил Лёдник. Прантиш виновато развел руками.

— Пояс! Пояс с деньгами! — вдруг заорал пан Агалинский и начал ощупывать карманы. — Святые угодники! Табакерка, подаренная паном Каролем! Перстни! Фамильный сигнет! Часы!

После быстрого осмотра выяснилось, что местные воры ободрали всех, как овец. Только сабли и остались при панах — и то потому, что пан за саблю хватается, как пьянь за рюмку. Правда, ножны, украшенные драгоценными камнями, у пана Агалинского и пана Бжестовского срезали. Даже у Лёдника успели карманы обчистить.

— А я о хорошем номере договорился, — меланхолично проговорил доктор. — На шесть комнат. С ванной.

Вырвич растерянно обвел глазами улицу.

— Может, в суд заявить?

Панна Полонея выразительно хмыкнула.

Хозяин отеля что-то крикнул и махнул рукой, чтобы подошли. Лёдник переговорил с ним, покивал, повернулся к своим.

— Этот мистер говорит, что раз такое несчастье случилось с нами на крыльце его отеля, он сделает скидку и подберет нам приличные апартаменты. Готов принять плату тем, что у нас осталось. Ценности какие, одежда… Думаю, стоит согласиться. Куда мы сейчас сунемся…

Вырвич посмотрел на довольное жирное лицо владельца «Дуба и Ворона», как лоснятся у того маленькие светлые глазки:

— Да он с теми злодеями заодно! А теперь последнее забрать хочет!

— А кто виноват? — сердито спросил Лёдник. — Я говорил — из кареты не выходить? Зачем кучера отпустили? Какого рожна побежали, вылупив глаза на представление, которое специально для вас воры устроили?

— Если бы пан профессор не раскомандовался, ничего бы и не случилось! — разъяренно напустился на Лёдника пан Агалинский. — Лезет повсюду вперед, за всех решает. Я сам бы и договорился с корчмарем! Язык денег все понимают!

Хозяин отеля с интересом наблюдал за перебранкой обобранных гостей, лениво скрестив руки на груди. Похоже, он мог простоять так, пока темень не окончит бесплатный спектакль.

— Паны, убивать друг друга будете дома. А сейчас что делать? — немного истерично спросила Богинская.

И действительно, что? Судно за ними придет хорошо если к Рождеству. Даже весть о беде кому послать — деньги нужны.

— Выворачивайте карманы, — мрачно приказал Лёдник. — Может, у кого какие ценности еще остались… Сабли продавать пока не хочется.

— Да я скорее с голоду сдохну, чем Гиппоцентавр прадедовский продам! — гневно крикнул Прантиш.

— Предлагать дворянину продать оружие! Вот по этому и видно, что пан доктор — не настоящий шляхтич, — презрительно кинул пан Агалинский. — Есть понятия, кои благородный человек приобретает, как только учится ходить!

К счастью, профессор не успел сказать что-нибудь язвительное насчет того, что если бы знал, что благородные его спутники настолько беспомощны со своими понятиями, и их нельзя оставить без присмотра и на минуту, то привязал бы их на веревочки да водил за собою, как породистых щенков…

— У меня кольцо осталось! — быстро заявила панна Богинская. — С пальца уже стаскивали, спасибо пану Гервасию — не успели. Изумруд в нем достаточно ценный…

Лёдник взял кольцо панны, поднес к глазам, повертел.

— Работа с драгоценными камнями — часть алхимии… Когда-то я такой изумруд мог даже увеличить в размерах, очистить, принудить изменить цвет… — вздохнул. — Только на это нужно время плюс хорошо оборудованная лаборатория. Думаю, фунтов сто за это кольцо мы у аглицкого мошенника выручим.

Хозяин отеля, поняв, что у гостей есть что предложить, широко улыбнулся и собственноручно открыл двери своего подозрительного заведения.

Апартаменты, выделенные обворованным гостям, были всего на две комнаты — Лёдник уговорил пана Агалинского не роскошествовать. Ибо насто-

ящей цены хозяин отеля за кольцо Богинских, естественно, не дал. Американец едва выторговал, считая на пальцах и ревя проклятия, пятьдесят фунтов.

Одну комнату галантно уступили панне Богинской.

А цель была так близка!

Полонея и пан Гервасий едва сдерживались, чтобы палками не погнать профессора к тайной пещере с надписью «Здесь добудешь победу огня над железом». Оба делались все более нервными, и Вырвич с тайной радостью угадывал под их веселыми перепалками взаимную подозрительность. Неудивительно — за время их путешествия о чем не рассказалось, о том домыслилось. Вражеские партии, конкуренты… А огненный меч доктора Ди достанется только кому-то одному!

Они шли за высокой стремительной фигурой доктора по улице под названием Тернмилл-стрит, между рядами темнолицых домов, и хоть нечего было терять, настороженно провожали глазами уличных торговцев и прохожих. И еще издали услышали громкие крики. На площади собрались люди — и паны, и бедняки, один джентльмен вскочил на ящик и вещал, помогая себе жестами. Толпа кричала что-то одобрительное.

— Пан Лёдник, что здесь происходит? — дернула профессора за полу плаща любопытная Полонея. Лёдник замедлил ходьбу, подошел к горожанину, меланхолично посасывающему трубку на краю площади, расспросил, вернулся к компании.

— Это, панове, Кларкенуэлл, и его обычный атрибут — политический митинг, — усмешка доктора была очень кривой. — Мистер на ящике критикует молодого короля Георга, который назначает министрами самых глупых и покорных, подкупает парламент и прогоняет прочь вигов в пользу тори. Слушатели, как вы можете догадаться, как и оратор, принадлежат к партии вигов. Король Георг, хоть и молодой, ненамного сообразительней нашего престарелого Августа. Но дорвался до власти и не терпит людей, которые умнее его или мыслят самостоятельно. Ждите, он еще огребет за это — и страна поплатится. Особенно за Америку…

— А что с Америкой? — сразу заинтересовался пан Гервасий.

— Да король хочет налоги у Новой Англии повысить. За счет колонистов оплатить свои капризы — войны, реформы… А в Америку, по моим наблюдениям, отъезжают люди пусть не самые родовитые, но смелые, предприимчивые, и те, кому нечего терять. И обжилось их там немало. Поэтому навряд ли их удастся так легко обобрать.

— Я бы тоже поддержал этих… вигов! — мстительно воскликнул пан Гервасий, который сразу проникся недобрыми чувствами к Георгу III, обижавшему его любимую Америку.

Люди закричали, причем среди митингующих были и женщины, которые старались громче мужчин.

— Как на виленском сойме! — ностальгически промолвил пан Агалинский. Вдруг джентльмен сбоку что-то закричал, как видно, противоречащее, и в оратора на ящике полетел огрызок яблока.

— Все, сейчас и драка начнется, как на сойме, — буркнул Лёдник и едва не бегом двинулся прочь. Прантиш не против был последить за лондонским соймом, но отставать от компании совсем не хотелось.

Сегодня туман уменьшился, но похолодало. Лёдник рассказывал, что зима здесь не такая суровая, как в Беларуси, и если река замерзает — это считается чрезвычайным событием, бывает несколько раз в столетие. Но в сочетании с неприятной сыростью прохлада пробирала хорошо… Около дома, перед

дверью которого стоял столб, обмотанный почему-то красной выцветшей тканью, женщина, закутанная поверх шляпы в шерстяной платок, продавала голубые бусы. Судя по всему, это были талисманы от какой-то болезни. Лёдник подтвердил: лазурит здесь носят от бронхита и пневмонии.

— Слушай, Бутрим, а ты мог бы заработать деньги, если бы предложил свои докторские услуги! — сказал Прантиш.

— Лучше астрология! И гадания! — подлетела к профессору с другой стороны Полонейка. — На это спрос всегда! Сделать рекламу — «Знаменитый лекарь и алхимик из далекой Альбарутении, профессор академии и личный доктор великих князей, определяет болезни, предсказывает будущее и дает практические советы, как уберечься от чумы». Народу повалит!

Лёдник только хмыкнул.

— Вы обратили внимание, панове, на столбы, обмотанные красным? Это значит, что в доме принимает цирюльник, которому магистрат дал лицензию на кровопускание… А значит, он, считайте, лекарь. А видите, на двери вот такой барельеф?

Вырвич взглянул туда, куда показывал Лёдник: к двери была прикреплена бронзовая голова дядьки в старомодной шляпе и воротнике-жернове.

— Это голова философа, астролога и алхимика Френсиса Бэкона. И означает, что в доме живет его последователь, который охотно за деньги вам и погадает, и гороскоп составит, и чудодейственный электуарий сварит. Вместо Бэкона может быть изображение волшебника Мерлина… А вон и странствующий мой собрат тащится: видите, в бархатном плаще?

Действительно, по улице важно шел высокий дядька с тощей бородкой, словно козлиной, в длинной темной одежде и островерхой шляпе. К дядьке подбежала немолодая женщина, похоже, прислуга, сунула монету, и они стали о чем-то шептаться.

— И как вы думаете, при такой конкуренции много можно заработать? — насмешливо промолвил Лёдник. — Да меня сразу в участок сдадут те, у кого я заработок перебью. Помните, пан Вырвич, прецедент в корчме под Раковом?

Прантиш мрачно кивнул головою. Воспоминания невеселые. Тогда Лёдника забрал судья Юдицкий, чтобы продать пану Герониму Радзивиллу, что взялся гноить да пытать в подземельях слуцкого замка ведьмаков. Прантиш не захотел бросать в беде своего новоприобретенного слугу, после чего и возникла между ними дружба.

Между тем перед компанией выросла высокая кирпичная стена, за которой виднелись мрачные шпили готического храма и полуголые тополя.

— Если мы все правильно посчитали и кукла-рисовальщица не оплошала, это здесь, — тихо промолвил Лёдник.

Панна Богинская и пан Агалинский благоговейно уставились на тяжелые дубовые ворота, над которыми в каменном фризе светлел барельеф в виде треугольника, из коего смотрело всевидящее око.

— Здесь был монастырь рыцарей-госпитальеров… — пояснил Лёдник. — Теперь он заброшен, стена построена значительно позже. В районе Кларкенуэлл всегда селились подозрительные типы… Вроде доктора Ди.

И решительно постучал в ворота.

Стучать пришлось долго. Только когда пан Гервасий замолотил в дубовые створки ногой в подкованном сапоге, кто-то недовольно отозвался по ту сторону стены, и ворота приоткрылись. Горожанин, что открыл незваным гостям, мог быть родным братом хозяина отеля «Дуб и Ворон». Такое же сонливое вытянутое лицо, рыжеватые бакенбарды, снисходительный взгляд

маленьких светлых глазок. То, что на пришедших был наставлен ствол пистолета, свидетельствовало — абориген не просто проходил рядом, а стережет собственность.

После того, как в его руки перешло несколько шиллингов, ворота открылись шире, и литвины оказались еще ближе к своей цели.

Древний храм находился в жалком состоянии. Видно было, что он пережил пожар и человеческую ненависть, — радикальные кларкенуэлльцы не любили богатых монахов и важных рыцарей. Лёдник настойчиво расспрашивал сторожа, суя ему монету за монетой, лицо его все больше мрачнело.

— Значит, так… Хорошая новость — здесь действительно есть подземелье с латинской надписью, и находится оно в доме, который называется — не поверите — «Огонь и железо».

Полонейка и пан Гервасий даже напряглись, как гончие, почуявшие запах крови раненого зверя.

— А плохая новость? — спросил Прантиш.

— А плохая — что мы туда не попадем. Тот участок, где подземелье, после смерти доктора Ди был продан магистратом, там построена вон та халупа… — Лёдник показал на кирпичную постройку, похожую на казарму, которую отделяла от монастыря еще одна стена. — Когда-то в ней устроили винокурню, а в пещере, что мы ищем, хранили вино. Потом здание приспособили под жилье для наемных рабочих, что строили новый мост. Теперь оно продается вместе со всеми тайнами.

— Вот и чудесно! — воскликнул пан Гервасий. — Приобретем здание — и все!

— За какие шиши? — язвительно спросил доктор. — Цена его — не менее пятисот фунтов. И нужно поспешить, иначе выкупят другие — тогда вообще неизвестно, что случится. Новый хозяин может и снести все.

— А чего ждать? — выкрикнул Прантиш. — Давай сторожа оглушим — и полезли в то строение! Замок я любой отопру!

— Оно бы план и неплохой, — ответил Лёдник, — если бы не одно обстоятельство. Строение не пустое.

Будто в подтверждение его слов, в окне сумрачного дома показался человек в черном, можно было рассмотреть только его бледное лицо.

— Квакеры. Такая религиозная секта… Особо строгая… — пояснил профессор. — Они собираются отплывать то ли на Гавайи, то ли на Карибы, проповедовать веру Христову. А пока сидят и истово молятся. И ни за какие деньги никого шарить по дому не пустят. Люди суровые и к военному делу хорошо приспособлены, оружие имеют. Дом не их, принадлежит одной леди, которая им покровительствует и обещала, что вырученные за строение деньги пожертвует братьям во Христе на их миссионерский путь. Так что как только здание продастся — его и освободят.

Полонейка, Американец да и Прантиш поглядывали на кирпичное строение, как влюбленный на закрытые ставни красавицы.

Оставалось в очередной раз помянуть недобрым словом лондонских воров.

Если бы не те воры — уверенней чувствовали бы себя литвины среди мраморных колонн, украшавших прихожую шикарного дворца владелицы кирпичной винокурни около монастыря тамплиеров. Как-то не верилось, что особа, живущая в таком дворце, имеет интерес к неприметному строению в Кларкенуэлле. Имя владелицы — леди Кларенс — ничего не говорило.

Сама леди, однако же, к гостям не вышла — ничего удивительного. Гости приехали без особенного шика, торгуются за какие-то небольшие деньги… Панна Богинская стояла, горделиво задрав нос, — несомненно представляла, как бы могла подъехать сюда на шестерке породистых коней в карете с гербом, с лакеями и казаками на запятках, с герольдом, который объявляет приезд… И вышла бы, ступая на бархатную подушечку, положенную под ступеньку кареты, в необъятном роброне с фижмами, усыпанная диамантами, в прическе высотою с купол собора святого Павла… Вот тогда бы гордячка из этого дворца почувствовала свое место! У Богинских и не такие дворцы есть!

А Прантиш крутил головой, рассматривая картины-статуи-фарфор-серебро, и не мог избавиться от ощущения, что за ними внимательно наблюдают чьи-то глаза, изучают, как букашек…

— Леди спрашивает, зачем уважаемым господам из Альбарутении строение в Кларкенуэлле?

Важный дворецкий с обвислыми щеками хорошо разговаривал на французском, которым в компании более-менее владели все, поэтому пан Гервасий с удовольствием отодвинул доктора в сторону и взял на себя переговоры, пусть и заочные, с благородной личностью.

— Пусть ее милость леди Кларенс не сомневается, что ее бывшее имущество будет использоваться в самых приличных целях… Мы… мы устроим там склад самых лучших вин!

Прантиш едва сдержался, чтобы не захохотать. Американец мог бы придумать и более изящную версию. Что в голове, то и на языке…

Дворецкий вернулся с еще более надменной физиономией и сообщил, что леди Кларенс на таких условиях продавать не желает. Тут же выскочила вперед Полонейка в обличье Бжестовского.

— Пусть ясновельможная пани простит, но, быть может, она согласится продать то строение мне? Я использую его в самых христианских целях: создам приют для бедных и госпиталь. Вот и доктор с нами, известный на всю Европу профессор, сэр Лёдник, который поможет создать самое лучшее медицинское обслуживание обделенных судьбой несчастных… Так как он именно этим и занимается во славу Господа!

Слова пана Бжестовского текли, как жидкий мед. Ай да молодчинка Полонея — правильно рассчитала: если леди такая святоша, что содержит сектантов-миссионеров, естественно, идея с вином ее возмутила… А помощь бедным — самое то!

Но дворецкий вернулся от невидимой леди с тем же отрицательным ответом… Золоченые гипсовые амурчики по стенам помещения самым непристойным образом насмехались над неудачными покупателями и целились в них из маленьких луков, будто тем до кучи не хватало пылкой любви.

— Передайте леди, — загремел Лёдник, которому надоел этот марлезонский балет, — что лично меня интересует таинственная история упомянутого строения и я имею к нему научный интерес. И привык все свои эксперименты доводить до логического завершения. Поэтому пусть леди назовет любую цену.

Компаньоны посмотрели на Лёдника, как на умалишенного, — панна Полонея даже, кажется, готова была обойтись с ним, как с лакеем, опрокинувшим на ее платье чашку кофе. Почти разоблачить их намерения!

На этот раз дворецкий задержался дольше, принесенный им ответ всех удивил: леди согласилась продать винокурню доктору Лёднику, имея в виду

его научный интерес. Условия — тысяча фунтов, принести лично послезавтра утром.

Лёдник церемонно поклонился, оборвал Прантиша, который намеревался было немного поторговаться, по всем светским правилам поблагодарил леди Кларенс и вывел компанию из дворца.

На берегу Темзы с видом на новенький Вестминстерский мост, чудо инженерной мысли, прошел небольшой стратегический совет.

— Если бы не случай у отеля — я бы тысячу фунтов из одного сундука зачерпнул! — раздраженно сказал пан Гервасий. Полонейка вздохнула, разглаживая запятнанный и помятый рукав недавно шикарного камзола:

— Сейчас в Лондоне есть несколько известных персон из Польши и Литвы, но ведь идти, представляться, все рассказывать, объяснять, что мы здесь делаем… А я в таком виде…

— Исключено! — отрезал пан Агалинский. — Лучше бы меня послушались… Да я в одиночку тот дом приступом возьму! Квакеров саблей покрошу, и подземелья наши…

— В тех подземельях может ничего не быть, васпан, — напряженно предупредил Лёдник. Пан Гервасий внимательно посмотрел на профессора:

— Я свое слово сдержу, не волнуйся. Твое дело — привести меня в пещеру.

— Нас, пан Агалинский, нас! — мило оскалилась Полонейка. Изящная такая, хорошенькая… Но Вырвич чувствовал, что на пути к цели она будет, пожалуй, более опасной, чем Американец. Тот со скрытой насмешкой поклонился:

— Конечно, дорогая моя невеста, у нас же все должно быть общим!

Где-то зазвенели колокола — и сразу им отозвались другие… Лондонские храмы заполняли город величественными звуками со всех сторон, казалось, даже туман рассеялся.

— Пойдем к моему бывшему однокурснику Роджеру, — решительно заявил Лёдник. — Он сделал хорошую карьеру, среди клиентов — сплошь герцоги… Опять же — в Королевском научном обществе не последний человек. Тысяча фунтов — деньги немалые, но для него возможные. Когда-то я помог ему в начале его карьеры, подбросил пару идеек… Тогда Роджер обещал, что век не забудет моей услуги. Вот и посмотрим…

Они ехали в нанятом фаэтоне, навес не спасал от влажных микроскопических капель, что липли к лицу, как паутина.

Чумазый мальчик, тащивший корзину с углем, заметил рыжего усатого чужестранца, который, сидя в экипаже, до отвращения важно поглядывал по сторонам. Мальчик с вызовом свистнул и показал усатому джентльмену кулак, а когда тот угрожающе оскалился и выкрикнул непонятное «Зарублю!», еще и швырнул вслед ему кусок угля.

— Когда я был здесь в молодости, — спокойно ответил Лёдник на брань пана Гервасия, возмущенного наглостью здешнего простого люда, — на улице вообще нельзя было показаться в придворном убранстве. Сразу забрасывали грязью. Даже короля и королевскую семью встречали оскорблениями. На статуе королевы Анны у собора святого Павла уличные мальчишки практиковались в швырянии камней. Не думаю, что с того времени здесь полюбили аристократов. Кстати, самая популярная пьеса, которую разыгрывают в домашних театрах сами аристократы, — это «Опера нищих». Графья да бароны с удовольствием переодеваются в лохмотья, употребляют грубые слова и осваивают дурные манеры. Парадокс, панове!

Вырвич, с одной стороны, был злорадно удовлетворен — а вот вам, магнатики, не всюду перед вами раскланиваются, с другой стороны — он же сам шляхтич, неужели здесь какой-то носильщик или угольщик будет с ним спорить, кому первому пройти в дверь?

Ученого пана, к которому они приехали, уличные мальчишки точно могли забросать грязью — за одни перстни с диамантами. Неудивительно, что пан заставил их ждать в гостиной, прибирался, видимо, в лучшее. Неужели так хочет хорошо выглядеть перед коллегой и другом молодости?

Однако на вытянутом лице пана — морщинистый лоб, длинный кривоватый нос, светлые запавшие глаза — застыла только брезгливая настороженность. Значит, наряжался, чтобы унизить гостя, а себе придать важности.

Искренних объятий с похлопыванием по спине с бывшим однокурсником не случилось. Зато мистер Роджер говорил на хорошем немецком — видимо, привык в Пражском университете.

— Добрый день, герр Балтромеус. По какому случаю — лекции, консультации или, быть может, на постоянную работу?

И по всему видно, что пану менее всего хотелось, чтобы приятель здесь задержался.

Лёдник заверил, что в Лондоне проездом, сопровождает родовитого воспитанника, и завел деликатный разговор о бедственном положении, в которое попала компания, далее логично следовало одолжение денег… Но мистер Роджер остановил гостя, в его тонком голосе, как вода из-под весеннего снега, пробивалась искренняя ненависть:

— И как ты, герр Балтромеус, после своей публикации в лейпцигском журнале осмелился приехать в страну, лучших ученых мужей коей посмел оскорбить, сотрясти самые основы академической науки?

Ой-ёй! Вместо доброжелательной беседы попали на диспут. Глаза пана загорелись, он начал сыпать научными терминами… А его возмущение, как понял Прантиш, происходило от того, что Лёдник опубликовал что-то о каком-то своем открытии раньше, чем до того же додумался мистер Роджер, а он всю свою жизнь собирался до этого додуматься, а Лёдник, шарлатан эдакий, мечты однокурсника разрушил… Да еще и покритиковал кое-какие научные выводы лондонского коллеги.

— Мы отправили в редакцию письмо протеста против ваших инсинуаций! Все подписали — даже ваш хваленый Джон Хук!

Тут Лёдник не выдержал и дал волю сарказму, доходчиво пояснил пану, что тот со своим косным и зашоренным сознанием никогда бы не дошел до открытия, и вообще — консерваторы, представителем коих является мистер Роджер, только препятствуют настоящим ученым, их сейчас в Англии много, и до них мистеру Роджеру — как до Венеры…

Разъяренного профессора Виленской академии спутники едва не насильно вытащили из шикарного дома однокурсника-консерватора, чье бледное невыразительное лицо под конец спора приобрело яркий свекольный цвет.

— А иных друзей, Бутрим, у тебя здесь нету? — спросил раздраженный Прантиш, размазывая по лицу лондонский туман.

— Из научных кругов — как видите, лучше ни к кому не соваться… — ответил Лёдник, изучая свои ладони со шрамами. — А другие влиятельные знакомцы у меня такого же типа, как известный вам владыка Габриэлюс. Им я и на глаза попадаться не хочу.

Пан Полоний Бжестовский вдруг совсем по-мальчишески захохотал.

— Доктор, у вас какой-то особенный талант — вызывать к себе пылкие, но отрицательные чувства… Даже пан Гервасий собирается вас убить. Наверное, и у пана Вырвича не раз чесались руки прикончить своего ученого слугу?

Прантиш только злобно зыркнул на паненку, ибо она была права: три года назад пана Вырвича не раз аж трясло от ненависти к дерзкому холопу — пусть не убить, но избить его, сломать очень хотелось. Тогда и подумать не мог, что холоп будет в качестве профессора отправлять бывшего хозяина в карцер.

Пан Гервасий злобно подбил ногой кусок угля, что валялся на мостовой и который, возможно, какой-нибудь голодранец швырял в золоченую карету.

— Может, наезд устроить? Подстеречь богатого пройдоху-купчину или ростовщика… Отобрать деньги у злодея — шляхетской чести нет урону!

— Грабежом заниматься не будем! — твердо заявил Лёдник. — На моей душе и так грехов достаточно.

— А давай я в игорный дом пойду! Где ставки повыше… — энергично предложил Прантиш. — Я же и в кости, и в карты…

— Обдерут как липку, — отрезал профессор. — При всех ваших талантах и везении, ваша мость, это на последней скамье аудитории вы однокурсников обыгрываете, а против местных шулеров не потянете… А еще можно и нож в бок получить.

— Где же, ваши мости, в таком случае, мы до послезавтрашнего утра добудем тысячу фунтов? — со слезами в голосе спросила Полонея. — Знаете, панове, я очень хочу снова походить в платье! А для этого нужно удачно завершить путешествие.

Поблизости прошла торговка рыбой, распространяя вокруг характерный запах. Платье из плотной ткани и стеганая юбка делали фигуру бесформенной и будто высеченной из камня, на голове, поверх чепца, женщина несла корзину с товаром, в зубах дымилась короткая трубка. Похоже, эта баба с Билинсгейтского рынка могла бы побороться даже с паном Гервасием.

Торговка оценивающим взглядом скользнула по расстроенным панам, что-то пропела грубым голосом — судя по тому, как дернулся Лёдник, очень неприличное, и пошла себе дальше, неумолимая и непонятная, как сам этот город.

Такая ручки у пана целовать не станет.

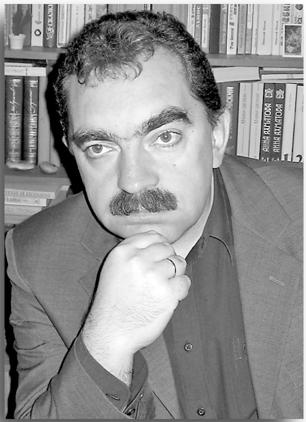
Лёдник вздохнул, посмотрел в серое небо, начинавшее темнеть.

— Завтра что-то придумаем. Зовите, пан Вырвич, извозчика, поехали в отель.

И тогда началось еще одно чудо — ибо с приходом в город тьмы повсюду, около каждого десятого дома, начали зажигать фонари. Целая армия фонарщиков, в высоких шляпах, с длинными палками на плече, ловко перемещалась от фонаря к фонарю… В освещенные круги входили женщины в модных шляпках, грея руки в меховых муфточках, прислонялись к фонарям в галантных позах, прохаживались, высматривая клиентов. А главное — витрины! Застекленные, огромные! Все магазины сияли, как окна во время бала. Было светло, как днем. Вот бы так устроить в Менске и Вильне!

Окончание следует.

Перевод с белорусского Павла ЛЯХНОВИЧА.



Алесь БАДАК

Камни

Алесю Карлюкевичу

1

Я купился, когда увидал —
Близко лес и река аж искрится.
И соседка — еще молодица.
Да такая — что выбрал бы сам.

Огород. А какой белорус
Без какого ни есть огорода.
Я купился. Купил его.
Продал
Вместе с хатой, понятно, и — плюс —

С тою самой прозрачной рекой,
С близким лесом,
Соседкой пригожей
(Получилось, конечно, дороже), —
Продал все человек мне такой,

Что я даже с ним не был знаком.
— Он нездешний, — сказала соседка.
Но и женская больше разведка
Ничего не узнала о нем.

2

Заимел огород — не стони,
А старайся до горького пота.
Только, как показала работа,
Там растут лишь каменья одни.

Весь камнями зарос огород!
Обезумела, видно, природа.
Ну, а впрочем, нашлась мне забота
Перекинуться через заплот

С той соседкою словом-другим.
— Камни прут так, что скоро заплачу!
Засмеялась:
— А что для вас дача?! —
И глаза будто выел мне дым.

Правда, я отмахнулся, спеша,
Как от дыма, от слов ее едких
(Вряд ли их повторю за соседкой),
Ну а после сказал ей:
— Душа!

— Покупали вы душу?
— Купил
Сам себя у продажного века,
Пока сельского дух человека
С ним в себе до конца не убил.

— Вы так любите землю?
— Люблю!
Ту деревню, что памятью стала,
Что давно уж слезинкой сбежала.
С той поры я ее узнаю

По неведомым признакам — тем,
Что вдруг из ничего возникают.
И со мной эта вёска святая,
Где б я ни был на свете и кем.

Выбрал место ей тут — как хотел:
Близко лес и река серебрится.
И соседи есть. Рядом столица,
Так что можно проведать меж дел.

В ней искать думал корни свои.
Перекапывал сотки лопатой,
Сеял то, что и предки когда-то.
Отчего же каменья взошли?

3

— А не лучше ль вам это узнать
У ученых, — сказала соседка. —
Хоть в деревне увидишь их редко,
Да им все издалека видать.

Ну а мы тут, как жили, — живем,
И как верили, верим душою,
Что земле своей, каждой весною,
С семенами — себя отдаем.

Без нее мы чужие кругом,
И для нас без нее все чужое.
Мы настолько сроднились с землею,
Что давно в ней себя узнаем.

Я кивнул:
— Не земля у вас — рай!
А она:
— Потому и одна я,
Что с грехами в свой рай не пускаю,
А святых — где их нынче сыскать?

И стоял я тогда перед ней,
Как на исповеди пред иконой.
По земным ли, небесным законам
Нисходил в мое сердце покой.

4

— …Видно, камни пора собирать, —
То ли ей, то ли думам повинным
Я сказал, перед тем, как покинуть
Этот храм, где и стен не видать.

И услышал:
— А что собирать,
Если носите камни вы в сердце,
Как ту боль, что успели стерпеться,
Как вину — ту, что жаль прогонять.

5

Среди ночи привиделось мне
Все, чему я душой предавался.
Я как будто к себе возвращался
От себя. И наведал во сне

Край родной, где полынь да осот.
Но и этим до боли живой он,
Но и этим до слез дорогой он
И милей, чем столичный комфорт.

Я не видел его уж давно,
А купился на то я, что близко
Не от сердца, мой Боже, — от Минска! —
Будто сердцу уже все равно.

Показалось, что понял теперь
Я того, кто мне сбыл свою дачу.

Жизнь, как он, свою переиначить —
Как рукою махнуть — захотел.

И махнул: на пустой огород,
И на лес, на реку, что искрится.
У калитки махнул молодице.

6

И я шел. И со мною мой род.

Кто на этом был свете и том,
Рядом шли неумолчной толпою.
И слились все с людскою рекою
На вокзале.
И касса потом

Баритоном спросила: «Куда?»,
Не скрывая усталой истомы.
Я сказал безучастно: «До дому».
И билет получил.
И тогда
То сады, то поля за окном
Замелькали. Сосед нелюдимый
Мне попал. Но и он *на радзіму*
Возвращался: как перед судом

Было вспомнить что *издалека.*
Редких фраз наших смысл однородный:
Из-под Ляхович я, он — из Гродно.
Каждый молча подался в свой край.

Каждый вез с собой памяти иск.
За молчаньем — и так ведь бывает —
Не услышали, что прибываем
На конечную станцию — Минск.

Перевод с белорусского Любови ШАШКОВОЙ.



Тамара БУНТО

Рассказы

Мамины туфельки

Когда моя мама в тридцать лет выходила замуж, у нее было девятнадцать платьев, черные лаковые туфельки и одна подушка с одеялом. Она чувствовала себя умной, богатой и счастливой. К тому же мама была учительницей, а в те времена учитель в деревне считался вторым человеком после председателя.

Мама родом с Мстиславщины. В конце войны немцы, отступая, сожгли всю ее деревню, и в землянке, которую выкопал мой дед, ютилось девять человек. Поэтому, как только после оккупации в Мстиславле вновь открыли педучилище, мама сразу же поехала туда и поступила.

Поступить одно, а учиться как?.. В чем ходить на занятия? Все ведь сгорело! Если какое-то платьице еще имелось, то на ноги, кроме лаптей, обуть было нечего. И тут вдруг из Мстиславля приехала невестка — жена маминого старшего брата, который был на войне (на тот момент брат уже погиб, но об этом еще никто не знал), — и привезла ей в подарок небывалое богатство: новые черные резиновые галоши! В этих черных блестящих галошах, словно в лаковых туфельках, мама потом и щеголяла на первом курсе, даже в холод. А другие студентки, тоже погорельцы из деревень, ходили на занятия в лаптях и завидовали ей.

Как только мама окончила училище и пошла на свой хлеб, то все деньги стала тратить на наряды. Молодость, которая пришлась на тяжкие военные и послевоенные годы, уходила — хотелось хоть немного покрасоваться. И первое, что мама ухватила себе на базаре, — настоящие черные лаковые туфельки на высоких, крепких каблуках! Трофейные, наверное. После войны прошло два или три года, и домой уже вернулось много фронтовиков, которые дошли до Германии. Вернулись не только с медалями, но и с трофеями. Счастливицам, которые дождались своих мужей-победителей, подарков хватило не только для себя, чтобы пощеголять, но и осталось что продать — на строительство новой хаты, на покупку коровы… Потому в те времена даже на базаре маленького белорусского городка можно было ухватить шикарное платье или красивые туфельки.

Нет, понятно, мама помогала деньгами и своему отцу — хату новую ставить, и маленьким племянникам всегда гостинцы привозила… И все-таки, как потом сама признавалась, лишний кусок хлеба не ела, лишь бы только обновку заиметь. Обычно это был отрез на платье. Те отрезы, наверное, тоже были трофейные — немецкие или даже японские, потому что платья из них получались отличные: легкие, полупрозрачные, пышные, цветочных рисун-

ков… Из крепдешина, креп-шифона, шелка… Низ платьев — то в складку, то плиссе, то с оборками… И все — в сборку по талии… С поясками, пряжками, бантами… По большой горловине — пелерины, по маленькой — воротнички… Плечики — на подкладке… На рукавах часто — высокие манжеты, и на каждой манжете — с десяток маленьких пуговичек, обтянутых тканью. А на лифе — пуговичек аж двадцать пять: от воротничка до пояска с пряжкой, который туго охватывал мамину тонкую девичью талию… И ко всему этому — представьте себе! — настоящие черные лаковые туфельки на высоких и крепких каблуках, а еще — маленькая пузатая сумочка и щегольски загнутая вверх высокая шляпка. Не учительница, а артистка с экрана!

Недаром, когда в начале 1950-х годов мама в поисках женского счастья перебралась из Восточной Беларуси, где война всех кавалеров побила, в Западную, на Гродненщину, она оказалась самой модной и привлекательной девушкой в деревне. И парень красивый тут же нашелся, да не лишь бы кто — он умел водить машину (в армии научился), потому и работал в городе. Это был весомый аргумент в его пользу. Другие кавалеры перекидывали вилами навоз в колхозе и еще только примеривались, как бы в город сбежать. И вскоре мама вышла замуж за моего отца. Деревенские девчата только вздыхали с завистью: «Что же, она ведь богатая: у нее — девятнадцать платьев!..»

Моя бабушка-«западница» невестку богатой не считала. Ну и что, если у молодой — девятнадцать платьев, зато — всего одна подушка с одеялом! Своей дочке бабушка дала в приданое не только сундук с ткаными рушниками, покрывалами и скатертями, но еще корову и гумно. Гумно пересыпали — разобрали по бревнышку, перевезли на двор жениха и снова по бревнышку собрали. И стояло оно после этого еще более полувека…

Поэтому всю оставшуюся жизнь моя любимая бабушка припоминала моей маме ту единственную подушку с одеялом и девятнадцать платьев:

— Крепдешины!.. Зачем они замужней?..

И правда, рождение трех детей за пять лет так испортило мамину фигуру, что девятнадцать платьев — легких, пышных, полупрозрачных, с оборками и пелеринами, из крепдешина и шифона — висели, забытые, в шкафу. Даже если бы фигура и позволяла, надеть их маме все равно было некогда: трое детей — один за другим, строительство собственного дома, хозяйство — корова, свиньи, куры, большой огород, а еще — каждодневные проверки ученических тетрадей и написание планов!..

Так что висели мамины девичьи платья, висели, висели… и дождались меня! Я подросла, стала открывать шкаф и перебирать платья. Нет, я их не надевала — они казались мне чересчур старомодными. В моем детстве платья из крепдешина и шелка уже не ценились — на пике моды был кримплен.

А вот туфельки, черные, лаковые, я примеряла. Они блестели, будто новые. Привлекали их высокие каблуки. Я часто ходила по дому, громко стуча этими каблуками по полу, и чувствовала себя высокой и стройной, умной и уверенной. Я не была модницей, я была книжницей — в классе училась лучше всех девочек. И первой мне хотелось быть повсюду — и на уроках, и после уроков. Поэтому к маминым платьям я имела конкретный интерес.

У моих подружек были красивые куклы — немецкие, с настоящими волосами, которые можно было расчесывать, и с глазками, которые закрывались. А уж платьев красивых им подружки нашили! Еще бы, у одной мама была швея, а у другой — продавщица!.. Они могли своим дочкам хоть какие-то

лоскуты с работы принести. А у меня кукла была пластмассовая, с пластмассовыми волосами и с глазками, вылитыми из пластмассы. Да и платье красивое у нее было только одно, в котором она в магазине продавалась. А сшить новые было не из чего — из выцветших обрезков от моих ситцевых халатиков, из которых я вырастала за лето, мне шить не хотелось. А что могла принести с работы моя мама? Только чужие испорченные тетради. Вот и чесались мои руки на мамины платья. Но она не отдавала их — берегла как воспоминание о молодости, о своих надеждах на счастливую и богатую семейную жизнь, которые так и не свершились.

И все же мне повезло! Однажды весной, перед Первомаем, мама, убирая в доме, достала все свои девичьи наряды и вынесла в кладовку, повесила их в старый, еще фанерный шкаф. Наверное, наконец полностью распрощалась со своей молодостью, перестроилась на другую жизнь.

Из кладовки выцыганить платья было легче. Вооруженная ножницами, я мгновенно испортила всю ту красоту — отпорола оборки, отрезала пуговички, вытащила из поясков пряжки, порезала широкие платья на узкие лоскуты… И на этом мое швейное вдохновение закончилось. Все заготовки для будущих кукольных нарядов я сложила в шуфлядку старого шкафа и… больше никогда ее не открыла. Я переросла свое желание — уже неинтересно было играть с куклами. И больше не волновало то, что у подружек куклы красивее моей. В тот момент у меня уже появились другие приоритеты.

Еще спустя несколько лет мама, прибираясь в кладовке, скрутила и засунула в старый мешок те крепдешиновые и шифоновые обрезки и без сожаления выбросила их вместе с другим тряпьем, ни словом меня не попрекнув.

А вот черные лаковые туфельки остались. Много лет они лежали в мамином доме в серванте, в нижней, закрытой его части, вместе с другой обувью. В верхней же, за стеклом, красовались фарфоровые рыбки-рюмки вместе с большой фарфоровой рыбой-графином, а также разные фужеры, чашки, вазочки, статуэточки — красивые, но недорогие ученические подарки маме на праздники.

Шли годы. Менялась мода на форму обуви, каблуки, цвет, кожу… Покупались новые туфли, изнашивались и выбрасывались, а эти, мамины девичьи, оставались лежать в своей картонной коробке, жили. Они пережили и другие туфельки, и мамин сервант, и маму.

Теперь они живут в моем шкафу, среди моей обуви. И мне кажется, что они по-прежнему блестят, как новые. Время от времени я обуваю их и, стуча каблуками по полу, хожу по своей квартире. Я чувствую себя в них высокой и стройной, умной и уверенной, как и много лет назад. В них и сегодня можно было бы пойти «в люди», на какую-нибудь вечеринку, да вот беда — мне не с чем их носить. У меня нет не то чтобы девятнадцати платьев — легких, пышных, полупрозрачных, с оборками и пелеринами, из крепдешина и шифона, — даже одного! Только брюки с пиджаками.

Знак

Моя мама умерла так, как дай Боже умереть каждому: в 82 года, в красивый солнечный весенний денек, в здравии, внезапно, за полчаса и на руках у дочери.

Учительница почти с сорокалетним стажем, воспитанная советской системой, мама по сути была атеисткой, хотя в последнее время, после смер-

ти мужа, сына и старшей дочери, в церковь ходила. Она не боялась смерти, и если говорила о ней, то говорила… с любопытством.

— Вот загадка: есть жизнь на том свете или нет?.. — однажды сказала она мне. — Знаешь что… Если все так, как про тот свет рассказывают, то я, как умру, постараюсь тебе подать знак.

И что вы думаете, она мне этот знак подала!

Я ездила к маме, из Минска в Молодечно, каждые выходные. Всегда, когда бы я ни приехала, во дворе подметено, от снега расчищено, в хате убрано, в печи наварено. Мама все делала сама, очень не любила кого-то обременять своими проблемами.

Вот и в то воскресенье так: чисто, убрано, наварено. У нас обеих — отличное настроение: это был день рождения моей покойной сестры, для нас обеих — праздник. Мы с мамой пообедали, выпили по рюмке и довольно долго посидели за столом. Мама вдруг вспомнила и стала рассказывать, как в молодости она, учащаяся педучилища, каждую неделю ходила пешком из своих Дудчиц за восемнадцать километров в Мстиславль, на занятия, а ее мать, моя бабушка Агриппина, всегда провожала дочку. На полдороге они прощались, и бабушка Агриппина возвращалась назад. Мама же шла дальше и все время оборачивалась и смотрела, видит ли ее мать. Как только они отходили друг от друг далеко, мама снимала платок, который ее всегда заставляла завязывать бабушка Агриппина.

Я не поверила своим ушам: моя правильная мама, которая всю жизнь требовала: «надень шапку» и «завяжи платок», потому что «надо беречься», оказывается, сама в молодости ходила без платка! Мне в то время было уже сорок семь лет, а я до сих пор верила, что мама действительно всю жизнь береглась от простуды и ходила в платке, не то что я — «с голой дурной головой»… Вот это было для меня открытие! Мы хорошо тогда посмеялись вдвоем.

Потом я стала собираться на вокзал, но мама попросила меня сходить в аптеку, купить ей мазь для больной ноги.

Уже была настоящая весна. Снег сошел, и неасфальтированная дорога на нашей улице подсыхала после ручьев. Солнце хорошо припекало, и я расстегнула пальто. Как-то сразу расхотелось ехать в Минск, я подумала: а не заглянуть ли мне на кофе к однокласснице? Но мама не очень любила и всегда обижалась, если я, приезжая, уходила на два-три часа к подружкам детства. Поэтому визит к однокласснице отложила на следующий раз. Спасибо тебе, Господи, что ты меня тогда вразумил!..

Когда, вернувшись из аптеки, я вошла в дом, то еще с порога увидела, что мама лежит в зале на диване. Наверное, почувствовав себя плохо, она специально откинула крючок на входной двери и настежь открыла двери из сеней в хату.

Я подскочила к ней. Мама была серая лицом и задыхалась. Никогда раньше с нею подобного не случалось, хотя в последнее время она жаловалась на аритмию. Почему-то я сразу *поняла…*

Позвонила в «скорую». Долго ждать не пришлось — приехали через двадцать минут. Но это были наши с мамой последние минуты вместе.

Я держала ее за руку… Прочитала над ней «Отче наш…» и сказала: «Прости мне, мамочка, все прости!..» Я старалась сказать все это, потому что понимала, что она умирает. И она тоже понимала. Она часто дышала и время от времени поднимала на меня глаза. В них не было ни муки, ни страха, ни вопроса. Она просто смотрела на меня, будто хотела насмотреться. В такие

моменты я ей говорила: «Я люблю тебя, мамочка, я люблю тебя!» Никогда раньше не говорила ей таких слов: я была «папина» дочка.

Вдруг ее взгляд стал по-детски наивным. И теперь он был направлен не на меня, а влево, в сторону и чуть выше.

— Мама, моя мама! — удивленно и радостно сказала она.

Я поняла, что за моим левым плечом стоит бабушка Агриппина, которую я никогда не видела и которая пришла за своей дочкой, моей мамой. Это были последние мамины слова — она потеряла сознание и больше не вернулась в этот мир никогда.

Молоденький доктор «скорой помощи» послушал у мамы сердце, измерил давление и сказал, что ни того, ни другого почти не чувствуется.

— Сейчас мы сделаем ей укол, но он ей не поможет, — просто и искренне сказал мне доктор.

Сделали укол. Потом доктор открыл чемоданчик и стал делать электрокардиограмму. На моих глазах кривая линия на экране вдруг превратилась в прямую, и аппарат запищал…

Через три часа мама, убранная, уже лежала в гробу.

После того, как доктор выписал справку о смерти и уехал, я позвонила мужу, родственникам, соседям. Пришли женщины и нарядили маму в то, что она сама приготовила себе «на смерть». Там же я нашла завещание, документы на хату и деньги на похороны. Да, мама не любила кому-то создавать проблемы и обо всем позаботилась сама.

Я часто думаю о ее последних словах. Это же она подала мне знак! Все так и есть, как рассказывают: когда человек уходит из этого мира, за ним приходят умершие родственники, самые дорогие ему люди. Ну, а что дальше происходит «там» — все знают. Знают, но не верят. И знакам значения не придают…

Перевод с белорусского автора.

Александр ЛИСНЯК



По делам нашим

Зрелость

Водили за нос гамаюны,
Мешая в истине прозреть…
Поэты не должны быть юны,
Поэту надобно созреть.

Какая легкая беспечность
У всех истоков, всех начал!..
Я сам вещал, что слышу вечность.
Когда услышал — замолчал.

Готовому навек проститься
Без слез и розовой слюнцы,
Смешны вещающие птицы
И женоликие юнцы!

На просвет

Эта старая лживая весть,
Словно ворон, над нами кружит:
Испокон нам мешает расцвесть
То монгол, то германец, то жид.

А взглянув сквозь стеклянное дно,
Дальше видим на пьяный просвет
И кумиров своих заодно.
А за ними — треклятый сосед…

Есть народ.
И все сущее в нем!
Полно тешить себя лабудой.
Кто мешает огню быть огнем?!
Что мешает воде быть водой?!

Тост о тостах

Чем больше пьем мы за здоровье,
Тем чаще торжествует хворь.
И, немощных, у изголовья
Пасет нас кровожадный хорь.

Вот-вот — и все мы станем пищей!
Уже на помощь не кричи,
Когда возник кровавый хищник
На месте ангела в ночи.

Но тосты (все мудрей и краше)
Уводят вновь от бытия.
Ужели то судьбина наша,
А каждый тост, как лития?..

Чтоб одолеть свои недуги,
Чтоб не кормить собой зверье,
За Беларусь
Не пейте,
Други,
А помолитесь
За нее!

По делам нашим

Тягостен, тягостен этот позор —
Жить, потерявши царя!

Николай ГУМИЛЕВ

Государь, боярин, князь и прочие…
Чуть не каждый из когорты той
За народ, за веру да за вотчину —
Страстотерпец, мученик, святой!

Посмотри, халдей, с времен безбожия
На своих вождей и ужаснись —
На иконы вовсе не похожие,
Над тобой до неба вознеслись.

Государства — ниже всякой критики.
Жизнь — хоть синим пламенем гори.
Вот когда б исчезли все политики
Да пришли б на смену им Цари!..

Только чую жабрами и фибрами,
Хоть кричат во мне душа и плоть:
Мы достойны всех, кого мы выбрали,
Коль убили тех, что дал Господь.

Под Лениным

Баталия вспыхнула остро
Среди беззаботных внучат —
По бронзе рукастого монстра
Снежки беспрестанно стучат.

Еще бы вчера!..
Да за это!..
Как весело деткам, смешно…
Безумная песенка спета,
Расстрельное время прошло.

Но вырастут детки, и снова
Восстанет кровавая ложь.
Так будет.
И очень хреново,
Что все мы без памяти сплошь.

Пограбит толпа, полютует,
Конечно, порежет лишка…
А правда — всегда торжествует…
Не громче удара снежка.

Город мертвых

Письмо из Воронежа

Поверь мне, брат,
Коль ты веселый нравом,
Тебе никто в сем городе не рад.
Здесь правит бал провинция по праву —
Вороний город любит тлен и смрад.

Здесь жизнь сама
Похожа на отстойник.
Здесь нет теней,
Здесь даже не следят.
Что ни писатель, то живой покойник.
Зайдешь в журнал — там мертвые сидят.

Боязнь живых на грани паранойи,
А гнусь во всех молекулах крови —
Обходят этот город стороною
Джек-Потрошитель, Дракула и Вий.

Не ко двору здесь ни жара, ни стужа.
И люд все больше на одно лицо:
Здесь мертвых славословят,
Мертвым служат,
Рожают и лелеют мертвецов.

А для других сплетают петли туго —
Другие на особенном счету.
И покидают город друг за другом
Кто в мир иной,
Кто — лишь бы за черту.

Поверь мне, брат,
Червей и тлю здесь множат.
Здесь тленом даже небеса разят.
И если так пойдет, то, статься может,
Россию трупным ядом заразят.

На пороге ада

…а город подумал — ученья идут.
Песня

Небо размололи жернова,
Разметали тишину конкретно…
Пожелтела даже трын-трава.
Детский лепет перед ними Этна.

В молниях ревущих странных тел
Жизнь теряет ценность и значенье.
Я в ученье верить бы хотел,
Да какое, на фиг, там ученье!..

От поделок адовых стальных
Не смолкает гром в просторе синем.
Наши — в небе!
Прочих-остальных
Захимичим и закеросиним.

Бабушка оглохшая, шепча,
Денежку на хлебушек считает…

Сын-то вырос.
Лупит в жизнь с плеча:
Водку пьет и в небесах летает.

Друзьям

Ничтожно наше бытие!
И ты один лишь знаешь, Боже,
За что так взъелись на нее, —
Но Землю люди уничтожат.

А нам дождаться не дано
О тех событиях известий.
Вот потому друзья давно
Бродяжат тропами созвездий.

Там смыслы сущего лучат
Любая капля и пылинка.
Там рядом с ангелом звучат
То юный Лермонтов, то Глинка.

И я недаром посетил
Мир, где реальность неприветна:
Погаснут тысячи светил
И лишь гармония бессмертна!



Ирина ШАТЫРЕНОК

Дом и двор

Отрывок из повести

«Мы ўсе Жолткі»

Новая семья заселилась неожиданно. Как-то поздним майским вечером во дворе углового дома появился усталый мужичок крепкого вида, невысокий, широкий в плечах, темно-русые волосы тронула ранняя седина. Плечи мужичка оттягивал тяжелый мешок, в руках — какие-то котомки, корзина. За ним плелась моложавая невзрачная баба в стоптанных ботинках, темном платке, платок сбился с головы на плечи, за ушами из тощей косы светлым пухом разметались волосы. Баба прижимала сверток с грудным младенцем, за длинную юбку матери несмело держался белобрысый мальчонка дошкольного возраста, круглая голова коротко острижена, худосочный, золотушный, без детского любопытства в глазах.

— О, гляньте, бабы, явились не запылились, торбэшников нам только не хватало, — нахально ойкнула Нинка Соколова, бывалая проводница. — Мы таких гоняем по вагонам, они билеты не имеют моды покупать, зайцами катаются.

— Не, Нинка, это к нам новые соседи заселяются, — вставила слово Тамарка-швабра. — В двенадцатую, на втором этаже, над моей комнатой. Ревизор-туберкулезник Жидок съехал в теплые края, говорил мне: отчалю к морю. Ему группу дали, комната освободилась.

— Ты, Тамарка, все переврешь, не Жидок, а Житко, и не по болезни, а на пенсию вышел, — возразила грузная Паша, тут же легко вскочила с лавочки и двинулась навстречу новым жильцам. Все ее внушительные женские габариты, тяжелая необъятная грудь и такая же тяжелая корма держали в устойчивом равновесии, мужской взгляд довольствовался натуральной мощью, а злое женское словцо замирало, не успев слететь вместе с шелухой семечек.

— Иди, иди в первый подъезд… Мне домоуправ сказал про вас, комната пустая, ключи на гвоздике, вода холодная, туалет общий, угловая, зато два окна, — Паша с достоинством просветила новеньких жильцов, оценивая прокурорским взглядом их бедные пожитки.

Мужик снял кепку с ломаным козырьком, утер рукавом потный лоб и хмуро, без желания понравиться, представился:

— Мы ўсе Жолткі, з вёскі Жолткі, я — Чэсік, працую тут рабочым у дэпо, гэта мая жонка Марыля, сынок Юзік і малы Тадзік.

На будущих соседок он смотрел напряженным взглядом, говорил тихо, неуверенно, крепко напирая в словах на твердые звуки и звонко дзекая. Получалось у него не по-здешнему, с каким-то легким посвистыванием.

У стола крутился малой Петька Удод, он с любопытством прислушался к разговору взрослых, хмыкнул, подтянул повыше резинку длинных штанов,

доставшихся ему от старшего брата, и юркнул в заросли палисадника. Там в заборе был лаз на территорию взрослого общежития, обсаженного вдоль забора стеной густой сирени. В дальнем углу ребята устроили себе лежбище, соорудили что-то вроде зеленой живой палатки и вечерами резались в карты на деньги.

— Пацаны, к нам приехал… — Петька задыхался от смеха, — к нам приехали… юзик и тазик.

— Кто, кто, какой гузик, какой тазик? — с ухмылкой переспросил Генка Шпала. — Говори понятно.

— Я и говорю, приехала деревня, — весело кривлялся Петька, повторяя: — Мы все Жолтки, з вёски Жолтки, Юзик, Тадзик…

— Короче, дзярэўня. Играем дальше, мне ваши юзики-гузики как-то мимо, — лениво повел плечом Леха Марковский, мельком заглядывая в раскрытые карты татарского сына Шурки Камчурова.

Жолтки ни с кем дружбу не заводили, сближаться не стремилась, жили замкнуто, своим домом, почти нелюдимо. Чесик рано уходил на работу, возвращался поздно, за столом не снимал рабочую робу, точно как дежурный пожарник ждет срочного вызова. Синяя куртка и замасленные черным мазутом штаны были прожжены во многих местах, жена их латала как могла. От мужа несло паровозным дымом, угольком, мазутом.

— Чыгунка, — вздыхала Марыля.

Сама Марыля нигде не работала, во двор почти не выходила, громко голоса не подавала, быстро глянет на своих детей из окна, и те с полувзгляда ее понимали. С раннего утра шла она на общую кухню, где выбрала себе местечко между двумя столами у открытого окна, что-то перебирала, гречку или горох, чистила чугунную сковороду, мыла бутылки от молока картофельными очистками. То и дело что-то высматривала в подвижном небе с текучими облаками, крепко поджав губы, прислушивалась к звукам на улице: вот городской автобус проехал, подскакивая на дорожных колдобинах, прогрохотал грузовик после него медленно оседает сизое пыльное облако. Керосинка наконец-то заявилась. Керосинка — телега с оцинкованной бочкой, запряженная смирной старой конягой, встала аккурат под ее кухонным окном, пора Юзика послать в очередь.

— Юзик, хутчэй бяжы за газай, — зовет сына, высунувшись по грудь из окна, под высоким тополем людская очередь уже растянулась длинной змейкой.

Юзик крутит стриженой головой, на лбу чубчик, похожий на приклеенный кусочек светлой кисточки, увидел лицо матери, радостно вздохнул и зажал между ног видавший виды алюминиевый бидончик с мятыми боками.

Марыля на кухне не скучает, стряпает какую-то простую еду, в чугунке варится картошка «в мундирах».

— У лупінах бульба смачней, мае дзеці не пераборлівыя, не гарадскія… — спохватилась — и снова рот на замок.

Жарит на единственной сковороде в своем хозяйстве желтое, ёлкое сало, добавит туда же кислой капусты — и весь обед. После готовки привычным жестом смахнет со стола в пригоршню кусочки хлебной горбушки, сухаря, сахара, тыквенные семечки, припрячет в карман. Привычка сберегать кусочки осталась у Марыли с голодного детства, после войны, она порой и не замечала, как машинально припрятывает остатки еды. О себе забывала, что-то отхлебнет мелким глотком, незаметно откусит, для себя жалела, а за другими любила наблюдать, как люди жадно, в охотку едят. Что на себя тратиться, на всем надо

экономить, приехали в город денег заработать, стать на ноги. «Малого трэба ўладкаваць ў яслі, пайду працаваць, хоць куды, абы капейчыну ў хату…»

Осталась Марыля сиротой, родная тетка пристроила ее в соседнюю деревню в няньки. У молодой хозяйки двое детей, мальчики-погодки, хозяйство — корова, овечки, гуси, а здесь послушная девочка, еще подросток, готовая работать за кусок хлеба и стакан молока. В семнадцать лет Марыля затосковала, захотелось в клуб на танцы, к молодежи, а у нее один ребенок на руках, другой в ногах, ночами не спит, качает колыбель. Попросила хозяйку:

— Можна мне пайсці на танцы? Там музыка, весела…

— Хуткая якая! У чым пойдзеш, у цябе ж няма добрай сукенкі, — усмехнулась хозяйка.

Марыля промолчала, не решилась спорить, а так хотелось попросить денег на обновку или шелковую блузку с ее плеча. Хозяйка старше всего на пару лет, а шкаф ломится от одежды, плотно висят наряды, юбки, платья, стоят новые сапожки. Денег у Марыли нет, учиться уже поздно, а так хочется надеть красивое платье с белым воротничком. Никто не заступится, тетке не пожалуешься, та сердито цыкнет и скажет одно — «цярпі».

Но Марыля все же осмелилась, выбрала момент, когда хозяйка была в хорошем настроении, несмело попросила:

— Мне б хоць якую капейчыну ад вас атрымаць…

Сжалилась над ней хозяйка, имела свой интерес. Где найдешь дармовую няньку, услужливую, благодарную. Подарила штапельное платье в блеклую сине-серую клетку, еще из девичьего гардероба, после родов стало тесным. Марыля причесалась, умыла лицо пахучим туалетным мылом, заколола в косу перламутровый гребешок, полетела на крыльях субботним вечером в клуб. Там ее Чесик и встретил. Стоит девушка у стены, щеки горят брусничным пламенем, ресницы опущены, слово боится сказать.

Чесик только неделю назад вернулся из армии, полный дембель, гимнастерка под кожаным твердым ремнем, начищенные сапоги скрипят, коротко стрижен, густо полит одеколоном. Марыля вдохнула в себя от солдатской ношеной гимнастерки запах крепкого мужского одеколона, захмелела, голова закружилась, так и влюбилась.

Вернулся молоденький солдатик домой, а в хате перемены, мать-старуха отошла от дел, болеет, все в свои руки взяла старшая сестра Стася.

— Маці адпрацавала, ёй цяпер месца за печкай, — заявила сестра, грозно посмотрела на своего невидного муженька — ростом не вышел, тот виновато втянул голову в плечи, «баба ваюе, лепш прамаўчаць».

— Вы тут неяк самі… а я — пасмалю папяроску, — и вышел из хаты во двор.

— Ну, што табе, брат, тут рабіць, у мяне сям’я, трое дзяцей, і ўсім цесна, куды прывядзеш жонку, двум бабам у адной хаце не жыць, будзем лаяцца за кожную анучу, лыжку, — заскулила Стася, пряча глаза, тяжело задышала, готовая ко всему, ожидала услышать упреки.

Чесик ничего в ответ не сказал, выдержал паузу, пошел следом за смекалистым швагером на крыльцо. Голая, поклеванная курами земля, покосившийся забор, старая яблоня, от долгой жизни в тени дома ствол дерева выкрутило, кривые ветки надломились. Посеревшие от дождя и времени бревна дома, подслеповатые окошки, низкое крыльцо, лавка у калитки — все смотрело на Чесика с упреком и тоской.

— Добра, радня, пажыву да вясны, агледжуся, мне ад вас нічога не трэба,— завел разговор с сестрой вечером.

Сестра, довольная выгодной развязкой, мигом захлопотала, закрутилась юлой, не жалела припасов, суетливо бегала от печки к столу, от стола к печке, радостно хлопочет, напевает, ласковая, приветливая, принесла из погреба кусок копченого сала, кольцо красной домашней колбасы, миску соленых огурцов, моченых яблок, горшочек топленого масла, нажарила яиц полную сковороду, из буфета достала бутылку самогонки.

Старуха-мать что-то хотела сказать, вздохнула, заохала, перекрестилась, но Стася просверлила ее своим острым, быстрым взглядом, и та притихла, катая пальцем по столу хлебный мякиш.

Потом Марыля не один раз упрекнет мужа: нельзя было так быстро сдаваться.

— Усё Стаська загрэбла, зараза, а твая частка дзе, а? Яе жаба задушыла, а ты што, няродны сын! Бацькоўская частка была? Была… а як жа, не сірата мо, за домам яшчэ моцная лазня стаяла, трэба было будавацца і там жыць. Стасі спалохаўся? Усё загрэбла, і зямлю, і мэблю, а куфар з адзеннем, насценны гадзіннік, посуд, а колькі прылад у пуні засталося...

Чесь отмалчивался, ждал, пока из Марыли выйдет боевой дух. Ее не надолго хватило, устало замолчала. Потом они долго сидели в сумерках, не зажигали свет.

То давнее, теплое чувство осталось в прошлом, в далекой деревне. Нет родительской хаты, нет старой кривой яблони, пригорка, с него деревня видится как в материнском лоне, за сараями, до самой реки, стелется просторный луг, весной вода прибывает под самый забор.

Чесик первым уехал в город, оставил Марылю с детьми в отцовском доме. Беременная Стася сначала не хотела и слушать, самим тесно, строиться надумали. Иван натягал бревен из лесхоза, ему как лесничему выписали, к следующей весне вторую половину дома пристроим, тогда, пожалуйста. Стася сопротивлялась, но брат написал ей отказную от дома, согласилась, пустила невестку с детьми на птичьих правах, отвела им угол за печкой. Где-то в душе у Стаси шевельнулось чувство, похожее на жалость к брату, к невзрачной тихоне-невестке, стало стыдно за себя, но она подавила в себе эту странную слабость, смахнула рукой слезу.

— Трэба сваіх дзяцей падымаць, ты, брат, пра сваё турбуйся, такое жыццё, і не я яго прыдумала, — сказала без гнева, задумчиво.

Бледные щеки Марыли зло запылали.

— А ты не ведала, хто я, Марылька, так ведай — залоўка, — Стася пыталась сказать как можно свирепей, надула щеки, глаза вытаращила, — залоўка ёсць мужава сястра, не чакай ад яе дабра, клікалі б даброўкай.

Марыля на всякий случай промолчала, сглотнула горькую слюну, отвернулась к окну, чтобы золовка и свекровь не видели ее повлажневших глаз.

— Ты ўжо, Марылька, пацярпі, забяру вас хутка, начальнік абяцаў пакойчык, — успокоил жену Чесь. Знал въедливый характер сестры, на правах хозяйки дома она ни с кем не церемонилась, даже с матерью, всеми командовала.

В городе семья трудно приживалась, Марыля на все смотрела с любопытством, но отмалчивалась. Знала: на коммунальной кухне ее приватный уголок у окна между двух чужих столов, здесь ее никто не сдвинет, не обидит, всем своим видом заявила: «Мой табурэт, мой стол».

Но ели Жолтки не на кухне, а у себя в комнате, тихо скрываясь за дверью, оставляя двум другим хозяйкам коммуналки по-хозяйски усаживаться за свои столы. Для одной хозяйки кухня вместительна, но для трех женщин малова-

та. Острая на язычок и сухая в кости нормировщица Зина, жена машиниста Арехвы, вечером неодобрительно размахивает в воздухе накрахмаленным полотенцем, приговаривает:

— Скорее бы получить собственную квартиру, надоело, всю кухню провоняли кислой капустой, ничего больше не варит, какие-то дикие люди, в магазине один хлеб покупают…

— И соль, соседка. Что ты хочешь, деревня есть деревня, — соглашалась с ней бывшая проводница, одинокая бездетная Нинка Соколова, презрительно наморщив свой вздернутый носик. На кухне Нинка устроила что-то вроде туалетного столика и по утрам прихорашивается, густо пудрится, жирно красит черным карандашом вздернутые, тонко выщипанные бровки, щедро льет на голову и в подмышки духи «Красная Москва».

Она давно разменяла сороковку, медленно увядает, сильно благоухает подарочными духами, живя тайной надеждой встретить положительного, непьющего мужчину, желательно с кожаным желтым портфелем. Точно такой когда-то давно забыл в ее вагоне один с виду очень важный пассажир. За портфелем никто так и не вернулся, теперь Нинка хранит в нем фотографии, письма, документы, поздравительные новогодние открытки.

Все ее подружки по работе, товарки-проводницы, давно вышли замуж, разъехались, шлют ей счастливые открытки. Такие же дурацкие поздравления с приветами из дальних концов страны она получает от случайных попутчиков, в командировках мужчины все свободные, неженатые. Как много они каждый раз обещают одинокой женщине, но только сойдут на платформе вокзала Москвы или Смоленска, поминай как звали.

Нинка часто перебирала содержимое желтого кожаного портфеля. Перечитывала открытки, подписанные фотографии и не верила ни одному слову. «*Если встретиться нам не придется, коль жестока такая судьба, так пусть на память тебе остается неподвижная личность моя*».

Ага, как же, как же, одни красивые слова.

Или вот еще. «*Пусть эти мертвые черты порою смотрят, как живые, пусть напомнят они вам, где познакомились впервые*». «*На память дорогой Нинуле от Васи. Лучше вспомни и взгляни, чем взгляни и вспомни*».

Нет, не вспомнила, взглянула и так и сяк, толку никакого… Хоть убей, не помнится, что за зверская физиономия у морячка с Балтийского флота?

С каждым годом на лице Нинки увеличивались слои розовой пахучей штукатурки и вылитого количества духов и одеколона в районе подмышек, но счастья не прибавлялось.

Марыля по утрам устраивается на своем любимом месте у окна, брови сдвинет, насупится, молчит, словно натянув на себя непробиваемый бронежилет, ни на кого не обращает внимания, что ей недовольные соседки по коммуналке, принципиальная Зина Арехва и ароматная Нинка Соколова, у Марыли свое, законное место.

Она часто стирала на кухне в детском корытце, сильно выкручивая большими рабочими руками белье, выносила сушить его на чердак. Легко взлетит по высокой лестнице под потолок, откроет люк и с какой-то ожидаемой, скрытой ото всех радостью останется на чердаке одна.

После домашних дел можно позволить себе немного посидеть на деревянной балке под крышей. Пристроится у слухового окошка, подолгу смотрит на проплывающие облака. Небо и облака везде одинаковые, и в городе, и в деревне. Под нагретой за день крышей любовно воркуют голуби, в углах чердака скрываются сумеречные тени, видно, как на свету медленно оседают

сизые птичьи перышки, поднятые сквозным ветерком или крыльями испуганных птиц.

Марыля бережливо носила одну длинную юбку из плотного сатина, не снимала с головы свой единственный темный платок, напоминала в нем молчаливую монашку. От частых стирок платок полинял, мелкие цветочки по полю выгорели, но для нее память: Чесик подарил, когда Юзик родился. По своей комнате Марыля ходит простоволосая, босая, в серой домотканой юбке из полотна, что на станке давно наткала ее бабка, тетка подарила на свадьбу, в белой блузке, сама вышила узор крестиком, ступает по половицам бесшумно, на улицу выскакивает в старых ботинках на босу ногу.

— Марыля, ты еще женщина молодая, а как одета, глянь на себя, старуха. В какой монастырь собралась. Давай тебе волосы подстригу, совсем другой вид, — предложила как-то на кухне Нинка.

Марыля мотнула головой, быстрым движением руки отряхнула подол, подхватила пустой таз и исчезла за дверью своей комнатухи.

— Ой, Нинка, Нинка, добрая душа, ты еще этой деревне гардероб свой предложи, она же дикая, как из лесу, с нами молчит, а в комнате что-то все шуршит, шуршит… Живут, как мыши, — вздохнула соседка Арехва. — Что они едят, сама видишь, ни тебе супчика, ни рыбки, все всухомятку.

— А ты хочешь, чтоб у всех было образцово, как у тебя, тарелки, ложки, вилки и мельхиоровый половник в борще, ты ж по-другому не можешь, подчеркиваешь: ах, ах, какие мы благородные, у нас все как у людей, приборы, салфетки, да еще и дорогой половник-полковник… Где-то мой полковник, — добродушно засмеялась Нинка.

— Пусть знает, хоть чему-то учится, что в том дурного, — Зина пропустила мимо ушей намеки Нинки в свой адрес.

Зине Арехва было чем гордиться, после получки бегала по комиссионкам, выглядывала, приценивалась к хорошим вещам.

— Да, не деревянными ложками щи хлебаем, что такого! Мы работаем, у мужа на шее не сижу, а тут барыня выискалась, не работает, в баню не ходит, брезгует общей баней, в тазу у себя в комнате моется, ты за нее не заступайся, Нинка, еще вшей и блох разведет!

— Ну, ты хватила, соседка, — не удержалась Нинка, — женщина она чистоплотная, каждую неделю стирает постельное белье, видела, не надо наводить тень на плетень. Правда, у нее лишней смены нет, это точно, высушит, тут же прогладит. Что диковатая — есть такое, боится нас, баб, а с ней надо по-хорошему… подарю-ка ей свое зеркальце и пудру, поговорю по-женски, то да се, поймет.

— Ты ее лучше пристрой в резерв проводников, смазчицей какой, будет при деле, скорее пооботрется среди людей, — советовала Арехва.

— Может, и так, поговорю с Марылей, — согласилась Нинка, задумав что-то свое.

Через месяц Марылю оформили ученицей, приставили к женской бригаде смазчиц. Новенькой выдали форму из грубой шерсти, штаны и куртку, черные ботинки на тяжелой подошве, рукавицы, тяжелую масленку с длинным носиком. Ученица обрадовалась рабочим обновкам, все ж не свое рвать, теперь бегала, согнувшись в три погибели, за старшей смазчицей — проходящие пассажирские поезда стояли недолго, надо успеть за время короткой стоянки смазать под вагонами все колеса. Масленка неподъемная, смазка быстро заканчивалась, Марыля должна таскать с пункта маслораздачи на себе полную емкость. Очень уставала, приходила домой чуть живая, ноги, руки дрожали от напряжения. Женщины из бригады после смены шли в душевые,

смывали с рук, лица пятна солидола, жирную мазь, по виду напоминавшую жидкий шоколад.

Со смены домой Марыля, обессиленная, плелась через пешеходный мост одна, вперед себя пропуская товарок-напарниц.

Мост вечером и особенно ночью ее завораживал, пугал и притягивал. Хочется поскорее пробежать через этот проклятый мост, кажется, он все время качается под ее ногами. Марыля с детства боялась высоты, а там, внизу, зияет черная пропасть, далеко над городом светятся огоньки, а в небе плывут звезды. Воздух прохладный, в нем перемешаны запахи металла, мазута, пыли, паровозной гари. Ей чудится, что там, под мостом лежит огромное и страшное чудовище, ворочается, тяжело дышит, поджидает ее, бедную, пугливую.

Только что прошел паровоз, он урчал, пыхтел, как живой, остановился вдруг под мостом, ночной воздух окрасился дымом мертвенного пепельного цвета. Внизу что-то тревожно ухнуло, из черных, заклепанных паровозных боков с облегчением вышел горячий пар, его клубы плотно окутали фигурку Марыли, обволакивая ее и мягко раскачивая. Стало страшно, нет опоры, сейчас под ногами разверзнется бездна, она так боится ее страшной глубины — еще провалится вниз. Сколько раз во сне падала, летит с огромной высоты, вот-вот разобьется, дух захватывало, сердце леденело и замирало.

Марыля крепко ухватилась за холодный металлический поручень, голова закружилась, глаза закрыла. «Ад бяды бягу, у прорву ўпаду», — прошептала женщина, отгоняя нехорошие мысли.

Густой дым развеялся, остатки туманных клочьев веером отнесло в сторону, сердце перестало отчаянно колотиться. Сейчас она медленно, очень осторожно сделает первый шаг, нащупает твердый настил, глубоко вздохнет и пойдет, пойдет уверенно вперед. Рядом дом, вон видна его высокая крыша, надо спокойно, не торопясь спускаться по крутой лестнице вниз, ступенька за ступенькой, вниз, вниз...

Пришла домой, в темной комнате тихо, присела на единственный стул, он под ней заскрипел. В домашнем тепле почувствовала, как замерзла, влажная рабочая куртка пахла осенью, дождем, опавшими листьями и травой. Осторожно сняла рабочую одежду, из кармана на пол выпал сигнальный флажок, от его деревянного стука проснулся Юзик.

— Мама, ты прыйшла?

— Прыйшла, а куды я дзенуся, спі.

На столе стоит чайник, отпила из носика воды, все никак не могла привыкнуть к ее безвкусью. Вода чуть пахла хлоркой. Пила жадно, все во рту пересохло. Осторожно легла на кровать. Болели спина, руки, шея, гудели ноги. Смотрела пустыми глазами в потолок, вверху дрожали живые тени от уличного фонаря. Ложка в граненом стакане тоненько откликнулась мелким, дребезжащим звоном. «*Чэсік у начной змене... Маскоўскі прайшоў... роўна па раскладу...*» — прошептала и закрыла усталые глаза, тут же провалившись в глубокий сон.

Хлев

Сараи в городских дворах имелись, но в них не принято было держать домашнюю живность. Мужья-машинисты получали хорошие зарплаты, содержали семьи, почти все деповские жены не работали. Но осталась деревенская тяга к земле. Недалеко от железнодорожной насыпи за каждым семейством числился клочок земли для огородов. В сараях хранился рабочий

инструмент, рыбацкие снасти, ненужный хлам. В земле на лето устраивали холодные погребки, держали картошку, овощи, банки с вареньем.

Одна лишь Воронина завела в своем сарае несколько пестрых курочек, муж соорудил птицам насесты, выгородил сеткой выгул-пятачок; под сиплые вопли бравого красно-черного петуха с рыжим хвостом куры до вечера озабоченно рылись в земле. По утрам Воронина выпивала одно свежее яйцо, из двух взбивала мужу воздушный омлет, яркий желток четвертого шел на укрепляющую маску для волос.

Городским родня из деревни привозила осенью картошку, капусту, яблоки, к Новому году деревенские снабжали русских зятьков домашними колбасами, салом, свежим мясом, самогонкой, медом и другим гостинцами. Весь подъезд заполнял аппетитный дух шкварок с картофельными блинами.

Зятья летом брали с собой инструмент и уезжали в отпуск, помогали деревенской родне перекрыть крышу, подновить в доме гнилые венцы, отправлялись на сенокос, на уборку картошки.

— Холодильник нужен позарез, вот Роза Борисовна уже купила, доставили в лучшем виде, говорит, очередь по карточке подошла.

— Ага, слушай ты больше Розу Борисовну… ее Изя на зерноскладе большие дела делает, — оживленно присвистнул Полушпалок.

— Большой начальник, пошли по домам, — сказал в заключение старый Кустинов, сгреб костяшки домино в коробку.

— Или в магазин? — с надеждой в голосе спросил Полушпалок.

— Такой малый, а пьешь как насос… — удивился седой Кустинов.

Вечерний воздух густо синел, в окнах квартир зажигался свет, любители доминошных баталий расходились, выкуривая последние папиросы. Наступало время посиделок для подростков.

Чесик последним ушел со двора, но сначала проверил замок, как раз сегодня накупил в магазине скобяных товаров. Выбирал долго, по-хозяйски, прицениваля, вертел в руках, взвешивал. Остановился на тяжелом замке из чугуна с толстой дужкой, похожем на бульдожью морду. В ключ втянул через круглое ушко веревочку, повесил себе на шею, второй отдал Марыле, а третий, запасной, положил на дно металлической коробки с крышкой, там хранил разную мелочевку: старое лезвие от перочинного ножа, отвертку, моток проволоки, сапожные маленькие гвоздики, дратву, увеличительное стекло, кусок наждачной бумаги.

Марыля теперь была занята на работе, в загончике сарая хрюкали два пятнистых поросенка, они все время просили есть, беспокойно бились мягкими пятачками о перегородку. Утром и вечером она таскала в сарай ведро с теплым пойлом, туда шла свежая трава, сваренная картошка, хлеб, распаренная пшенка. Снимет с плиты горячее пойло, заправит молочным обратом, потолчет картошку в шелухе,

В полдень в сарай заходил Юзик. Поросята слышали его шаги, далеко чуяли запах обеда, начинали повизгивать. Мальчик неторопливо входил в сарай, разговаривал с кабанчиками, успокаивал их, с трудом поднимал ведро и неловко выливал помои в корыто. Кабанчики быстро успокаивались, дружно чавкали, а мальчик пристраивался у наблюдательного пункта — у щелястой доски.

Главное для Юзика — поскорее пересечь двор, чтобы не встретить Петьку Удода или Генку Шпалу, не пропустят. Один раз Юзик тащил ведро, Генка равнодушно сидел к нему спиной, играли за доминошным столом в карты. Юзик шмыг мимо на всей скорости, а парень ему ногу и выставил, завалил

Юзика на землю. Ведро со свинячим пойлом вывернулось, пыль поднялась облачком. Под общий смех Юзик стал неловко и торопливо подбирать с земли куски картошки, свекольные ботвинья, листья крапивы.

— Гузик, Гузик, прыг да скок, завалился на бок! В грязи живот и лоб! Так тебе и надо, смотри под ноги, — дразнились дети.

Тяжело дыша, Юзик подхватил ополовиненное ведро и скрылся в сарайчике, смех, чужие лица, ненавистный Генка, злой Петька Удод, все остались далеко, сюда долетали их приглушенные голоса. Но здесь было тихо, надежно, пахло сеном, сквозь щели пробивался солнечный свет. Юзик перелил остатки из ведра в корыто, прижался лицом к узкой щелке, отсюда хорошо просматривается часть двора, виден низкий столик с лавками. Вот в подъезд легкой походкой прошла высокая худая Наташа Марковская, в руках у нее черный футляр со скрипкой. Она вежливо поздоровалась с Розой Борисовной, что-то крикнула брату. Из-за угла показался пьяненький старый Шалап, он покачивался, грозил пальцем. Генка уже выше отца, увидел родного благодетеля, выскочил из-за стола, взвалил его себе на плечо и потащил домой. Галка проехала на велосипеде, на ней синяя юбка и белая кофта с полосатым воротником-матроской. За Галкой неотступно следуют подружки, приставучая Ольга Попова и Таня Самуйленко, просят, чтобы Галка их по очереди покатала. Из подъезда вышла задумчивая Люба Соловьева, в руках несла толстую книгу, за ней увязалась младшая сестра Ира с мячиком.

Мальчик-дичок жил во дворе, сторонясь детей и взрослых, приспособился наблюдать за жизнью двора из сарайчика.

Мать скоро нашла Юзику новое дело.

— Адзін раз завяду да малочнага цэха, будзеш дарогу ведаць, тамака людзі купляюць малочны адгон, пяць капеек за літр. Нашы парсючкі добра будуць расці.

Через день он уже самостоятельно отправлялся с ведром к воротам молочного цеха. Для взрослого человека путь близкий, для ребенка — дальний. Сначала надо пройти в конец улицы, выйти к переезду, миновать шлагбаум, внимательно оглядеться по сторонам, не видно ли на горизонте приближающегося поезда. Юзик спускался с горки, пыля белесым облачком песка и набивая подошвы сандалий мелкими камешками. Дальше тропинка шла вдоль невысоких заборов, за ними прятались неказистые домики. Хозяева красили их весной зеленой и синей краской. Одинокая автобусная остановка почти упиралась в дверь с окошком молочного цеха. Сам молокозавод находился на другой стороне города, рядом с железнодорожными путями пристроился один цех.

В полукруглое окошко Юзик протянул завернутую в обрывок газеты мелочь, дверь открылась, и мальчик отдал свое ведро. Подождал, вскоре женщина из окошка выставила полное ведро прозрачной, голубоватого цвета жидкости, напоминавшей молоко, разведенное водой.

Обратная дорога казалась ему в два раза длинней, ведро наливалось тяжестью, металлическая ручка впивалась в ладони. Недавний легкий спуск превращался в длительный подъем, Юзик пыхтел, часто останавливался, снова шел. Один раз ему помог какой-то дядька, он легко поднял одной рукой ведро и донес его до самого шлагбаума.

— И кто тебя отправляет из дома, такие тяжести таскаешь, лучше бы в футбол играл.

Юзик не ответил, обернулся, спина уже удалялась, задумался над новым словом «футбол», так в раздумьях незаметно притащился домой.

— Труженикам — большой привет, — ухмыляясь, окликнул его Генка Шалапов, в комичном поклоне снимая кепку.

— Гузик, отдохни, никуда твои кабанчики не денутся, иди сюда, цып-цып-цып, — парень дурашливо поманил Юзика пальцем.

Юзик остановился, недоверчиво посмотрел в сторону Генки, до подъезда еще далеко, если бы не ведро, успел бы добежать, но Шалапов странный тип, его многие во дворе обходят стороной, не водятся, знают его воровские повадки, пальцы у него тонкие и ловкие, он все время ими что-то перебирает, сейчас мнет в руке теннисный мячик.

— Гузик, чего остолбенел, язык проглотил? Смелей, не бойся, не укушу. — Генка поманил мальчика, достал из кармана раскладной ножичек с зеленой ручкой.

— Хочешь?

— Не, не хачу… У таты… у бацькі ёсць, мне навошта.

— Сам ты вошь, — тихо процедил Генка, смерил взглядом тощую фигурку Юзика, вынул из коробка спичку и поковырял в зубах. — Ну, ну, сам прибежишь как миленький… ферштейн?

Юзик напрягся, чуя подвох, опасливо втянул голову в плечи и сделал несколько шагов вперед. На крыльце стояла Марыля, вышла встречать сына, не тащить же ему на второй этаж ведро. Маленькая женщина без возраста, со стороны сойдет за школьницу или за бабку, это как посмотреть. Лицо бледное, будто собранное в одну щепоть, губы плотно сомкнуты, смотрит по-птичьи зорко, вся нахохлилась, готовясь защищать своего сына.

Подняла руки, замахала, будто крыльями встревоженная птица.

— Пайшоў прэч, пусты абібок, зараз пугу вазьму, не чапляйся да майго сынка, ён малы, а ты лайдак, падшыванец… хадзі, Юзік, да мяне.

Двор жил своей обычной жизнью, старшие дети не замечали младших, отмахивались от них, как от надоедливых мух, им доставались подзатыльники, обиды, унизительные клички — Витька-каланча, Венька-веник, заяц-китаец, Лёха-бляха, Ванька-встанька. Младшие перенимали их привычки, словечки, хвастали друг перед другом успехами своих старших братьев и сестер. Но больших войн и недружелюбия не наблюдалось.

В тот год в школу Юзик не пошел.

Мечта

У каждого человека есть мечта. В детстве она видится близкой, только протяни руку и дотянешься, как до яблока на ветке. Но чем дольше живешь, тем заметнее мечта удаляется, превращаясь в далекое смутное облачко в летнем небе. Вот еще одно прозрачное облако, похожее на чистую льдинку, свободно перетекает из одной формы в другую, то ли перышко, то ли странная птица. Мираж исчез, растворился в небесной бездонной синеве без остатка. И была ли она вообще, бесполезная, смущающая душу мечта?

У Чесика тоже была своя мечта, маленькая, приземленная, но своя, родная. Он и в город перебрался, чтобы ее схватить за хвост.

Не руки у него — ручищи, большие, как кувалды. Сильно сожмет пальцы в кулаки — напоминают тугие боксерские перчатки. Без дела руки ему мешали, пудовые, хоть гвозди ими забивай. Шея в загривке бычья, хоть самого впрягай в хомут, такой упрется и потянет.

Простую, грубую работу, что попроще, делал легко, забить костыли в сваи под новый мост, рубить дрова, выкопать колодец, косить — одно удо-

вольствие, смотреть приятно, тугие мышцы на спине играют, перекатываются. Коня запрячь, нагрузить телегу сеном или дровами, лес валить, подставить плечо под бревно — это он может, безотказный, а вот простая, мелкая работенка, особенно тонкая, где требуется сосредоточенное напряжение, внимание, никак не получается. К технике, к механизмам особой тяги тоже не наблюдалось.

— Нязграбны ты мужык, Чэсь, не атрымліваецца ў цябе зрабіць нешта далікатна, — попрекала мужа Марыля.

В тесной комнатке ему не сиделось, воздуха не хватало, а на работе — приволье. Его участок дороги всегда в порядке, мастер поручит ему любую работу — выполнит охотно, старательно. И зимой, и в дождь, и летом Чесик ходит вдоль путей, в руках ящик с инструментами, по рельсам постукивает, гайки закручивает, свежий ветерок обдувает его лицо, загорелое, задубевшее от пота, солнца, пыли, силушки в нем через край.

Мастер участка Бубнов живет одиноко, вдовец, взносы собирает в парткоме. Присматривался к Чесику, прощупывал, чем дышит бывший колхозник, работник неплохой, а что у него на душе, непонятно.

— Ты особенно на гайки не наваливайся, знай меру, а то еще к черту сорвешь резьбу. Слушай, что я тебе скажу. Профсоюз тебе премию выписал за отличную работу, корреспондент приедет из газеты, ты уж постарайся, я за тебя все слова написал. Будут тебя фотографировать, так ты хоть по-человечески улыбнись, по-людски смотри.

— Не, я такі, як ёсць, не кабета, не дзеўка, што замуж хоча… Хай яны лыбяцца.

— На Новый год в клубе вечер, приходи с женой, всем детям подарки.

— Не, Пятровіч, не прыду. Няма часу, гаспадарка, бляха-муха, як чорт трымае, да і новага пінжака няма, а цукеркі забяру, дзякуй прывялікае.

— Ты свои хуторские привычки забудь, живешь в городе, а все по-деревенски и по-деревенски, какой-то ты негибкий, Чесь, пора уже привыкнуть, в городе все по-другому.

— Не, маё са мной застанецца, мне чужога не трэба, але і свайго нікому не аддам, такі я дурань… Позна мне мяняцца, дзеці няхай нешта выбіраюць, а я просты рабочы.

— Так-то оно так, но и с людьми надо как-то ладить, дружить, общаться, а ты окопался, как куркуль, это тебе не хутор — коллектив, понял? Тут мне говорили, ты сарай отгрохал, завел целый скотный двор, соседи жалуются. Во дворе люди клумбы делают, лавочки, песочницы, культурно хотят отдыхать. Так не пойдет. Пока устно предупреждаю: придет письменное заявление, персонально разберемся, — мирным голосом предупредил партийный казначей.

— Эх, няма чалавеку шчасця, начальнік, — вздохнул Чесик.

— Не вздыхай, а разумей.

— Уздыхаю, бо свайго не маю, — гнул свое Чесь.

— Надо подумать о твоей просьбе перейти на дальний перегон. Комнату придется освободить, переедешь в домик, работа там почти круглосуточная, но сам себе хозяин.

— Гэта добра. Мы з жонкай будзем даглядаць пуці, яна ў мяне ціхая, працавітая.

Чесик махнул рукой-кувалдой и пошел своей дорогой со своими мыслями, с ними он не собирался ни с кем делиться, тем более с мастером Бубновым. «*Грошы, прэмія — добра, але ж у іх сваё жыццё, у мяне сваё. Я ж у іх кампартыю не лезу, мне б свой маленькі куточак, месца стрэлачніка выслу-*

жыць, пасадзім бульбу, свой агарод... садочак, добры свіран пастаўлю, куры, гусі, можна і карову, каня добрага завесці, вазіла б Марыля хлопцаў да школы, эх, праўду бацька гаварыў — уцякай голы, бо абдзяруць...»

Мастер Бубнов долго провожал взглядом удаляющуюся фигуру Чесика, на ремне у него сигнальные флажки, в одной руке держит длинный молоток, в другой гаечный ключ, за широким плечом мешок с едой, идет себе привычным ходом, опустил голову, внимательно высматривает на путях, где просела шпала, надо посыпать, где ослабли костыли, и тут же покрепче приколачивает их к шпале. «*А в работе он злой... так и надо, пусть живет как хочет, работу свою делает хорошо, ну, темный человек, за копейку задушится, так то не по моей части*».

Вечерами Чесику не сиделось дома, он, как на железнодорожной насыпи, делал обходы ближних дворов, подходил к чужим сараям, беспокойно осматривался, что-то прикидывая в уме. Один раз приблизился к доминошному столику, здесь отдыхали после смены машинисты Иван Ухин, Николай Гоманюк, Александр Скуреев, подвыпивший Полушпалок, обсуждали ходы, делились табачком, ждали своей очереди.

Чесик постоял у стола, рассеянно послушал чужие разговоры, покрутил головой и продолжил в своем нетерпении кружение у сараев. Рядом с ним плелся Юзик. Отец что-то оживленно говорил ему, лицо его вдохновилось от разговора, забагровело, правая рука резко рассекала воздух, мальчик слушал рассеянно.

Чесик присел на чурку у сарая машиниста Николая Попова, поджидая соседа. Скоро тот появился, открыл замок, долго чем-то гремел внутри сарая, наконец вышел с двумя большими корзинами.

— Вот, собрался за грибами, поехали со мной, Чесь.

— Не, я такой справай не займаюся, з тых грыбоў грошай няма, а дзень дарма згублен, — отмахнулся Чесик и вдруг перешел на шепот, несмело спросил: — Можа, мне да цябе прыбудавацца, га?..

— Это как? — не понял простодушный сосед.

— Ну, да твайго хлява... Рашыў завесці кабанчыка, а можа, двух... як раз да Новага году буду з мясам.

— А мне что, ты ж не в моем сарае заведешь скотину, стройся.

Через несколько дней к стене крайнего сарая подъехал грузовик, выгрузил черные промасленные шпалы — ремонтировали соседний участок железной дороги, меняли шпалы. Чесик за две бутылки водки договорился с мастером. В одиночку вкопал столбы, таскал доски, камни, Юзик помогал отцу. На третий день отец поставил массивную дверь, она висела на черных петлях и тихо поскрипывала. Еще не было крыши, но двор с его обитателями и звуками уже остался за стенами сарая. Нагретые за день бревна сочились черной смолой, ладони долго не отмывались. Юзик хорошо видел всех, а его — никто.

Вот о стену дома лупит мячом белобрысый Санька Попов, скоро выйдет одноногая грузная старуха Яня, погрозит ему костылем. У Ворониной наседка высидела семь желтых цыплят, они пищат, вороватый серый бандюга кот Васька караулит у сетки крайнего цыпленка. Двух он сожрал на днях. Толстый увалень Камча тащится с речки, заметил хищную позицию кота, бросил пескарика. «Пшел, котяра, ешь дохлую рыбу».

Чесь ходит по двору радостный, что-то на глазок замеряет, маленьким подручным топориком делает зарубки, в карманах его штанов, в куртке полно гвоздей, даже во рту держит несколько блестящих гвоздиков, с удовольствием загоняя их в доски.

Участники доминошных баталий по-прежнему рубятся черными костяшками о стол, не скупясь на крепкое словцо, стол покачивается от их коротких ударов.

Игроки неспешно обсуждают затеянную Чесиком новостройку, ухмыляются, дают советы.

— Во мужик, как корячится, и чего ради, спрашивается? — подал сердитый голос машинист Борис Удовин, он собран, зол, на скулах играют желваки, сосредоточен на игре, сегодня ему не везет, уже проиграл кружку пива.

— И я того же мнения, скоро всем коммунизм построят, денег не будет, жить будем одинаково… и богато, — икнув, откликнулся красноносый Полушпалок.

— Пока твой коммунизм наступит, Чесик построит сарайчик, к нему веранду, балкончик, разведет под твоим носом частное хозяйство, — недовольно буркнул Кустинов, из-под очков он смотрит долгим взглядом на выросшую за неделю пристройку.

— Человек он тихий, газет не читает, приехал откуда-то с болот Полесья, никого не трогает, — заступился за соседа Николай Попов.

— Понятное дело, ты для него благодетель, а вот разведет твой Чесик у нас грязь, мух, антисанитарию, что тогда, куда навоз повезешь? — не выдержал Лёня Мартинский, еще не старый, а уже лысый, как голый шар.

…Ночью кто-то с мясом вырвал замок на дверце сарая Чесика. Амбарный замок болтался на одной клямке, кабанчики еще были теплые, но уже доходили. «*Атруцілі зайздросныя людзі, — вось табе і разжыліся, разбагацелі, — говорила Марыля. — Чужы нам горад, і мы яму чужыя*».

Чесик смотрел себе под ноги, а в груди жгло, хотелось что-то разбить, согнуть сильными руками, внутри стало пусто, боль росла, было тесно, как будто чья-то рука сжимала горячее взволнованное сердце. Он вышел из сарая, зацепил плечом косяк, гвоздь, давно хотел забить, чтоб ушел в доску со всей шляпкой, остро чиркнул по пиджаку, оставив дырку. «Цвік, бляха-муха, а-а». Брел тяжело, глаза застилала мутная, влажная мгла.

— А-а, чаго шкадаваць, — махнул рукой Чесик и побрел нетвердой походкой к орсовскому магазину через дорогу. Его немного шатало, ноги загребали придорожный серый гравий, в голове гудело.

Магазин тесный, на два отдела, в одном продукты, печенье, хлеб, крупа, в витрине-холодильнике молоко, развесное желтое масло, колбаса. В другой комнате, что без окон, полутемно, продаются напитки, водка, вино, пиво. После дневного света минуту привыкал к серому полумраку, долго рылся в карманах рабочих брюк, звенел мелочью, пересчитывал мятые рубли.

— Чего тебе? — хмуро спросила Ленка-продавщица.

Она не любила пустых разговоров у прилавка, говорила кратко, в дни получки и аванса ее «клиентами» бывали щедрые машинисты, под хмельком они сдачу не считали, покупали много, и ей что-нибудь перепадало.

— Дай мне што мацней, — выдавил из себя Чесик и посмотрел на Ленку недобрыми глазами.

— А ты у своей Марыльки спросил, она тебе разрешила гроши пропивать? — не оборачиваясь, презрительно бросила продавщица, не заметив, как у странного покупателя помрачнел взгляд. От козырька ли кепки, что отбрасывал тень на застывшее лицо, или от неуютного внутреннего состояния.

— Гарэлкі, — зарычал Чесик, — а-а, давай на ўсе грошы.

Он выложил горку мятых рублей, пристукнул тяжелой рукой по прилавку, прижав деньги ладонью, но тяжелый металлический рубль вдруг весело подпрыгнул, медная мелочь жалобно задрожала.

— Так бы сразу и сказал, вот тебе бутылка, и еще на чекушку хватит, — торопливо считала деньги Ленка.

— Давай яшчэ «Бураціну»,— буркнул Чесик.

— «Буратино» не завезли, есть лимонад и «Дюшес».

— Давай... «Дзюшэс». Што гэта?

— Напиток такой, вкус десертный, грушевый, понимаешь? Лимонад с лимонным вкусом. А грошей не жалко тратить на пустое?

— Не, не шкада, тут гарыць, — Чэсик постучал себя кулаком в грудь, — не разумею ліманадаў, я і лімонаў зроду не еў.

— Понятно, если горит, надо залить, иди, иди… своей дорогой, — Ленка-продавщица равнодушно повернулась спиной к беспокойному покупателю.

Больше Чесик не заводил кабанчиков, как-то его интерес к хозяйству сразу остыл, руки опустились, навалилась тоска, он маялся, не знал, куда деться в свободную минутку, в хлев не заходил, как отрезало. Крутился возле котельной, у магазина, у вокзальной пивной.

В сарае Марыля посадила на яйца коричневую квохтуху с серым хохолком, и вскоре та вывела крошечных желтых цыплят.

После работы у Чесика появилось свободное время, домой он не торопился, бездельничал, его походка стала расслабленной, с ленцой. Заходил в магазины, глазел на товары, ничего не покупал, в глазах его было пусто. Остановится у доски объявлений, пристроится к человеку, читающему газеты, заглядывает ему через плечо, интересуется, что пишут.

Он не понимал себя, своего нового состояния легкой свободы и внутренней пустоты, находил в этом какое-то облегчение. Поднимался на пешеходный мост, подолгу стоял, смотрел вдаль, провожал блестящими глазами приходящие к вокзалу поезда, наблюдал за прогонами товарных вагонов. Холодный ветер ерошил его волосы, глаза слезились, краснели, а он смотрел, как синие новенькие вагоны поезда «Минск—Таллин» весело убегают на запад. Там, за вечерней гаснущей кромкой, исчезало раскаленное солнце. Во двор Чесик приходил тяжелой, шаркающей походкой, подсаживался к доминошникам, но глаза его были потухшими. Следил за игрой без интереса.

Его часто видели у голубятни конопатого Юрки Пшеничникова. Подолгу стоял, прислонившись спиной к шаткой самодельной лестнице, заляпанной жидким птичьим пометом. На голубятню не поднимался, разглядывал птиц, слушал их громкое воркование, наблюдал за рыжим Юркой.

— Не разумею, хлопец, не разумею, навошта табе гэтыя галубы, што табе ад іх, адны выдаткі...

Каждое лето белобрысые брови, ресницы, волосы на круглой голове Юрки выгорали на солнце до ярко-соломенного цвета, уши, шея, щеки пламенели красновато-ржавым оттенком.

— Все равно не поймешь, — хитровато улыбался в ответ краснолицый, весь в горчичных веснушках Юрка.

— Не, ты скажы, скажы, можа, такі дурань, як я, зразумею, — хмурился Чесик, крепко сжимая пальцы в кулаки-кувалды.

В небе плыли низкие дождевые тучи, собиралась гроза, а высоко-высоко над ними в обратную сторону двигались другие потоки, они несли легкие кружевные облака.

— Красиво, никогда не видел, одновременно в разные стороны идут потоки воздуха, — заметил Юрка и, заложив пальцы в рот, лихо засвистел. Пара кружившихся над голубятней сизарей попала в сильный поток ветра, птиц сносило в сторону.

— Будзе навальніца, горача, — утер потный лоб Чесик, выжидающе посмотрел на гибкого, верткого парнишку, смело стоящего на краю карниза крыши.

— Голуби — это тебе не свиньи на откорме, не твой сарайчик с дерьмом, понимаешь? Голуби — это мечта, ты знаешь, что такое мечта?

Чесик мрачно хмыкнул про себя.

— Малады, а ўжо старэйшага вучыш…

— Объясняю. Можешь не слушать. Мечта — не материальная вещь, как многие думают, дом, мотоцикл, шуба, посуда, мебель и прочее… Она — как мои голуби и небо, смотри и радуйся красоте, свободе, полету. Мы здесь живем, копошимся в земле, под ноги смотрим, а есть небо, перевернутый над нами синий мир. Понятно объяснил? Спутники в космос запустили, летают, прогресс, слышал, эх ты, деревня…

Юрка сменил свою веселую усмешку на серьезный тон, свел брови на переносице, от напряжения у него выступили мелкие капли пота.

— Так, так, — буркнул Чесик, помолчал. — Зразумець магу, а вось прыняць — цяжка. Не, чалавек павінен моцна стаяць на зямлі, тады можна і ў неба глядзець, а галубы твае… глупства ўсё гэта.

— Так какая у тебя мечта, Чесь Жолтко! — крикнул с крыши рыжий Юрка и, недожидаясь ответа, достал из-за пазухи белую голубку, поцеловал в головку с розовым пятнышком и радостно запустил ее в небо.

Чесик сплюнул и пошел своей дорогой: «Не галубы ж…»

Вечерами Чесик зачастил в хлев, он ругался на кур, загадивших весь пол. Поднимался птичий переполох, он отмахивался и шел в угол с сеном, где у него была припрятана бутылка водки, и пил в одиночестве. Сначала по стакану, закусывал луковицей и горбушкой черного хлеба, луковица аппетитно хрустела на зубах, никакого запаха алкоголя не было слышно. Марыля учуяла недоброе, но молчала. Как-то утром она выбирала свежие яйца в углу, под ногами загремела пустая бутылка. Чесик собирал после себя пустые бутылки, припрятывал, сдавал сразу штук десять, а на вырученные деньги докупал бутылку дешевого чернила.

На работе он боялся появляться с пьяными глазами, они сразу его выдавали горячим сухим блеском, начинал нести что-то пустое и несуразное, цеплялся к напарнику, заводился и готов был драться по пустякам.

— Чесь, ты мне мала грошай даёш, не хапае. Куды грошы сыходзяць? — однажды подступилась с расспросами жена.

— Якія грошы, няма ў мяне грошай.

— І не шкада на гарэлку траціць, дурань. А што з новым месцам, на далёкім перагоне, з казённай хаткай, садком, гаспадаркай, забыўся, а? — не унималась Марыля.

— О, мая даражэнькая, успомніла… Зараз тэхніка людзей замяняе, закрываюць… скарачаюць абходчыкаў, навошта ім стрэлачнікі, усё будзе рабіць аўтаматыка, ты сама ведаеш, як я з тэхнікай, нічога не разумею, — бубнил Чесик заплетающимся языком. — А грошы заплаціў суседу-зваршчыку, ён мне апарат зварыў, будзем са сваёй гарэлкай, разумееш, эканомія.

— Ідзі спаць, эканомія, — оттолкнула мужа Марыля, — тут цябе адразу здадуць у міліцыю за самагонку, не навучыўся ты нічому, дурная твая галава.

Но Чесик уже не слышал ее, завалился в грязной робе на диван и затих. Марыля со слезами на глазах стянула с него рабочие штаны, куртку, ботинки, села на единственный стул в комнате и отвернулась к окну. «Пойти, что ли, к Нинке, звала к себе в гости». Нерешительно встала и пошла к соседке.

У Нинки в центре комнаты круглый стол, покрытый бархатной скатертью, над столом низко висит абажур с кисточками, у окна трюмо, мягкое кресло, большой шкаф, складная ширма, за ней Нинка переодевается, там стоит широкая кровать с горкой подушек, на стенах коврики. Богато живет соседка, одна, не знает, куда девать деньги.

— Маня, тебя причесать, приодеть, духами сбрызнуть, будешь на человека похожа. А главное, молчи, рот не открывай, за умную сойдешь. Ты как скажешь «портки, жлуктить, кирпаты» — стой, приехали, это же прошлый век.

Нинка уговорила Марылю подстричься, усадила ее на стул у трюмо, взяла ножницы и смело отмахнула тощую косицу.

— Не жалей, пойдем в субботу в баню, — крутила Марылю во все стороны Нинка. — Лёдя тебе шестимесячную завивку сообразит, подкрасит, подкрутит, все изменится. А то давай к нам в бригаду, ко мне проводницей. Рейсы денежные, на Москву, Ригу, Ленинград, Львов, летом — на юга. Открою все секреты, как сделать приварок с рейса.

Нинка знала, что говорила, а Марыля молчала, короткая стрижка сделала ее моложе, казалось, что на стертом, бледном лице проступают черты незнакомой женщины.

Марина

Нинка вернулась из рейса, вернее, из нескольких рейсов, почти две недели пропадала на колесах, ездила в Москву, Ригу, Сочи. Вернулась усталая, вымотанная жарой, пассажирами, долгой дорогой, но с хорошим наваром — обирала безбилетников.

— Три шкуры с них в сезон надо брать, потом пойдет затишье.

На кухню она заявилась с двумя тазами, один цинковый, другой эмалированный зеленый, в руке глиняный кувшин. Выложила на стул халат, белье, развесила на веревках полосатые махровые полотенца.

— Марыля, у меня банный день! Выметайся из кухни, потом позову, сольешь мне на волосы ополаскиватель, достала по случаю, гедеэровский, не наше барахло, немцы умеют делать вещи.

Марыля сняла с плиты грязное ведро, все в подтеках от свиного пойла, вытерла мокрые руки, замерла, смотрела на соседку с интересом.

— Чего уставилась? Привезла много всего, разного добра, дефицит из Москвы, поделюсь с тобой! Марыля, фу, от твоего имени разит, как от кислых щей! — Нинка фыркнула, веснушки на ее носике смешно сморщились. — Будешь зваться… Мариной. На, держи помаду, пахнет вишней, импортная, сегодня я не жадная, денег заколотила, как за три месяца.

Марыля тихо прикрыла дверь и пошла к себе, на подоконнике стоял осколок зеркала, в него Чесик по утрам смотрится: намылит щеки и бреется. Марыля долго рассматривала свое бледное лицо, щурила глаза, открыла рот, растянула тонкие губы — получилась улыбка с размазанной вверху алой помадой. Коснулась кончиком помады левой щеки, растерла краску, лицо повеселело, как будто под розовой кожей заиграла теплая кровь.

После «бани» распаренная Нинка позвала соседку-дикарку в гости на «чай».

— Составь компанию, я женщина одинокая, кому все?

Нинка повела плечом и начала метать на стол из дорожных сумок рыбные консервы, литовский сыр, грузинский чай, конфеты, пакет грецких орехов, золотой слиток халвы.

— Один безбилетный грузин сел в Ростове, домашним вином заплатил, а мне живые деньги подавай. Он сует еще целый походный кан литров на двадцать, коньяк, мимо меня ничего не проплывет, свое не упущу, — Нинка опасливо понюхала жирную рыбину, — о, хорош, ростовский лещ, вяленый, неделю назад выловили, после него надо руки мыть.

Из заставленного корзинками угла вытащила тяжелую зеленоватую бутыль с длинным горлышком, перетянутую серой бечевкой. Марыля с крашеным полураскрытым ртом сидела безмолвно, с изумлением разглядывая выросшую на ее глазах гору продуктов.

— Делаю из тебя человека, делаю, а все без толку. Говорю тебе, приглядывайся к людям и никому не верь, особенно мужикам… обманут. Ты ж баба дурная, ласки настоящей не знаешь, тебя конфеткой любой поманит, ты и поверишь…

Нинка нервно повела плечом, недовольно хмыкнула, поставила перед собой два красивых бокала синего стекла, до краев налила грузинского вина. Густой гранатовый цвет в бокалах с гранеными синими стенками вдруг преобразился, заиграл почти черной маслянистой патокой.

— Давай выпьем, Марина, за нас, бедных, а кто нас пожалеет, если сами себя не пожалеем, — она вздохнула и пригубила.

Марыля покорно опрокинула бокал, над верхней, ало крашеной губой остался тонкий коралловый ободок. Нинка прищурилась, недобрым взглядом посмотрела на винный отпечаток, на пустой бокал и подлила новую порцию.

— Ты, курица деревенская, смотри на людей и учись, как они одеваются, какие манеры… в купейном ездят пассажиры солидные, мужчины с портфелями, — Нинка мечтательно выдохнула затаенное, замолчала, ее глаза заблестели сочной влагой, и сама она улетела далеко-далеко, на берег Черного моря, в Ялту.

Импозантный мужчина с тонкими черными усиками представился ей торговым работником. Обходительный такой, ручки целовал, ласково говорил и говорил, пел соловьем, вечером гуляли по пляжу, от одной бочки с вином к другой, голова кружилась. Близкая, руку протяни, огромная луна тревожно светила, готовая утонуть в море, потом торговый работник довел ее до съемной квартиры, попросил одолжить денег на такси. Нинка сама толком не помнит, как открыла ему дверь, кошелек и свое сердце. Наутро проснулась — нет вчерашнего незнакомца, пропали ее золотые серьги с искусственными рубинами, сумка с нижним бельем, солнцезащитные очки, махровый халат, два полотенца, пляжные тапочки. Ах, зачем же взял пляжные тапочки!

— …а женщины, то отдельный разговор, столичные штучки, все в шляпках, перчатки, шарфики, под платьем шелковое кружевное белье, не твои обмотки… Эх, тебя, баба, можно раздевать только в темноте, чтобы не напугаться, небось, круглый год носишь панталоны с начесом? Выпьем, что ли?

Марыля сидела неподвижно, в каком-то оцепенении смотрела на товарку, глаза ее округлились, застыли, но рука твердо держала бокал за тонкую синюю ножку, выпила по-крестьянски все до капли. Нинка еще больше нахмурилась.

— И где мой желтый портфель, так сказать, не в житейском понимании, а в философском, как любил говорить один мой ухажер. Ни портфеля, ни ухажера… Наше дело дорожное-железнодорожное. Пассажирам белье выдай, чай предложи, а лучше — «китай»: подсыпь соды, чай получится черный, будто чифирь, блатные такой уважают — посадка-отправление, ту-ту… У меня с бригадиром, какой у нас бригадир — Эдуард, всем дает заработать, хороший

человек, но и его не забываем, главное — не мешает. Летом дополнительные поезда формируют на юг, самые доходные рейсы, поедешь со мной, Марина, не пропадешь.

Нинка говорила о своем, слова ее барабанили, как крупные капли по стеклу, взгляд отчужденный, а сама приглядывалась к Марыле, отмечала ее вдруг зардевшийся лобик, похожий на гладкий детский, на вспотевшие, мокрые виски, на прилипшую к тонкой шее белесую прядь волос.

— Направление южное, коммерческое, живое, Сочи, Адлер, море, солнце, молодое вино, вишня-черешня почти даром, яблоки-фрукты. Деньги сами в руки плывут, не зевай, не упусти свое счастье! — Нинка мечтательно закатила глаза. — Ах, только успевай зайцев обилечивать, пристраивай на багажные полки, все хотят к морю, а вагон не резиновый. Так-то, Марина, такой наш — «катай»! Держись меня, подруга, не пропадем! Научу деньгу заколачивать, это тебе не под вагонами смазчицей гнуться.

Марыля сонно зевнула, посмотрела сытыми глазами на стол и уже сама потянулась к бутыле. Нинка сурово глянула на соседку, но мешать не стала. Темно-гранатовая жидкость полилась мимо граненого синего бокала, на накрахмаленной твердой скатерти расползлось розоватое пятно.

— Хватит, не умеешь пить — не пей, — зло рявкнула Нинка, жаль стало белой скатерти, теперь хлоркой придется пятно выводить.

Марыля не слышала ее, она медленно хлебнула вина, запрокинув назад голову, поперхнулась, но бокал не отставила, откашлялась, на тонкой шее грубо, по-мужски надулся кадык.

— Дзякуй, дзякуй за пачастунак, самлела я, пайду да хаты, засумавала я па дзеткам, па мужыку…

— Ой, не могу! Она сомлела, соскучилась! В хате твоей никого нет, Тадик в садике, Юзик где-то целыми днями пропадает, ой, смотри за своим Юзиком! А тебе больше не наливаю, ты ж меры не знаешь, иди-иди, подруга, — Нинка разозлилась на себя, уже пожалела, что позвала Марылю, разоткровенничалась с ней.

С переменой имени Марыли на Марину что-то изменилось в женщине. Впервые сходила в общую баню. Цирюльница Леокадия приняла ее в свои руки последней, брови и ресницы обработала специальным раствором, отчего Марыля вдруг заморгала цыганисто-черными ресницами, ее лицо стало контрастным, злым и вульгарным. Тусклые волосы Леокадия осветлила остатками пергидроля, макушка получилась ярко-льняной, а затылок пегим.

Новая Марыля рассматривала себя в зеркале — на голове короткий ежик волос, ее смутила детская челочка, чем-то похожая на кисточку Юзика, сердце сжалось от страха, но тут же отпустило — пора привыкать.

Чесик не привык.

— Ты, Марылька, нейкая чужая, не пазнаць, не мая жонка, далібог, не мая!

Марина смочила расческу в воде, аккуратно причесала челку, осталась довольна.

— Адстаў ты, Чэсік, — мужык! Куды з табой, у горад не выйсці, — и замолчала, прикусила губу, оценивая мужа новым взглядом.

— А на што мне твой горад! Грошы траціць! — захлебнулся от злости Чесь, отвернулся к окну.

Марина увидела его загорелый, крепкий затылок, грязный воротничок рабочей рубахи.

— Давай у нядзелю пойдзем у горад, у парк, там музыка задарма, адракцыны, чортава кола круціцца, няхай хлопцы на коніках пакатаюцца, марожанае купім…

Она говорила тихо, голос ее слабел, бормотала себе под нос, уже не верила себе. Какой парк, сложное слово «аттракцион» не выговорить, прочитала на афише, что болталась на двери магазина. У мужа нет выходной смены рубашек, выходного пиджака, брюк, затаскал до дыр промасленную свою робу. Гроши собирает, все жмется, жмется, куркуль.

Сколько раз из окна кухни она видела, как соседи семьями выбирались в выходной день, во дворе говорили — *в город*. Даже необъятная матрона Прасковья Кустинова надевала на свои грузные больные ноги жесткие лаковые туфли на каблучке, на дно сумки на обратную дорогу прятала разношенные туфли-тапочки, иначе не дойти до дому на шпильках. Выступала чинно, шла по двору, выгуливая под руку своего мирного седовласого Григория-машиниста, готового под указку Прасковьи покрасоваться перед злоязычными соседками. Весь вид ее мужа в воскресное солнечное утро, парадный и ослепительный, казалось, скрипел, благоухал и лоснился: непривычно белоснежная тонкая рубашка, не застегнутая на последнюю пуговицу, ведь нормальному человеку так невозможно дышать, чуждый на шее синий галстук-удавка с блестками, светло-серый добротный костюм из чистой шерсти на выгул, он годами одиноко висел среди нарядов Прасковьи, новые, не разношенные усталыми ногами коричневые ботинки. Вся-вся эта парадная красотища, от не выношенных подметок до тугой летней сетчатой шляпы на голове, кричала соседкам на зависть о больших заработках заслуженного машиниста.

— Эй, прачніся, ты і раней не была прыгажуня, а зараз, — Чесик с любопытством смотрел на жену. — І дзе грошы ўзяла на свае цацкі, дурная баба?

— І праўду Нінка кажа, ніколі мы не зробімся людзьмі, ад цябе толькі і чую — грошы, грошы, грошы. На сябе паглядзі, як з лесу выйшаў, брыдкі, я табе адыкалону купіла, і дзе ён?

— Мне ён не патрэбны, а ты як ні фарбуйся, тьфу, гарадской не станеш.

Резко хлопнула входная дверь, ржавая пружина исправно несла свою службу, с визгом закрывала дверь. На пороге комнаты как вкопанный стоял Юзик, смотрел округлившимися глазами на мать и не узнавал ее.

«Шалава», — вспомнилось чужое словцо, им наградил рыжий Борька Левин свою сутулую, лохматую подружку Светку. Юзик один раз подглядывал у гаража Паландина за веселой компанией. Четверо молодых парней, один знакомый рыжий Борька Левин, они за забором пили из горла водку. В сторонке на земле сидела Светка, тихо поскуливала, размазывая по глазам густую черную тушь, а Мишка таскал ее за волосы, больно накрутив густую гриву на кулак.

— Шалава, пьянь, таскаешься со всеми, на, утрись, — Борька зло бросил Светке свой мятый, несвежий платок, она громко высморкалась и заревела в голос.

Юзик пришел в себя, кисло скривился, опустил глаза. Он давно уже стыдился своих родителей, их чужих, корявых слов. Он стыдился и себя, своей неуклюжей речи, язык во рту мешал ему, заплетался, но и «правильно», как все ребята во дворе, он не умел еще говорить.

В угольном складе котельни отыскал себе местечко, заберется под самый потолок, там вверху что-то вроде чердака, натаскал сена, выломал доску над головой, лежит и мечтает. «Вось маці пераапрануць бы, стала б яна прыгажуняй, як цётка Люба Ухіна, маць Колькі Мухі... А то ідзе па вуліцы ў старым паліто, на галаве старая хустка, на нагах збітыя боты, размаўляць *правільна* так і не навучылася… *А я выучусь, я буду как все…*»



Людмила ШЕВЧЕНКО

Цветы герани

Детский дом

На улице шумного города
Стоит неприметный дом.
Прописано детское горе там,
Обида на взрослых в нем.

Живут здесь детишки-детдомовцы
С израненною душой,
Глядят из окна, как чужие отцы
Ведут своих крох домой.

Как любят, жалеют и балуют,
Как звонок детей тех смех,
А эти живут, не жалуясь,
Укором немым для всех.

Родня есть почти у каждого,
И папа с мамою есть.
Так почему же приходится
В детдоме им спать и есть?

И смотрят совсем не по-детски:
Печальный, потухший взгляд,
За их разбитое детство
Кто-то же виноват?

Давно отшумели войны,
Убитых, пропавших нет,
Так почему переполнены
Детдомы? В чем злой секрет?

А может, в пьянстве и в блуде,
В падении нравов благих?
Как низко вы пали, люди,
Забыв о детях своих.

На улице шумного города
Стоит неприметный дом.

Прописано детское горе там,
Несчастные дети в нем…

Цветы герани

В квартире нашей на окне
Росли в горшках цветы герани.
Подолгу днем и при луне
Цвели они на радость маме.

Как два чудеснейших костра,
Горели буйным, ярким цветом,
И в доме, им благодаря,
У нас весь год царило лето.

Любила мама те цветы,
Лелеяла и поливала.
При виде этой красоты
О всех невзгодах забывала.

Придя с работы, всякий раз
Умильный взгляд на них бросала,
Но вот пришел тот черный час —
И мамочки моей не стало.

Идут года… Теперь растут
В квартире у меня герани,
Сиренью и бордо цветут —
Как память светлая о маме.

Дачное

Сойду на остановке «Дачи»,
Стряхну с себя остаток сна,
Пройду по гравию, а дальше —
Лишь солнце, сосны и весна.

Есть в том особенная прелесть,
Что суеты и шума нет,
Здесь только запах листьев прелых
Да ручейка волшебный свет.

И отыскав тропинку в чаще,
Ведущую бог весть куда,
Как хорошо брести хрустящим
Валежником, как сквозь года…

А на полянке оглянуться
И, оценив лесной уют,
Вдруг неожиданно наткнуться
На дом, где гномики живут…



Елена МИХАЛЕНКО

Начало пути

Так живем…

Так живем, будто все — край.
Ни к чему маета-грусть!
Хоть на миг, хоть на два — в рай.
А потом все горит пусть…

Каждый хочет звездой — ввысь
И не хочет тянуть плуг.
Хоть благая придет мысль,
Воплотить не найдут рук.

Не таясь, каждый кажет нрав.
О себе хам трубит в горн.
На венки порван весь лавр,
И оставлен Ему — терн.

Криков средь не слыхать вздох.
Опьяняет азарт драк.
Коль по шерсти — почти бог,
Ну, а коль супротив, — враг.

Но однажды придет тишь.
Все живые падут ниц.
«Чаем, Господи, приди — виждь!»
Но темно, не видать лиц.

Всех, кто свой упустил шанс,
Он тогда соберет в круг.
Если скажет: «Не вем вас», —
Все закончится тогда вдруг.

Крещение

Днесь чистота,
Зимняя рань.
Капли с креста —
Во Иордань.

Глас от Отца,
Голубем Дух.
Снег у крыльца
Мягче, чем пух.

Строг Иоанн,
В страхе народ
Во Иордан
Грех свой несет.

Шелест от крыл?
Или то вздох?
В реку ступил
Праведный Бог.

Солнце, свети! —
Прочь темноту.
Начало пути.
Пути ко Кресту…

Птица

Мне кажется, что я — большая птица.
Не та, что, пролетая над лесами,
Деревьев чуть касается крылами
И в синем небе царственно кружится.

Мне кажется, что я — большая птица.
Не та, что, направляясь к южным странам,
Воюет с ветром над ревущим океаном
И с курса умудряется не сбиться.

Мне кажется, что я — большая птица.
Не та, что вьет гнездо свое весною
И другу сильному становится женою,
Чтобы в птенцах однажды повториться.

Мне кажется, что я — большая птица.
Та, что закрыта в клетке и томится.



Светлана БЫКОВА

Путь к Любви и Свету

Дух поэзии

Вода следы стирает на песке
И даже камни точит постепенно.
Душа поэта в радости ль, в тоске
Поет о том, что вечно и нетленно.

Купала, Пушкин, Богданович, Фет…
Не перечесть по именам поэтов.
И время не сотрет их яркий след,
Начертанный в истории планеты.

Приняв как благо или ношу Дар,
Познав блеск славы или бич гонений,
Взмывает в небо пламенный Икар —
Непобедимый Дух, поэта Гений.

И сила, заключенная в словах,
Не пропадет, не канет камнем в Лету.
Нетленный Дух поэзии в веках
Укажет людям путь к Любви и Свету.

Выбор

Решетка клетки… А за ней
В плену однообразных дней,
Создатель клетки. Он — больной,
Продрогший, сломленный судьбой.

Темнеет. Двери — на замке,
Ключ от замка — в его руке.
Причина цепи неудач —
Затворник с детства глух, незряч.

Он сам себе и царь, и раб,
Чтоб быть царем — он слеп и слаб,

Мир клетки же — привычен, мил,
И быть рабом хватает сил.

Страдальцу вовсе невдомек,
Что нужно вставить ключ в замок,
Решить: рабом быть иль не быть —
В себе себя освободить.

Подруга Осень

Ах, Осень!.. Моя золотая подруга…
Давно беззаветно мы любим друг друга.
С тобой так приятно сидеть на скамейке,
Смотреть прошлогодних спектаклей ремейки:
Как будет листвы опадающей медь
В лучах заходящего солнца гореть.

Тебе расскажу, не таясь, я о многом:
О том, как петляет по жизни дорога,
Как вдаль убегают судьбы километры
И дуют мне в спину попутные ветры.

Ах, Осень! Пришла ты совсем не напрасно:
С тобой на душе и спокойно, и ясно.
Твоя благосклонность ко мне — как награда,
И лучшей подруги, чем ты, мне не надо.

Ты будто дыханием мудрости дышишь
И мысли мои потаенные слышишь.
Листок упадет на усталые плечи,
И станет на сердце теплее и легче.

Налегке

Отгорела свеча, задымило кадило…
Собралась уходить… Уходя — уходила.
Шла одна, налегке, без котомок, баулов —
Разбрелись по оврагам верблюды и мулы.
Я пришла нагишом и уйду я, нагая,
Через ушко иголки — в мир светлого рая.

Найя Марие АИДТ



Рассказы

ВЫЗОВ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Найя Марие Аидт (1963) — датская писательница, не ограничивающаяся написанием только романов и новелл. Из-под ее пера вышли стихотворения, детские книги, тексты песен, радио- и театральные пьесы. В 1991 году она дебютировала сборником стихотворений «Пока я молода», состоящим из цикла, который охватывает период от весны до осени, используемым как наглядную характеристику женщины в момент перехода из одного жизненного цикла в другой. Следующие за ним сборники «Сложная встреча» (1992) и «Третий пейзаж» (1994) пополняют первый сборник и составляют трилогию, повествующую о превращении юной девушки в серьезную женщину-мать. В стихотворениях природные красоты перемежевываются с мелкими деталями повседневности и преображением личности.

Лирические нотки обостряются в сборнике «Дом напротив» (1996) и в сочетании с религиозными моментами в книге «Путешествие в неизвестность» (1999) отражают превращение женщины в Королеву бальзаковского возраста.

В собрании рассказов «Прирост» (1998) Аидт обозначает свое пристрастие к бытовым мелочам и минималистической стилистике поколения 90-х годов. Она размещает человеческие судьбы с их индивидуальной чувственной жизнью и социальными взаимоотношениями в ячейки напряжения и неопределенности.

В 2006 году выходит в свет сборник рассказов «Бавиан», за который Найя Марие Аидт получила Приз Критиков и Литературный Приз Совета Скандинавских Стран. Рассказы пронизаны особым напряжением, где одно слово или незначительное действие выбивает у героев почву из-под ног, разрастаясь в хаос. Аидт пишет о том, как достигает края человек и оказывается в ситуации, в которой невозможно контролировать ни себя, ни происходящее вокруг. Не тратясь на «танцевальные "па"», писательница обнажает «ядро» — человеческую боль и бессилие; образно говоря, рассказы на физическом уровне ощущаются как стоматологическое сверло, проникающее в больной зуб. В последовательном реалистичном тоне писательница выстраивает повествование как элементарную констатацию действий героев и их физических движений. В текстах не находится места для эмоциональных рефлексий или прямых комментариев. Но вопреки, казалось бы, отстраненному и прохладному подходу то одиночество и безысходность, в которые жизнь толкает героев, описываются Аидт со скрытой заботой и сопереживанием.

Жизненный опыт, связанный с повседневностью, обрисовывается в поэтическом сборнике «Поэзия» (2008), где Аидт делится впечатлениями собственного детства, а в зарисовках предлагает взглянуть на мир 1960-х и 1970-х годов.

В книге «Подмигивания» (2009) также отражаются ее воспоминания, которые писательница использует для стихотворений о том, каково это, внезапно оказаться в другой стране.

В 2012 году Аидт обращается к жанру романа и выпускает в свет роман «Камень, ножницы, бумага». Его можно воспринять двояко: как альтернативный детектив или же повествование о современном мужчине и его деградации. Контрастом к активному, порой агрессивному, действию служат лирические пассажи, вкрапленные в роман.

В 2017 году должна выйти в свет новая книга «Если смерть что-то забрала, верни ей это».

Чтобы познакомиться с несколькими творческими этапами писательницы, читателям «Нёмана» представлены рассказы из сборников «Прирост» и «Бавиан».

Юлия БЕЛАВИНА

Торбен и Мария

Что можно сказать о Марии? Что она блондинка, а корни волос темные? Что любит запеченную свинину с жиром? Что в детстве в февральских сумерках она любила смотреть на бесконечные поля? Когда взгляд отдыхает там, где низкое небо становится серым-серым, пока не стемнеет настолько, что в стекле она сможет видеть собственное лицо, зеленую лампу на столике позади и совсем вдали — прислонившуюся к двери курящую мать.

Окно — черное зеркало.

Мария.

Она лупит ребенка, пока он не замолчит. Это — мальчик по имени Торбен. В нынешнее время матери нечасто дают сыновьям это имя. О да, Мария! О ней можно сказать: «Она назвала мальчика Торбен».

Скоро ему исполнится два года. Торбен — маленький заморыш. В нем нет ничего особенного.

Они идут по пешеходной улице. Торбен и Мария. Держась за руки. Останавливаются у фонтана. Мария садится на скамейку. Торбен бежит к каштанам. Деревья в цвету. Очень красивые. Мальчик распугивает стаю голубей. Находит черный камушек. Долго сражается с застрявшей в траве жевательной резинкой.

У Марии звонит телефон. Это Бьерн.

«Сколько тебя ждать, червяк? Куда ты, черт побери, подевался?»

Бьерн опаздывает. Мария вздыхает и оглядывается в поисках Торбена. Тот разговаривает с двумя девушками. Они улыбаются и жестикулируют. Торбен что-то им показывает. Девушки склоняются, чтобы посмотреть, и смеются. Одна из них гладит мальчика по голове. Затем машут на прощание и срезают путь по газону. Торбен смотрит вслед, пока они не исчезают из вида. По его лбу ползает муха.

Мария зажигает сигарету и зовет сына. Тот ковыляет к матери.

«Какой послушный мальчик, — замечает пожилой мужчина, севший на скамейку рядом с Марией. — В наше время дети никогда не делают, что им говорят».

Мария дергает Торбена за руку. Он показывает черный камушек. Мужчина улыбается: «Добрый день, дружок!» Торбен прячет лицо за Марией.

Появляется запыхавшийся Бьерн. Мария обреченно качает головой и встает со скамейки. Бьерн сажает Торбена на плечи.

Бьерн — брат Марии. Они договорились пообедать в железнодорожном вокзале ДиэСБи. Там подают запеченную свинину. Бьерн весь путь несет Торбена на плечах.

«Почему ты пришел только сейчас, червяк?»

«Дела были».

«Дела у него, у козла».

«Да, да. Мобильные телефоны. Мы заработаем массу денег».

«Кто “мы”?»

«Бьергет и я».

«Я тебе говорила держаться подальше от Бьергета».

«Расслабься».

«Держись от него подальше».

«У него связи».

«Ничего у него нет!»

«Успокойся. Не хочет он видеть Торбена. Ты же знаешь Бьергета».

Мария посылает Бьерну яростный взгляд. Торбен старательно поет песнь про Мэри и барашка.

«Прекрати петь, Торбен!»

«Почему паренек не может попеть?»

«Потому что не может».

Бьерн закатывает глаза.

«Ты больная на голову», — говорит он и присоединяется к Торбену. Хотя песни он не знает, поет громко и фальшиво. Торбен пугается и замолкает. Тем временем Мария переходит на противоположную сторону улицы. Бьерн берет Торбена под мышку и идет за ней.

«Возьми себя в руки, — кричит он ей вслед. — Что за чертовщина с тобой происходит?»

Они едят запеченную свинину и запивают колой-лайт. Торбен получил сосиски и картошку-фри. Мальчик не достает до стола. Они едят молча. Вдруг Мария замечает жевательную резинку, прилипшую к левой ладони Торбена.

«Сволочь», — шипит она, пытаясь отодрать жвачку.

Не получается. Мария краснеет от усилий. Она хватает Торбена за запястье и сжимает. Мальчик, не мигая, смотрит перед собой. Мария дергает его за руку, и он бьется головой о край стола.

«Оставь малыша в покое! — реагирует Бьерн с набитым ртом. — Мария!»

Мария отпускает сына. Тот продолжает смотреть в никуда.

«Ты его бьешь?» — Бьерн слизывает с пальцев остатки жира и красной капусты. Мария прищуривается и переводит взгляд на Бьерна.

«Держись подальше от Бьергета, понял?»

Она отталкивает тарелку. Мария все съела, включая веточку петрушки, украшавшую картофель. Соуса как будто не было. Торбен опрокидывает колу. Бьерн вытирает стол салфеткой.

«Мария, оставь его, он — маленький».

«Через месяц будет два года».

«Но маленький же».

«Ты — полный дурак, Бьерн».

Они уходят. Красивые розовые облака медленно плывут по небу. Торбен и Мария держат друг друга за руки. Они идут по пешеходной улице, Бьерн останавливается. Ему в другую сторону. Он идет к Бьергету купить гашиша и обсудить дела.

«Пошел ты», — произносит Мария, уводя Торбена.

Несколько минут Бьерн смотрит, как они удаляются. Крупная молодая женщина в черных брюках и белом топе. Блондинистые волосы с темными корнями. Мальчик в красных шортах и футболке. Бьерн трясет головой и оборачивается. Засунув руки в карманы, огибает ратушу. Он решает пойти пешком до северной части города, где обитает Бьергет. На редкость удивительный, светлый весенний вечер; небо молочно-голубое, где-то рядом заливается дрозд.

Мария бьет маленького ребенка. Своего сына Торбена. Она лупит его. Она швыряет его о стенку. Пихает ногами, когда он забирается под обеденный стол. Отвешивает оплеуху, когда он ковыряется в носу. Она трясет его, когда он засыпает на диване. Привязывает к кроватке. Хотя этого не требуется, он всегда лежит спокойно.

«Бей по заднице, видно не будет, — посоветовала ее мать. — Иначе в детском саду докопаются».

Вероятно, она права. В детском саду начали удивляться. Торбен ведь застенчивый, но агрессивный. Он бьет детей, когда они подходят близко. Кусается. У него часто шишки и припухлости на теле и голове. Подозревалось, что это — результат детских драк. С другой стороны, Мария производит благоприятное впечатление. К тому же, нельзя бездоказательно судить других людей. Дети в таком возрасте часто травмируются. Они неуверенно держатся на ногах, падают и расшибаются.

Но Торбен — не предмет мечтаний каждой матери. Он несимпатичный, не светится. Наоборот. Страшненький и сопливый. Откровенно говоря, от такого ребенка хочется избавиться. Дети бывают разные. Возможно, поэтому никто не обращает особенного внимания на царапины Торбена. Никто не хочет обращать внимание. Может, поэтому.

Мария закрывает дверь на ключ и зажигает в прихожей свет. Она ищет пульт от телевизора и включает его. Гостиная во мраке. Вздохнув, она садится на диван. Торбен пристраивается рядом. Она бессознательно треплет его по волосам, он пристраивается к ее груди. Они смотрят передачу об африканских побережьях. Вскоре Торбен засыпает, и Мария относит ребенка в кровать. Потом она сворачивается клубочком в углу огромного бежевого дивана, предварительно захватив лимонад и сигареты. Мария остается лежать далеко за полночь.

Ах, Мария!

Бьерн — брат, Торбен — сын.

Я — Бьергет.

Помнишь, как мы впервые встретились? Ты рассказывала о бесконечных полях и разрешила в сумерках потрогать грудь. Часами гуляли по пешеходной улице. Я мог играть с твоими волосами, когда ты ложилась на мою грудь там, на скамейке у фонтана. Мы ели запеченную свинину на вокзале. Сколько лет прошло! Ты была такой... новой. Неизведанной! Тем летом тебе исполнилось семнадцать. Я чувствовал себя стариком. Тебя отличали безудержность и беспечность. Сейчас ты изменилась. Многое о тебе известно. Не беспокойся о Торбене, мне все равно. В нем нет ничего особенного. Никогда не воспринимал его как своего сына. Он твой, Мария. Делай с ним что хочешь. Маленькие дети для меня ничто. Бьерн сказал, ты сердишься на меня. Прекрасно тебя понимаю. Наше время прошло, сейчас мне достаточно наблюдать за тобой со стороны. Не как маньяку, а как призраку из прошлого. Ты идешь по кругу, Мария, мне доставляет

удовольствие следить за тобой: пешеходная улица, злость, побои, срывы на мальчике, покупка дешевой одежды, пьянки на дискотеках и минимум секса, который ты можешь себе позволить.

Пешеходная улица, злость, побои. Я знаю твое место в жизни, и оно мне нравится.

У Торбена день рождения — два года. Он празднует с мамой Марии, Марией и Бьерном. Куплены сладости, чипсы и коктейльные палочки для лимонада Торбена. Все четверо сидят на диване. Работает телевизор, Бьерн помогает мальчику распаковать подарки. Он отводит Торбена в спальню поиграть с машинками. Женщины закуривают. Они слышат, как Бьерн изображает сирену «скорой помощи».

Торбен лежит на животе на полу и возит желтый трактор взад-вперед.

«Торбен, смотри, у меня кое-что есть для тебя».

Бьерн достает из кармана маленький пакет. В нем — пластиковый шар. Один из тех, который потрясешь, а внутри снежинки закружатся над Дедом Морозом. Правда, в этом шаре вместо Деда Мороза — зеленая елка. На заднем фоне темно-синее небо со звездами. Бьерн показывает мальчику, как управляться с шаром. Торбен с открытым ртом смотрит на плотные снежинки и встряхивает шар.

«Это подарок твоего отца, Торбен. От папы».

Но Торбен не слышит. Он наслаждается игрушкой. Мальчик вновь и вновь трясет шар и с удивлением наблюдает за чудом. Бьерн встает с пола и идет в гостиную. Мать приготовила попкорн в микроволновке. Закинув горсть кукурузы в рот, он зажигает сигарету.

«Вспомнил-таки Бьергет. Я и не думал».

«О чем ты?»

«День рождения пацана».

«Что за фигня?»

«Он в восторге от подарка».

Мария прекращает жевать.

«Что?»

«Подарок от Бьергета. Парнишка без ума от него».

Мария встает и угрожающе направляется к Бьерну.

«Мария, прекрати», — предупреждает мать.

Мария грубо отталкивает Бьерна на пути из гостиной. Она выхватывает шар с елочкой из рук Торбена и открывает окно. Мальчик начинает хныкать. Она изо всех сил кидает шар и видит, как он разлетается на мелкие кусочки, соприкоснувшись с тротуаром. Торбен хватает ее за брюки. Мария освобождается, с грохотом захлопывает дверь в спальню. Она с тяжестью опускается на диван рядом с матерью.

Бьерн берет пальто и уходит.

На следующий день Мария и Торбен выходят на улицу, и мальчик обращает внимание на осколки шара. Он хотел собрать их, но Мария затолкала осколки под машину. Будь спокойна, Мария, я больше не пошлю никаких подарков твоему сопляку. Это был всего лишь маленький эксперимент. Хотелось посмотреть, сможешь ли ты вырваться из замкнутого круга. Видимо, нет. И вот вы с Торбеном гуляете по пешеходной улице туда-сюда, туда-сюда. Ты садишься на скамейку у фонтана. Торбен бежит к каштанам. Ты говоришь с Бьерном по телефону. Вы едите запеченную свинину и ссоритесь. Дома ты поднимаешь Торбена и швыряешь об острый угол стола. Единственное, что я не могу сказать, О ЧЕМ ты думаешь, сидя вечером на диване.

Да ты и сама, вероятно, не знаешь.

Поездка на машине

Когда Николай захлопывает дверь машины, оказывается, что Тобиаса нет. «Что за черт!» — ругается он и смотрит на Миа, которая, отстегнув ремень безопасности, вылезает из автомобиля. Он провожает ее глазами до дома и наблюдает, как она поигрывает ключами. «Когда мы приедем?» — спрашивает Сине, и Братишка пускается в рев. Николай поворачивается и наклоняется поднять соску, но та скатывается под переднее сиденье. «Дай ему соску, — обращается он к Андреасу, поглощенному комиксами. — Сейчас же!» Андреас неохотно просовывает руку под сиденье и хватает соску. Братишка замолкает. Николай с нетерпением поглядывает на дом. Наконец Миа возвращается, подталкивая перед собой Тобиаса. Долговязый пятнадцатилетний мальчик хмуро смотрит перед собой. Николай чувствует, как все в нем начинает клокотать, как ветер в камыше, словно камыш прорастает в нем. Стиснув зубы, он заводит автомобиль. Тобиас протискивается на заднее сиденье. Андреас протестует: «Он сидит на моей ноге». Сине вскрикивает: «Вот хрень!» «Ну вот, — произносит Миа твердым, решительным голосом. — Едем!»

Она поглядывает на детей в зеркало заднего вида, пока машина выруливает на дорогу. Сине толкает Андреаса, Братишка рьяно сосет одновременно соску и указательный палец, Тобиас, нахлобучив шляпу, прижимается к стеклу. «Мы приедем слишком поздно», — заявляет Николай. «Почему так долго?» — «Мама звонила. Она еще в больнице». Миа включает радио. «Я сказала, мы заедем на обратном пути». Николай не слышит, он наклоняется вперед, чтобы лучше разглядеть автостраду. Идет дождь. Стекла запотевают, они вынуждены приспустить стекло, невзирая на шум шоссе и на капли дождя на шее Миа. Она раздает сосульки. Сине сообщает, что ее тошнит. Андреас говорит, что хочет писать. Спустя несколько минут: «Если мы не остановимся, написаю на сиденье».

На заправочной станции Тобиас выходит из машины, зажигает сигарету, отворачивается и склоняется над телефоном. Он возвращается насквозь промокшим. «Тобиас воняет дымом», — произносит Сине, закрывая нос. «И мокрой собакой», — добавляет Андреас. «Оставьте Тобиаса в покое», — просит Миа, неуклюже протягивая Братишке бутылку с соской. «Разве Сине не может ее дать?» — спрашивает Николай. «Не хочу», — отвечает Сине. «Такой фразы не существует», — отвечает Николай. Миа немедленно реагирует: «Я сама могу это сделать». Дождь усиливается. Фуры проезжают мимо, забрызгивая стекла грязной водой. «Таким темпом мы точно не успеем на паром», — Николай остервенело жует жевательную резинку-антитабак. «Посмотрим», — успокаивает Миа. Со временем Братишка засыпает. Миа созерцает его бледное личико и голубые вены на веках. Она потерла ноющую руку. Телефон Тобиаса непрерывно позвякивает. «Почему Тобиасу можно пользоваться телефоном в машине, а мне нет?» Сине без устали пинает сидение Николая. «Почему вы не отвечаете?» — «Прекрати бить ногами по папиному сиденью», — просит Миа. «Если ему можно, значит, и я могу», — отвечает Сине и достает телефон. Беспрерывные трели телефона Сине перемежаются с позвякиванием телефона Тобиаса. «Прекрати пинать сиденье, Сине», — говорит Николай. «Убери телефон», — настаивает Миа. Сине прекращает бить по сиденью, но продолжает проигрывать рингтоны. «Разбудишь Братишку», — предупреждает Миа и протягивает руку к телефону Сине. Девочка, хихикая, поднимает его выше, так, что Миа не дотянуться. Миа отстегивает ремень безопасности, поворачивается и практически становится на колени между сиденьями. «Мне ничего не видно, когда ты в такой позе», — жалуется Николай. Миа хватает Сине за

руку и вырывает телефон. «Ой! Ой, черт побери, моя рука!» — «Не выражайся!» Миа вспотела. Сине притворяется плачущей. Малыш просыпается с воем. Миа замахивается, словно хочет больно ударить Сине. «Посмотри, что ты наделала! Андреас, дай ему соску!» Андреас вставляет соску в рот Братишки, ласково проводя рукой по щеке, не отрываясь от комиксов. «Отдай комиксы, сейчас моя очередь, — захныкала Сине. — Мама сказала, мы должны делиться». — «Оставь всех в покое, Сине», — произносит Миа. «Я ничего не делаю. Ты сама сказала, мы должны делиться!» — истерически ведет себя Сине. Миа дает ей сосульку. Сзади воцаряется тишина, слышно лишь посапывающее дыхание Братишки. «Только бы он не заболел, — обращается Миа к Николаю. — Сильно кашлял ночью». Николай не отвечает. Он жует резинку, челюсти активно двигаются. Миа прислоняется щекой к холодному, влажному стеклу. Умиротворенная работой дворников, Миа впадает в легкую дрему. Романтические мысли мечутся в голове, как беспокойные насекомые. Поползновение руки Николая в ее сторону. Ее губы сомкнулись вокруг его пальца. Птица на верхушке дерева. Размытая картинка, в которой она идет по длинному коридору, двери по обеим сторонам захлопнуты, вокруг ни души, только пустые конторы, распахивающиеся по мере ее движения. Раздавался стук каблуков. «Спишь?» — спрашивает Николай. «Да нет». — «Не думаю, что он заболеет, — продолжает Николай. Через мгновение: — Приедем, составим план». — «План?» — «Что мы будем делать на каникулах». — «Что ты имеешь в виду?» — «Мы вынуждены ввести правила». — «Что-что?» — «Для детей. — Николай мельком взглянул на нее. — Да, распределение обязанностей, как далеко дети могут уйти и когда надо быть дома». Она разглядывает профиль Николая, протягивает руку и проводит по его волосам. Он вновь бросает на нее взгляд. Она улыбается. Николай кладет руку на ее бедро, Миа покрывает ее своей. «Тобиас в состоянии время от времени присматривать за младшими, а мы можем уделить время себе», — шепчет он. «Ни за что, — реагирует Тобиас, — уезжаю в пятницу. Ники возвращается с каникул, и честно говоря, не планировал гнить на даче». — «Тобиас, — отвечает Миа. — Прекрати, мы это обсуждали. Ники может приехать к нам». Спрятавшись под шляпой, Тобиас качает головой. Он холодно смотрит на Миа в зеркало до тех пор, пока она не сдвигается в сторону настолько, чтобы исчезнуть из его поля зрения. «Я именно об этом, — комментирует Николай. — Нам нужно договориться». — «Но мы уже договорились!» — отвечает Миа. «Я хочу журнал! Сейчас!» — после долгого молчания кричит Сине, которая, очевидно, съела конфету. Она выхватывает журнал у Андреаса и опять принимается лупить по переднему сиденью. «Есть хочу, — заявляет Андреас. — Умру от голода, если не остановимся».

При подъезде к паромному терминалу они увидели уходящий вдаль корабль. Дождь стих, до следующего парома час. «Я же говорил, надо было ехать по мосту», — сказал Николай. «Сколько денег мы получим на сладости? — интересуется Сине. — Вы сказали, что дадите деньги на сладости». Миа выходит из машины. Сине дергает ее за пальто: «Дай нам денег!» Николай идет в туалет, Андреаса нигде не видно. Миа смотрит на длинные очереди автомобилей. Затем она переводит взгляд на зал ожидания, где открывается дверь и выходит Николай. «Где Андреас?» Тобиас пожимает плечами. Она смотрит на море. «ГДЕ он?» Миа зовет его, кричит его имя, бежит вдоль машин. Она бежит к первому автомобилю в очереди, к шлагбауму, разделяющему сушу и море. Андреаса там тоже нет. Миа слышит, как разбиваются волны о причал. Запыхавшись, она останавливается, чтобы осмотреться. Она не видит ни его зеленой куртки, ни его светлой

головы. Миа успевает представить себе мертвое тело мальчика, похороны и собственное сумасшествие, как потеряют значение другие дети, если Андреаса не будет. Николай потеряет значение, она никогда не сможет жить ни с ним, ни с кем-то другим. Ветер раздувает полы пальто, волосы бьют по лицу. Красная, обжигающая ненависть к членам семьи настолько охватывает ее, что она начинает громко рыдать незнакомыми, неконтролируемыми всхлипами, быстро уносимыми ветром. Внезапно ей кажется, что она не может перевести дыхание между припадками плача, как будто ветер мешает. Миа охватывает панический страх за свою жизнь. Так она, раскачиваясь, стоит в развевающемся пальто, прикрывая рот рукой с мокрыми обезумевшими глазами, когда Тобиас очень медленным шагом подходит к матери. Руки в карманах, шляпа облепила лицо, ветер наполняет воздухом его и без того большие брюки. Картина получается смешная. Он становится перед ней. На Миа нападает приступ плача. Она пытается произнести имя Андреаса, но из губ вырываются нечленораздельные звуки. «Расслабься. Его нашли». Она убирает руку ото рта. «Где?» — кричит она. «Не знаю. Он ходил на какую-то машину смотреть». — «Машину?!» Тобиас бросает на нее пронзительный взгляд. «Да, на машину». Он демонстративно пожимает плечами, поворачивается и уходит таким же медленным шагом назад к бесконечной очереди из автомобилей. Миа последний раз смотрит на воду. Глубоко вздыхает и трет глаза. Пошатываясь, возвращается к своей машине.

Андреас сидит на заднем сиденье и читает комиксы. Он не реагирует на вспышку гнева и ласку матери, отворачивается, когда она хочет взять его лицо в ладони, вырывает руку при попытке взять его за руку. Сине сидит рядом и закидывает в себя сладости. Николай вытащил Братишку из автокресла, и теперь тот сидит на руке отца. В толстом комбинезоне ребенок выглядит как кукла. Руки, как палки, торчат из комбинезона. Он восторженно лопочет при виде Миа, сопли пузырятся вокруг носа. Николай смотрит на жену с непониманием, но с мягкостью. «Ты плакала?» — изумляется он. Она запускает руку в карман Тобиаса и достает сигареты. «Какого черта ты делаешь?» — недоволен Тобиас. Миа поворачивается спиной к ветру и зажигает сигарету. Николай хмурится и делает шаг назад. «Мама, что ты делаешь?» Тобиас вырывает пачку из рук Миа. «Миа, ты должна, — начинает Николай. — Мы же договорились не курить». Миа идет в сторону зала ожидания. «Миа, ты ведь не куришь!» — кричит он ей вслед. Она открывает дверь и садится на скамейку. Пахнет старым, холодным дымом. Двое подростков, хихикая, по очереди курят сигарету. Миа затягивается, пока не подступает тошнота. Тогда она отправляется в туалет и пьет воду из-под крана. Лицо опухло от слез, тушь и тени размазались по щекам. Она выглядит так, словно кто-то высыпал ей на голову пепел.

Когда Миа возвращается к машине, Николай заводит мотор. Дети на своих местах. Сине дает Братишке леденец на палочке. Очевидно, кто-то пукнул, пахнет тухлыми яйцами. Миа опускает окно. Все молчат. Николай вопросительно смотрит на Миа, а она думает: «Все пропало». Его взгляд грустен. Он выглядит потерянным. Миа кладет руку на его бедро. «Прости», — извиняется она, хотя планировала сказать совсем не то. «Ты должна мне сигаретку», — говорит Тобиас. Сине без остановки напевает две строчки одной песни, Андреас пинает ее колено, Братишка схватил девочку за волосы и запихивает их в липкий рот, который окрасился зеленым от леденца. Андреас и Сине прыскают от смеха при виде зеленого лица Братишки. Они заходятся от хохота, даже губы Тобиаса трогает некое подобие улыбки.

На пароме Андреас и Сине получают деньги для игры в автоматах с условием, что они заберут Братишку на детскую площадку. Тобиас исчезает с банкой колы и мобильным телефоном. Миа кормит малыша яблочным пюре из банки, Николай приносит кофе. Паром покачивается. Старшие дети относят Братишку на лошадку, Николай садится рядом с Миа. Он обнимает ее. «Солнышко», — произносит он. Так они сидят: молча, кофе дымится перед ними. Они наблюдают за другими пассажирами. «Что с мамой? — спрашивает Николай. — Ей лучше?» Миа кивает. Кофе булькает в животе в такт парому. Она голодна. Кажется, Николай хочет сказать что-то еще, но появляется Сине с Братишкой на руках. «Он обкакался», — заявляет она. Николай берет плохо пахнущего ребенка, Миа протягивает подгузник. Она видит, как муж улыбается Братишке, целует и шепчет что-то в ушко. Тобиас подходит к столу, и на долю секунды она его не узнает. Лишь когда он произносит первые слова, Миа понимает, что это ее сын. «Мама, уезжаю в пятницу. Вечеринка у Йоханенеса, да и Ники возвращается». Он садится напротив. Положив обе руки на стол, склоняется и смотрит ей прямо в глаза. «Уеду, даже если ты не разрешишь. Ставлю перед фактом. Поживу у отца». — «Он в Лондоне». — «У меня есть ключи». Миа отрицательно качает головой. Она успевает подумать, что в конце концов она согласится, но не уверена, правильно ли поступает. Тобиас быстро встает и уходит. Словно резкий порыв ветра прошелся по камышу и растение растет в ней. Миа задерживает дыхание. Приходит Николай и усаживает Братишку ей на колени. «Тобиас уезжает в пятницу», — говорит она. «Я же предупреждал, — реагирует Николай. — Надо было его дома оставить». — «Ты сам хотел, чтобы он присматривал за младшими на даче!» Братишка запускает пальцы ей в рот и дергает за губу маленькими, острыми ногтями. «Поскольку он с нами, должна же быть от него польза. Разве нет?» Миа гипнотизирует стол. Дикий голод, живот скручивает. «Солнышко, — Николай убирает пальцы Братишки из ее рта. — Это к лучшему. Побудет несколько дней и уедет. Каждый получит что хотел». Миа поднимает глаза, Николай гладит ее по волосам и убирает локон за ухо. Вдруг он ее целует, язык скользит по ее зубам, в ее теле начинает бурлить кровь, она обхватывает его за голову. Братишка хрюкает, оказавшись зажатым между двумя телами и пытаясь выбраться. В этот момент она слышит рыдания Андреаса, подвернувшего ногу на детской площадке: он неудачно спрыгнул с горки.

Машина забита фантиками от конфет, игрушками и пустыми банками из-под кока-колы. Тобиас теперь на переднем сиденье. Миа зажата между детьми на заднем. Она напевает песенку для Братишки. Сине подпевает. Бледный Андреас молча сидит между ними. Миа гладит его по голове. Спустя некоторое время Николай и Тобиас начинают разговор. Миа слышит отрывки разговора в перерыве между песнями: о соревнованиях, в которых участвовал Тобиас, что-то о чемпионате мира по футболу, сколько раз Тобиас прогулял уроки немецкого языка в первом классе гимназии. Небо стало проясняться, в некоторых местах оставаясь черным, серочерным, иссиня-черным и насыщенно-фиолетовым. Миа смотрит в окно и поет. Сырость на полях, местами лес. Дорога извивается по холмистой местности. От воспоминаний о времени, когда она сидела на скамейке в такую погоду во время каникул у тети, она мерзнет. Мурашки бегут по телу, волосы пахнут соплями, и мухи садятся на шоколадные хлопья. Она сидит справа на гладкой деревянной скамье за столом, покрытым клеенкой, щипает себя за колени и размазывает шоколадную пасту по тарелке. Миа нюхает и жует волосы, мухи ползают по голым ногам, которыми девочка дрыгает. На кухне играет радио, в раковине гремят кастрюли. Неприятное

чувство, которое тетя называет тоской по дому, грызет изнутри. Физическое желание прижаться к маминой ноге в нейлоновых колготках, обхватить рукой ее упругое бедро. Почувствовать мамино дыхание, хотя и пахнущее чем-то кислым, но она не отодвигается и продолжает сидеть рядом с большим телом матери, ковыряясь в болячке на мамином лице. Так оно и должно быть. Тетя входит в гостиную, упирает руки в бока и спрашивает, долго ли девочка будет копаться в еде. Миа тщетно ерзает в битком набитом автомобиле, ощущает мокрые ноги в сапогах. Она сжимает в кулаке соску Братишки. Тут она слышит голос Сине: «Мама, ты не слушаешь меня!» Миа разжимает руку, соска падает на пол, она поворачивает голову и встречает презрительный взгляд Сине. «Ты прибабахнутая? Спишь или что?» — «Следи за языком», — жестко отвечает Миа. Николай улыбается в зеркало заднего вида, она отвечает на улыбку.

Они останавливаются у кафетерия в маленьком городке в тридцати километрах от дачи. Андреас хромает, его берут на руки и вносят в кафетерий. Сине тотчас начинает носиться по лужайке, повизгивая от восторга. Николай и Тобиас приносят еду, Миа пытается напоить молоком Братишку, но тот не хочет сосать бутылочку. Они едят за столом, Николай запускает руку под блузку Миа. Взрослые смотрят друг на друга. Взгляд Николая подергивается поволокой, в Миа растет желание. Мужчина старается проникнуть ей в брюки. Братишка откидывается на стуле и заходится плачем. Он ревет так громко, что люди с ужасом начинают оглядываться вокруг. Миа встает и выносит Братишку на улицу. В перерывах между оглушающим ревом малыш жадно хватает воздух и отчаянно лягается. Женщина наматывает круги перед кафетерием, укачивает и успокаивает ребенка, но тщетно. Выходит Николай с бутылочкой, теперь они вдвоем, неимоверно замерзая в тонкой одежде, уговаривают малыша попить молока. Жидкость попадает ребенку не в то горло, и он заходится кашлем, как будто задыхается. Миа трясет его. Братишка с новой силой неистово кричит. Краем глаза Миа видит детей, все еще сидящих за столом в кафетерии. Кажется, Андреас и Сине ссорятся из-за картошки-фри. Сине бьет Андреаса по голове, тот хватает девочку за волосы. Они катятся по полу. Мужчина за соседним столиком встает и вмешивается, его жена неодобрительно качает головой. Николай бежит к машине с ребенком на руках, Миа мчится обратно в кафетерий. Дети продолжают сидеть на полу. Сине хнычет. Андреас слизывает соус ремолад с пальцев. Пара за соседним столиком провожает ее глазами, пока Миа собирает верхнюю одежду, сумки и зовет Тобиаса, который ничего не слышит из-за громкой музыки в наушниках. Она берет Сине и Андреаса за руки и выводит их на улицу. Андреас ковыляет. «Почему мы уходим, я еще не поел», — жалуется мальчик. «Отпусти меня! — кричит Сине и вырывается. — Я ничего не сделала! Что я натворила?»

Братишка успокаивается через десять минут после начала пути. Десять минут непрекращающегося рева. Сине и Андреас, зажав уши руками, укоризненно смотрят на Миа. Во рту женщина ощущает привкус жирной пищи и слабого кофе. Опускается темнота. Миа в предвкушении ночи с Николаем. Как здорово будет провести отпуск всем вместе. Она думает, надо будет найти врача, который осмотрел бы ногу Андреаса. Женщина разглядывает свои сложенные белые руки. Она замечает, как сердце вдруг стучит чаще, когда она кладет руку на плечо Тобиаса и сжимает его. Мальчик наполовину поворачивается и с удивлением смотрит темными глазами. Звонит телефон Миа. Незнакомый голос сообщает, что дело касается ее матери. Она умерла.

Она не плачет

Аника стоит на пыльной платформе с куклой в голубой игрушечной коляске, подбитой тонким пластиком в синий горошек. Одной рукой она держится за отцовские серые фланелевые брюки, а другой размахивает в разные стороны. Ее внимание привлекла девочка на противоположной стороне, сидящая на коленях у матери. Девочка обняла маму за шею и прижалась щекой к ее лицу. Аника с отцом провели на перроне какое-то время. Он читает газету и отстраненно отвечает на вопросы дочери.

«Это наш поезд?»

Он кивает.

«Точно наш?»

«Нет».

«Почему ты читаешь газету?»

«Ммм…»

До вокзала они добирались на такси. Аника мышкой сидела на заднем сиденье и рассматривала густые и седые волосы на макушке шофера. В машине плохо пахло. Ее отец разговаривал иначе, чем обычно, и странно смеялся на шутки водителя.

Она сильно плакала, когда они уезжали. Младенец срыгнул на мамину спину. Отец вынес громко кричащую Анику из квартиры. Они едут к бабушке и дедушке со стороны папы. Мама слишком устала, чтобы к ним присоединиться. Аника так не считает. Ведь младшая сестренка все время спит. Отец складывает газету и улыбается: «Приедем на паром, и знаешь, давай-ка съедим по мороженому».

Высокий, незнакомый мужчина с улыбкой подошел к отцу и Анике. Очевидно, он — знакомый отца, судя по тому, как они громко от всего сердца поприветствовали друг друга. Он зажал два чемодана между ногами, чтобы пожать руку.

«Это моя дочь Аника», — говорит отец, положив руку на голову девочки.

«В последний раз я ее в коляске видел!»

«Три года назад, — отвечает отец. — Ей сейчас три с половиной, и месяц назад у нас родилась еще девочка».

Незнакомец оторвал взгляд от Аники, посмотрел на отца и восторженно похлопал его по плечу.

«Поздравляю, старик, как я рад за тебя! Мама с малышкой хорошо себя чувствуют?»

В этот момент Аника зажимает коляску с куклой между коленями и стоит подбоченившись. Она находится между двумя мужчинами. Девочка рассматривает лицо незнакомца. Ей больше не хочется возвращаться домой к маме, к желтым занавескам и коту, вечно дремлющему с полузакрытыми глазами в лучах солнца на кухонном полу. Она с абсолютной точностью скопировала позы обоих мужчин и вновь бросила взгляд на девочку, продолжающую прижиматься к загорелой матери. Глупая девчонка! Аника ощущает коляску между голыми коленями. Она надувает пузырь из слюны, который лопается, оставляя мокрое пятно вокруг рта. Аника показывает язык девочке. Она чувствует себя крупной и высокой. Ощущение немного похоже на то, когда они с мамой ходили в бассейн, она завизжала, войдя в холодную воду, но в целом было приятно. Девочка, как отец, переносит вес на левую ногу. Что-то необыкновенное охватывает ее тело, что-то бархатисто-мягкое и темное, но сильно освещенное. Она — Человек. Девочка не может устоять на месте, ей хочется прыгать, бежать к мусорному ведру на другом конце платформы. Мельком взглянув на отца и мужчину,

говорящего глубоким ворчливым голосом, убеждается, что они стоят абсолютно спокойно, словно запертые в большие медвежеобразные тела. Аника остается стоять, потирая, как отец, подбородок большим и указательным пальцами. Именно тогда незнакомец обращает внимание на девочку. Он замолкает на середине предложения, и улыбка растекается по лицу. Незнакомец прыскает и подносит руку ко рту. Отец с удивлением следит за взглядом мужчины и беспричинно заливается смехом, осматривая Анику, и прекращает только тогда, когда взгляд падает на зажатую между коленями коляску, а затем — на серьезное лицо девочки. Аника прячется за отца. В голове и животе горит нечто. Отец склоняется и берет ее на руки. «Тебе нечего смущаться», — он пытается овладеть голосом. Смотрит на друга и вновь хохочет. «Нас смешит, что ты стоишь, как мы». Голос отца звенит. «Так смешно!» Двое мужчин не сдерживаются и опять смеются, не в силах остановиться. Отец огромной рукой подтягивает девочкино лицо к своему. Аника душераздирающе плачет, глядя на девочку на противоположной платформе, которую в этот момент мама опустила на землю. Девочка немедленно убегает и карабкается на скамейку. Аника плачет громче. Смех становится тише. «Солнышко, нет повода для слез», — говорит отец. Подъезжает большой коричневый поезд с клокочущим и шипящим звуком. Отец быстро прощается с другом и заходит в поезд с Аникой на руках. В купе он сажает ее на сиденье и с улыбкой качает головой. Хлюпая носом, девочка встает на колени и прижимается лбом к стеклу. Она разглядывает голубую коляску, оставшуюся на платформе. Не произносит ни слова. Она ощущает запах отцовского курительного табака. Окно на вкус кислое. Маленькое черное зернышко, напоминающее зрачок в одном глазу отца, которое косит, когда отец не знает, что сказать, теперь посеяно у нее внутри. Аника чувствует, как клокочет в животе, но не плачет. Поезд отъезжает от платформы. Поля и леса проносятся мимо. Такие далекие и зеленые. Она не плачет.

Возможности

По пути к машине обращаюсь к нему: «Мне не нравятся машины. Они мне никогда особенно не нравились. Мне кажется, наши отношения были лучше, когда мы ездили на велосипеде или ходили пешком».

Мы сидим рядом и пристегиваем ремни безопасности. Я произношу: «Наши отношения раньше были лучше. Мы радовались друг другу».

Андре смешной. Одно имя чего стоит: Андре Жан Хансен. Громко смеялась, когда он впервые представился. Не то чтобы в его жилах текла французская кровь, просто его мать в юности ездила на автобусную экскурсию в Париж. Сейчас он сконцентрирован на вождении, прибавляет скорость на автотрассе и веселится, совершая обгон и без конца меняя полосу. Беспрерывно переключает радиоканалы. Он неугомонен, не может сидеть на месте; говорит, что любит скорость и приключения. Поэтому мы часто переезжаем. Он быстро устает от города. Как только знакомится с городом и доходит до приветствия людей на улице, возвращается домой и заявляет: «Не могу здесь жить, надо искать другое место».

Со временем это отягощает. Андре просит меня еще раз прочитать объявление: «Девяносто квадратных метров, три комнаты, собственный сад, дополнительный расчет по ремонту». Андре в хорошем настроении, принимается мечтать о возможностях, описанных в объявлении. «Можем завести кроликов в саду и разбить огород». Он быстро приведет квартиру в отличное состояние. Я отвечаю: «Но, Андре, кролики сожрут огород. Они

ведь этим и питаются». Я молчу о его способностях делать ремонт, такое замечание испортит ему настроение.

Везде, где мы раньше жили, Андре строил грандиозные планы — снести стены и воздвигнуть новые, обклеить жилье редкими обоями и поднять потолки. Нигде ничего не происходило. Он уставал от самого факта переезда. Сидим на картонной коробке, полной кухонной утвари, я обреченно оглядываюсь, пока он пьет пиво. Андре похож на заспанного мальчика, которого следовало бы отнести в кровать.

Не могу его сдвинуть с места — он словно огромный хлеб весом больше ста килограммов. Шикарный мускулистый мужчина с крупными и открытыми чертами. Мне нравится, как он двигается, уверенно и элегантно вопреки массе тела. Как животное. Андре излучает уверенность, осторожность и красоту большого животного, кита или слона. У него отличная осанка, но, думаю, душа напоминает скорее душу обезьяны — беспокойная и полностью приземленная. Андре легко разочаровать, поэтому брать можно бархатными перчатками, что порой нелегко. Он произносит: «Посмотри, прекрасный квартал, масса света и воздуха, не так, как в большом городе».

Мы стоим перед красным светом светофора в небольшом городке с крошечными домиками и несколькими каменными виллами более ранней постройки, стоящими бок о бок вдоль дороги и простирающимися вглубь словно большие, спокойные пейзажи из желтого камня и редкой растительности.

Я — городской человек; довольна нынешней квартирой, хотя она маленькая и темноватая. Выходишь на улицу и встречаешь людей. Некоторые магазины открыты круглосуточно, с соседями можно столкнуться в подвале у стиральной машины или в местном кабачке. Мне нравится. Сколько раз повторяла Андре: «Почему мы не останемся здесь? Давай попробуем хотя бы на несколько лет!» — «С ума сошла? Здесь невозможно находиться!»

Он поворачивает на узкую улочку, останавливается у небольшого дряхлого двухэтажного дома. Моросит. Терпеть не могу кварталы с виллами в морось. Навевает печаль и чувство затворничества. Задыхаешься от нехватки воздуха. «Должно быть, здесь», — шутливо замечает Андре и хлопает дверью машины. Он закладывает руки в задние карманы. Он всегда так делает, когда напряжен. «Поторопись!» Должна признаться, не хочу. Вернулась бы домой в ту же секунду. Андре звонит в дверь, и после долгого ожидания появляется пожилая женщина с пугающим и недоверчивым выражением лица.

«Мы бы хотели взглянуть на квартиру», — объясняет Андре. Женщина молча впускает нас в коридор, где пахнет чем-то сырым и жареным одновременно. Андре выглядит счастливым, пока мы по очередному кругу осматриваем квартиру. «Тут мы можем устроить красивую спальню. Если снесем кухню и построим новую, будет потрясающе. Только взгляни, это джакузи! И гостиная с видом на сад! Сделаем нормальную изоляцию и будем проводить здесь зимние деньки». Спрашиваю об обогреве. Электрический. Стоит бешеных денег. «Без проблем, поставим пару печек. Знакомый продает использованные печки», — предлагает Андре. Почти плачу. Сад похож на поле битвы. Я бы лично никогда не назвала его садом. Останки велосипедов и мотоциклов вперемешку с садовой мебелью и тряпками, промокшими от дождя и, очевидно, полными мокриц.

«За такую-то цену!» Андре шепчет в ухо: «Почти даром». Старуха пристально следит за нами из глубины дома. Не нравятся мне ее глаза. Злобные. Об этом сообщаю Андре. «Чушь, она просто старая». Боюсь, что

закричу или меня стошнит. Ужасная тошнота накрыла. «Андре, квартира ужасная. Не хочу в ней жить». — «Ты так говоришь, потому что не представляешь, во что она *превратится*», — отвечает он. «У тебя всегда так». Договаривается с хозяйкой, что та пришлет договор на аренду как можно скорее. Впервые с момента нашего прихода она улыбается расчетливой и отталкивающей улыбкой.

Он машет ей из машины. Обращаю внимание, что занавески на верхнем этаже шевелятся. За нами кто-то наблюдает.

«Кофе за мой счет по такому случаю, — предлагает Андре и треплет меня по бедру. — Отличный квартал».

Мы подъезжаем к кабачку на окраине квартала вилл, где местные жители совершают покупки. Там же располагаются филиал банка, киоск и мясная лавка. В конце квартала — внушительное белое здание кабачка с вывеской «Zimmer frei»[1] на дверях. Посетителей — никого, за исключением супружеской пары с двумя безразмерными дочками-подростками, поедающими в углу селедку и котлеты. «Хочешь есть?» — спрашивает Андре. Отрицательно качаю головой. «Угощаю тортиком по случаю такого события». Он делает заказ, удобно устраивается на стуле и сияет как солнце. «Могли бы собаку завести, — мечтает он. — Большую, здоровую собаку, с которой будем совершать долгие прогулки. Ты что-то сказала?» Я молчу. Созерцаю семью: они все жрут... жрут... и не разговаривают друг с другом. «Немного тут гостей», — замечаю я. «Воскресенье ведь, — комментирует Андре. — В деревнях люди отдыхают дома». — «Никакая это не деревня, — думаю. — Ничего общего. Деревня — зерновые поля и крестьянские дома, пеларгонии на подоконниках и клубника со сливками». Иду в туалет, по возвращении обнаруживаю Андре, поглощающего гигантский «Наполеон». «Присоединяйся», — предлагает он с набитым ртом. Пьем кофе. Андре жизнерадостно приветствует семью по соседству. Мне становится стыдно от подобной фамильярности.

Вечером мы лежим на диване и смотрим телевизор. Андре вернулся из душа и по-детски пахнет сладким потом. Прижимаюсь к его сильной руке. На плече у него татуировка с моим именем, которую он сделал два года назад, когда мы жили в Ольборге. Я люблю его. Он сегодня вечером в хорошем расположении духа, нежно подразнивает меня и целует волосы. Позже он лежит на мне с закрытыми глазами, смешно пофыркивая. Нам хорошо в постели. Я люблю его.

Он засыпает, а я не могу не думать опять о доме, старухе и заброшенном саде. Меня это угнетает. Смотрю на крепко спящего Андре и понимаю, что мы должны переехать. Зная его, осознаю, что то место для него — настоящий рай. Этого у Андре не отнимешь. Также знаю, что он не будет утеплять зимнюю веранду, не снесет стены на кухне и насколько он устанет. Все вкупе.

Прошло две недели с тех пор, как мы смотрели дом, и сегодня мы переезжаем. Андре насвистывает, перенося последние вещи к машине. Я оглядываюсь в пустой комнате, провожу рукой по подоконнику и вздыхаю. Мне нравилось здесь жить. Андре с нетерпением зовет меня с улицы.

«Ты такая молчаливая. Что-нибудь произошло?» — спрашивает он по пути. Качаю головой и улыбаюсь. Не отнимешь у него, сразу меня раскусил. Ветрено, грузовик шатается из стороны в сторону на магистрали. Вещи трутся друг о друга и поскрипывают. От этих звуков меня бросает в дрожь. Андре включает печку. Старуха открывает дверь и отдает ключи, не сказав ни слова. Андре пытается пошутить, но ее лицо неподвижно и безэмоционально. Перетаскиваем вещи, я проветриваю комнаты и стара-

[1] Свободные комнаты.

юсь отдраить туалет. Жравчина и кальций, как слоистое пирожное, засели в унитазе, раковине и в том, что должно быть душевой кабиной. Старая пластиковая душевая занавеска валяется и воняет на полу. Поднимаю лицо к потолку, чтобы обратиться к Богу, и обнаруживаю здоровенные трещины и пятна от протечек не только на потолке, но и на стенах. Андре просовывает голову в дверь: «Ну, как обстоят дела? Кажется, нам потребуется новая душевая занавеска». Он указал на остатки старой, подошел и поцеловал меня в щеку. «Цветочек мой, что бы я без тебя делал?»

Затем я принимаюсь за сад. То есть, собираю мусор в кучу и надеюсь, что в этой безнадежной коммуне существует служба по вывозке нестандартного мусора. Ощущаю взгляд и инстинктивно поворачиваюсь в сторону дома. Вновь оконная занавеска колышется так, словно кто-то отошел от окна. «Андре, иди сюда!» — кричу я. Он не отвечает.

Нахожу его в гостиной, он упал на кухонный стул. С банкой пива сидит неподвижно и отсутствующим взглядом смотрит на стену. «Андре, — обращаюсь к нему нежно. — Кто-то следил за мной с верхнего этажа, когда я работала в саду и... Андре?» Прекрасно знаю, в чем дело.

«Я устал, — отвечает он. — Внезапно я устал». Вижу, он достиг того момента, когда не может подняться. Андре отпивает пива и поворачивается спиной.

К вечеру мне более-менее удалось привести квартиру в порядок. Кухня пригодна для использования. Я установила кровать в одной из комнат. Заранее купленные свечки, равномерно распределенные по бутылкам, немного освещают пространство желтым подрагивающим светом. «Дорогой, не проверишь электричество завтра? — интересуюсь. — Нам нужно какое-нибудь освещение». Андре слушает спортивный канал по радио и бросает непонимающий взгляд в мою сторону. Мерзну в непродуваемой куртке и поглубже залезаю под одеяло. Рассматриваю на стене тени от свечей.

На улице весна, всегда найдется работа на пару часов в саду во второй половине дня. Периодически возникает чувство, что за мной наблюдают со второго этажа. Как-то стою, склонившись, пытаясь придать земле вид клумбы, резко оборачиваюсь, успевая заметить бледное лицо и руку, задергивающую занавеску. Ярость вскипает. Отряхиваю руки, в ушах шумит. Отшвыриваю тяпку и взлетаю по ступенькам. Молочу изо всех сил в дверь, и поначалу никто не открывают. Кричу в щель для писем: «Знаю, вы там, открывайте!» Тишина. Тогда в меня вселяется черт, бью в дверь спиной и продолжаю кричать. Наконец дверь приоткрывается, свет выдает образ старухи. Отталкиваю ее в сторону, вваливаюсь в дверь. Пахнет отвратительно. Маленькое пространство заставлено темной, громоздкой мебелью, шипит кот, в клетке летает несколько птиц. «Кто таращится на меня? — ору и иду по квартире. — Кто вечно занят тем, что пялится?» Пораженная старуха следует за мной, что-то бубня.

Я ее вижу. В инвалидной коляске, с опущенной головой. Больная, толстая, с грязными волосами. «Посмотри на меня! — кричу. — Подними голову и посмотри на меня». В замешательстве поднимает взгляд. «Что ты хочешь от меня?» — упираюсь в нее взглядом. «Следи за языком». Она сжимает руки на коленях, и вижу ее слезы. «Моя сестра Эдит, — говорит старуха глухим голосом. — Она больна, ничего нельзя сделать».

«Зачем она это делает? Шпионит за людьми?»

«Она... просто... определенные странности».

Эдит ревет, как маленький ребенок. Старуха строго смотрит на сестру: «Я тебе говорила оставить новенькую в покое». Обращается ко мне: «Мужчины. Она их терпеть не может. Разрешение... — На мгновение кажется, что

она сломается, но на лице появляется непроницаемое выражение. — Она не может совладать с собой. Что вы сделали с входной дверью?!» Кот трется о мои ноги, Эдит пускает слюни, я не могу дышать из-за запаха гнилой и пережаренной еды, кошачьей мочи и пыли. Без слов покидаю комнату. На негнущихся ногах часами брожу по кварталу одноэтажных домов по пустынным дорогам.

Когда Андре возвращается домой, рассказываю ему о произошедшем. Говорю, что хочу переехать. Мне не нравится, что меня уже знают в кондитерской, и не могу жить под одной крышей с двумя сестрами. Продолжаю: «Больше не вынесу этот город, надо искать что-то другое». Андре неуверенно смеется и с недоверием и страхом смотрит на меня. «Переехать? Но, дорогая... Ты несерьезно, — он аккуратно обнимает меня за плечи и легонько встряхивает. — Ты ведь не хочешь переезжать? Это невозможно». Наоборот. Убеждена, Эдит влюблена в Андре, что действует на меня, как красная тряпка на быка. Уверена на все сто. Она боготворит Андре, корова эдакая. От нее мурашки бегут по коже.

Он — большое животное, большое раненое животное, лежит на кровати и вздыхает. Широкие руки свисают над полом. Он смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Помнишь, говорила, что когда мы ездили на велосипедах, мы были счастливы. Помнишь? — Беру его руку в свою. — Предлагаю продать машину и купить велосипеды. Найдем новое жилье и продадим автомобиль. Все своим чередом. Мне никогда особенно не нравились машины». — «Новое жилье? — повторяет он. — Ты действительно это имеешь в виду?» — «В подтверждение угощаю обедом. — Вдруг меня охватывает легкость и воздушность. — Пошли пообедаем в кабачке».

Мы заказываем вырезку с мягким луком и пиво. Андре постепенно оживает и после четырех стаканов пива шепчет через стол: «Ты права. Нездоровое здесь место. На самом деле нездоровое». Смеемся, наши глаза сверкают. Сияют, защищая нас от кабачка, города, дома и сестер на втором этаже. Защищая от высокоскоростной машины и усталости Андре. Отодвигаю стул и чувствую себя в своей тарелке. Сцепляем руки и сидим так долго, смеясь над официантом.

Ночью не сплю, слушаю дождь. Думаю о женщинах наверху и обнаруживаю, что злость сменилась сочувствием. Не всегда удается справиться со странностями. Смотрю на Андре, который крепко спит и знает, что мы переезжаем. Он что-то бормочет во сне, руки липкие от пота. Я люблю его. Мы переезжаем, и любовь — неотъемлемая часть процесса. Все части складываются в пазл.

Шепот

Они всегда так сидели в гостиной, когда она приезжала домой: отец — на стуле, они с матерью — на диване. На столике между ними зажжена маленькая лампа, гостиная погружена в полумрак, кое-где освещена желтоватым светом.

«Ну-с, — обычно начинал отец. — Как дела с учебой?» — «Нормально», — как правило отвечала она, отрывая кутикулу на ногте. Мать начинала интересоваться деталями: хватает ли денег, встречается ли она с подругами из гимназии, хватает ли на все времени. Отец возвращался к книге и вскоре засыпал. «Похоже, спит», — восклицала мать. Она брала его под руку и выводила из гостиной.

Ее отец. Высокий, умный отец в очках. Он отлично владел несколькими языками; сидел в кабинете, где книги и бумаги покрывали мебель и пол; в вязаной жилетке сидел, согнувшись, за столом. Она тихо стучала в дверь и, услышав глухое «войдите», входила в комнату. Он не поднимал глаз. «Что-нибудь нужно?» — по обыкновению спрашивала она. «Хм», — бубнил отец. Она стояла в дверях тихо, как мышка. С полки с грустью смотрело чучело орла. Внезапно он замечал ее и проводил рукой по волосам. «Это ты? — в изумлении вопрошал он. — Что ты вообще здесь делаешь?»

Она занимала немного места на его коленях, но была высокой и с такой светлой кожей, что мать постоянно думала, что девочка страдала анемией. «Разговоры, бесконечные разговоры, — говорил отец. — Разговоры ни о чем».

Отец мог напиваться в кабинете до такой степени, что дом ходил ходуном. Иногда он напивался и кидал бутылки, которые либо разбивались, либо катались по полу. Однажды она спросила мать: «Почему он не выходит?» Она лежала в кровати, мать сидела на краю, изменилась в лице от вопроса. «Он не хочет иметь с нами ничего общего, — ответила она громко, не отрывая взгляда от колышущихся занавесок. Помолчав, добавила отсутствующим голосом: — Не думай об этом и никогда меня ни о чем подобном не спрашивай».

Потом они с матерью, высокие и худые, шли нога в ногу по улице, опуская голову при сильных порывах ветра. «Учись прилежно в школе, это радует отца. Само собой разумеется», — говорила мать. Она была зубрилой, отличницей, которая писала хоть и неряшливо, но быстро. Талантливая ученица, чьи одноклассники не замечали необычной мимики лица, с годами развивавшейся в комплекс неосознанных движений: подергивание рта, часто моргающие глаза, рука, теребящая левое ухо, сам по себе шевелящийся нос, выворачивающиеся губы, обнажающие белые зубы, и беспокойный язык.

Она сдала экзамены с высшим в школе средним баллом. Мать, разодевшаяся от гордости, пригласила ее отметить окончание школы пиром из супа, жаркого и торта. «Прилично, прилично. Налегла бы на физику, получила бы одни отличные оценки», — прокомментировал отец. Она ощущала себя ничтожной и нелепой в белом платье, которое одновременно облегало и висело на фигуре. Другие девочки светились от счастья, облизывая накрашенные красной помадой губы; мальчики курили сигареты, вдыхая аромат девичьих каштановых волос во время танцев. Она принимала подарки, распаковывала их и благодарила. Без конца разглаживала платье. Потела. Грызла ногти. Опустилась на колено, поднялась и пошла, размахивая длинными руками. Она сидела в своей комнате в тот день, когда отец не вышел из комнаты. Гости громко заговорили, а мать с вежливой улыбкой попросила их разойтись по домам. «Прекрасно выглядишь», — заметила мать, поправив волосы девочки, лежащей в теплой постели, потирая кисти рук, не в состоянии заснуть.

Когда она приезжает домой, мать сервирует обед не как обычно на кухне, когда она жила дома, а в гостиной за круглым столом. Мать стелет скатерть и выкладывает отутюженные салфетки. Они пьют вино из бокалов на высокой ножке. Зимой темнеет очень быстро. Внезапно среди молчания отец произносит: «Да, солнце закатилось». Иногда она остается на ночь, мать стелет постель в ее старой комнате, утром она просыпается и видит отца, наблюдающего за ней. Он стоит в дверях, облокотившись рукой на косяк. Комната отражается в очках, она видит свое отражение. Но не видит

глаз. «Проснулась, — произносит он. — Я сомневался, проснулась ты или нет». Она садится и улыбается. «Хочу попрощаться, — говорит отец. — До свидания», — и уходит.

Он наблюдал за ее сном.

«Ты встретила интересных людей в университете? — улыбается мать заискивающе. Не получив немедленного ответа, продолжает: — Ты не чувствуешь себя одинокой? Ты же знаешь, тебя здесь всегда ждут. Мы с папой рады твоим приездам, особенно папа. Когда ты приезжаешь. Ты не должна чувствовать себя одинокой…» — «Я и не чувствую. Вокруг много людей», — отвечает она. Мать улыбается: «Так и должно быть. В большом месте как Университет».

Они стоят в коридоре. Мать пихает сумку с хлебом, вареньем, несколькими яблоками из сада, достает пару купюр из кошелька. «Возьми, — она выглядит растерянной и уставшей. Подбородок дрожит. — Приезжай поскорее». Они обнимаются, она чувствует тяжелое материнское тело и влажный поцелуй на щеке. На улице холодно и ясно, она оглядывается и видит, как мать машет рукой.

«Хочешь стать *врачом*? — кричал отец. — Я правильно расслышал, ты хочешь стать врачом? Скажи, ты в своем уме?» Позже, сидя на своем стуле: «Врач. Любой идиот может им быть. Заучитьназубок способен каждый. Смешно... — Он с грохотом встал и прокричал: — Боже мой, моя дочь хочет быть знахаркой!»

Мать вывела отца из комнаты, шепча ей, что он слишком много выпил, что она не должна волноваться, он не имел в виду ничего плохого. Она поправила прическу, не зная, что еще сделать.

Мать спрашивает по телефону: «Встречаешься с подружками из гимназии? Денег хватает? А времени? Встретила интересных людей в Университете? Не чувствуешь себя одинокой? — Продолжает: — Отец передает привет. Да, спасибо, у него все хорошо».

Подергивание рта, рука, теребящая левое ухо, сам по себе дергающийся нос и часто моргающие глаза. Она хочет стать врачом, протягивать руку помощи больным, которую они примут и будут доверять ей. Надеяться на нее и вкладывать свои руки в ее.

Ночью в больнице, где она сидит, темно. Она рассматривает лицо девочки. Прислушивается к звенящему звуку, пронизывающему здание. Непрекращающемуся завыванию. Дыхание спящих и бодрствующих, крики новорожденных, последние глубокие вздохи умирающих. Звуки смешиваются, становятся единым. Она прислушивается к этому звуку, лицо успокаивается. Она сидит в темном и теплом коконе халата и наблюдает за ребенком. Ничто на свете не может помешать.

В общежитии один молодой человек изучающе наблюдал за ней. Спустя время он пригласил ее в кино. Он хотел знать, чему она учится, взглянуть на ее комнату. Он смотрел ей в глаза и вел себя настойчиво. У него серые глаза, родом он из провинции. Она задумывалась над его акцентом, чувствуя, что он ей нравится.

Иногда, при встрече на кухне, они касались друг друга локтями, моя посуду или нарезая лук. Он получил стипендию на обучение за границей. Перед отъездом поручил ей горшки с цветами. Она поливала их и ощипывала сухие листики.

«Все эти разговоры ни о чем, — говорит отец, когда мать непринужденно болтает. — Букашки, фигашки... Замолчи, да заткнись ты!» — «Но мы же просто разговариваем», — оправдывается мать. «Вы убиваете время, а это — единственное, что у нас есть». Он допивает содержимое стакана и уходит из комнаты. Он постарел и сгорбился. Отец шаркает ногами по ковру. Они слышат его крик из кабинета: «Время! Время, время, время, время, время…» Мать качает головой и улыбается. Она, скорее всего, сдерживает слезы. Мать собирает чашки на поднос и сообщает, что уже поздно. «Мам, ты плачешь?» — осмеливается она спросить через раковину. «Нет, конечно! Почему я должна плакать?» Мать снимает передник, поворачивается и треплет ее по щеке. «Спокойной ночи, дорогая, спи спокойно».

Отец дает ей с собой книги с добрыми пожеланиями, которые никогда не обсуждаются. Она ставит книги на полку, но у нее нет сил их читать. Он продолжает незаметно подкладывать книги в ее сумку.

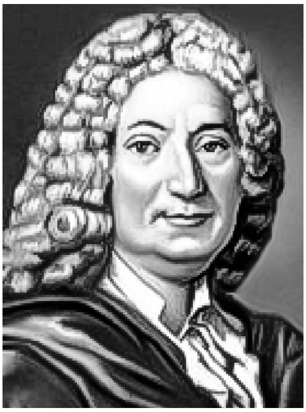
Она входит в палату, где спит маленькая девочка. Садится рядом и откидывается на спинку стула. За большим окном светится город, над ним — нечеткие контуры бледных звезд. Она склоняется над девочкой, которая размеренно дышит. Ей снится ребенок, бегущий по холму, его звонкий смех и сияющие глаза. Она просыпается, проверяет зонд и девочкин пульс. Она думает о родительском доме, гостиной, кухне и отцовском кабинете. Опять садится. Закрадывается мысль, что она может какое-то время там не появляться. Прекратить отвечать на телефонные звонки. Может прекратить.

Ее лицо успокаивается при взгляде на ребенка. Звук пронизывает здание больницы, словно свистящий шепот. Она хочет протянуть кому-то руку…

Перевод с датского Юлии БЕЛАВИНОЙ.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

Переводчики, которым хочется сказать «спасибо»



Ален-Рене ЛЕСАЖ
(8 мая 1668 года — 16 сентября 1747 года)

Он работал, чтобы жить. Такова жизнь Лесажа, изложенная в четырех словах.

Анатоль ФРАНС

1715 год во Франции ознаменовался двумя поистине судьбоносными событиями, каждое из которых, можно сказать, навечно «засветилось» в этой самой вечности. Во-первых, «почил в Бозе», как писали в подобных случаях раньше, «Король-Солнце» Людовик XIV де Бурбон, правивший своими подданными без малого три четверти века (72 года, если точно). Дольше, чем какой-либо другой европейский монарх за всю историю Европы. Недаром эпоха правления Короля-Солнца именуется не иначе, как Великим веком. Но, как говорится, король умер. Да здравствует… Кто? Вот уж на этот вопрос трудно ответить однозначно. Ибо в том же самом 1715 году на свет появился знаменитый, без всякого преувеличения, легендарный литературный герой, обаятельный слуга Жиль Блас, вполне могущий посоперничать своей славой с усопшим французским монархом. Великий предтеча еще одного ловкого пройдохи и весельчака по имени Фигаро, который явит себя миру спустя почти шестьдесят лет. Знаменитый «Севильский цирюльник», как известно, был написан Бомарше в 1773 году.

Однако при чем здесь переводчики? — быть может, в недоумении спросит кто-то. А вот при том! — отвечу я, ибо Ален-Рене Лесаж, воистину человек своего времени, достойный предшественник великих французских энциклопедистов (кстати, первый том «Энциклопедии» вышел спустя три года после смерти Лесажа), так вот, автор одного из наиболее знаменитых плутовских романов в мировой литературе, подаривший миру симпатягу и неунывающего оптимиста Жиля Бласа, был по своей основной профессии переводчиком. Более того, всю свою жизнь он зарабатывал себе на эту самую жизнь, в первую очередь, именно переводами. А следовательно, наш разговор об Ален-Рене Лесаже вполне уместен, ибо уж кому-кому, а ему-то точно есть за что сказать «спасибо». И не один раз! Поверьте мне на слово!

Но прежде чем начать наш предметный разговор о персоне переводчика, давайте поговорим немного о той эпохе, в которую он жил и творил, а попутно еще и переводил. Яркая, великолепная, роскошная, славная эпоха, поражающая воображение любого, кто погружается в ее изучение, даже самое поверхностное. Какие имена! Какие люди! Известный французский историк Жан-Франсуа Бассине, автор книги «Франция Людовика XIV. Время великих людей», ссылаясь на авторитет таких признанных мэтров французской культуры, как Шарль Перро и Вольтер (последний даже написал целую книгу под названием «Век Людовика

Великого»), цитирует их основополагающую характеристику эпохи: семьдесят лет правления Короля-Солнца не только обогатили европейскую цивилизацию по всем направлениям экономической, политической, военной, культурной, правовой жизни государства, но и составили славу этого государства, во многом так и оставшуюся непревзойденной ни будущими потомками короля, ни другими правителями Европы, включая и мятежного корсиканца Бонапарта. В какой-то степени последние слова умирающего Людовика XIV оказались пророческими: «Я ухожу, но государство пребудет вечно». Что ж, человек, провозгласивший когда-то: «Государство — это я», знал, о чем говорил. Да и потрудился он во благо этого государства немало. А потому можно было бы и переиначить последнюю реплику умирающего монарха и сказать так: «Я ухожу, но слава обо мне сохранится навечно». Ибо и то, и другое абсолютно верно.

А ведь ничто поначалу не предвещало такую звездную судьбу очередному монарху, сменившему на троне своего отца. Казалось, все было против. Будущему королю исполнилось всего лишь четыре года, когда умер его отец, Людовик XIII. Невеселая это участь быть королем при многочисленных регентах, жадно взирающих на временно опустевший трон. Тому тьма трагических примеров в мировой истории, не так ли? Одна гибель царевича Димитрия в Угличе чего стоит!

Вот и во Франции… Все шатко, все ненадежно и зыбко в своей неопределенности. Даже официальная коронация в Реймсе, последовавшая в 1654 году, не поспособствовала какому-то серьезному упрочению позиций будущего абсолюта. В стране бушевала Фронда, соседи строили каверзные планы, горя желанием немедля отхватить лакомые куски французских территорий, в том числе и заморских. Но как писали раньше во всяких классических романах, Провидение хранило Людовика. Недаром в народе его называли Людовиком Богоданным, а еще «ребенком-чудо». Ведь он же появился на свет спустя — страшно подумать! — целых двадцать два года после свадьбы своих родителей.

И действительно, постепенно все как-то утрясается, устаканивается, разрешается, если и не само собой, то все равно, к вящему изумлению всех и вся, вполне благополучно. Ребенок растет, взрослеет под неусыпной опекой матери, королевы Анны Австрийской, и Первого министра, кардинала Мазарини. В положенный срок двадцатидвухлетнего монарха женят на испанской инфанте Марии-Терезии (очень выгодный династический брак с точки зрения высокой политики и интересов государства). А годом позже, 9 марта 1661 года, умирает Мазарини, и молодой монарх решительно объявляет своим подданным, что отныне и навсегда (то есть до своего смертного часа) страной будет править сам. Единолично! Вот это и есть начало Великой эпохи Короля-Солнца.

Кстати, в этой связи вполне уместно сделать первое отступление и обратиться непосредственно к проблемам перевода. Которые (ох уж эти проблемы!) сопутствуют читающему народу почти повсеместно. В данном же конкретном случае речь у нас пойдет о девизе Людовика XIV, который венчает королевскую эмблему в виде солнца. Вот первозданный вид девиза на латыни: *“Nec pluribus impar”*. А вот и перевод сей фразы на русский язык, приведенный не где-нибудь, а в Словаре латинских крылатых слов, изданном в 1982 году в таком авторитетном и серьезном издательстве, как «Русский язык», город Москва. И перевод этот — увы и ах! — мягко говоря, не совсем корректен. А грубо говоря, в корне неверен и ошибочен. Итак, перевод: *Не уступающий и множеству*. Неверно! Неправильно! Ибо суть прямо противоположна тому, что мы читаем на русском. Ведь коротенькая латинская фраза содержит в себе целых два отрицания: слово *nec* и приставку *im-*, тоже придающую слову отрицательное значение. После их вза-

имного сокращения в процессе перевода (два минуса дают плюс) получаем на выходе уже не отрицание, а утверждение. Такая трансформация отрицательного предложения в утвердительное в теории перевода именуется антонимическим переводом. В результате мы имеем вот такой буквальный перевод: «Для многих равный», — тот самый знаменитый постулат абсолютного французского монарха: *Первый среди равных,* что означает, уже по умолчанию, что монарх одинаково справедлив и милостив ко всем своим подданным. Иными словами, никакого самовыпячивания по принципу «Я выше всех!» в девизе Людовика XIV нет и в помине. Где и как, а главное — когда, закралась в перевод сия досадная ошибка, сказать трудно. Но она продолжает упорно тиражироваться и по сей день. Хорошо хоть, авторы перевода романа Дюма «Виконт де Бражелон» (1958 год), действие в котором как раз и разворачивается в эпоху Короля-Солнца, почли за лучшее оставить королевский девиз непереведенным, в его латинском звучании. И правильно сделали! Уж лучше так, чем с ошибками.

Позволю себе сделать и второе отступление от темы, ибо в истории мировой переводческой практики случаются и более судьбоносные ошибки. И вот одна из самых ярких, впрямую повлиявшая на весь ход мировой истории XX века. Я имею в виду перевод труда Карла Маркса «Капитал» на русский язык. Он был выполнен известным революционером-демократом, близко знавшим самого Маркса, Германом Лопатиным. Лопатин тесно общался с автором, советовался с ним по многим серьезным вопросам — и все же одну ошибку допустил. И какую! Цена ей, воистину, многие и многие сотни более мелких и незначительных погрешностей.

Речь идет о переводе слова *aufheben,* которое Карл Маркс использует в своих рассуждениях о частной собственности, в том числе и о собственности на средства производства. Недрогнувшей рукой Герман Лопатин пишет о полном упразднении и уничтожении частной собственности, начисто забыв о том, что Карл Маркс использовал в тексте философский термин Гегеля «снятие». По Гегелю, этот термин означает момент развития, «в котором сохранены как отрицание, так и сохранение». То есть ни о каком одномоментном отказе от частной собственности Карл Маркс на самом деле и не помышлял. Он лишь предполагал непрерывный и преемственный процесс развития общественных отношений, упраздняющий отжившее, но сберегающий то позитивное, что есть в том или ином явлении. Трудно сказать, как развивалось бы государство победивших большевиков, имей они на руках правильный перевод «Капитала». Вполне возможно, обошлись бы без такого крутого слома частной собственности, который развернулся в первые послереволюционные годы. Разве что Ленин прозорливо пытался исправить переводческие ошибки, вводя в стране НЭП. Ну да Ленин вскоре умер, а вместе с ним сняли с повестки дня и проблему «снятия». Вот такие вот дела творятся порой на территориях, подконтрольных переводчикам.

Однако вернемся ко временам виконта де Бражелона и поговорим об эпохе Людовика XIV, так сказать, в лицах. Целая россыпь ярчайших личностей и блистательных имен. Судите сами!

Наука и философия: Декарт, Лабрюйер, Ларошфуко, Паскаль, Сен-Симон и многие другие. Сюда же стоит присовокупить и главное достижение Французской Академии наук, учрежденной еще кардиналом Ришелье в 1635 году. А уже спустя всего лишь каких-то неполных шесть десятилетий (1694 год) академики издают фундаментальный труд под названием «Словарь французского языка». Отныне и навсегда! Одна нация, один язык и один самый главный словарь. А ведь в первые десятилетия правления Короля-Солнца большинство французов разговаривали на своих местных диалектах и наречиях. Лишь только парижане более или менее владели

так называемым государственным, то есть общенациональным языком, в то время как, скажем, для жителей Прованса или Гаскони понять коренных обитателей Нормандии или Эльзаса было практически неразрешимой задачей.

Но коль скоро есть общенациональный язык, зафиксированный в общенациональном словаре, то есть и литература, написанная на этом языке. И какая, доложу я вам! Корнель, Расин, Мольер, зачинательница психологического романа в европейской литературе, несравненная мадам де Лафайет, бьющая все рекорды популярности среди своих современников, мадам де Скюдери, которая пишет вроде бы о них, о современниках, но в этаких соблазнительных восточноперсидских декорациях. Именно с нее, кстати, и начинается мода на ориентализм и все восточное: султаны, гаремы, оттоманки, опахала и прочее, и прочее. А знаменитые письма мадам де Севинье, копии с которых начинают циркулировать по парижским салонам уже вскоре после ее смерти.

Но как не упомянуть имя Никола Буало, когда ведешь речь о великой эпохе великого короля? Главный труд всей жизни Буало — это «Поэтическое искусство» (1674 год). В четырех песнях этой грандиозной поэмы академик, личный историограф короля и придворный поэт четко и ясно формулирует основополагающие принципы классической эстетики в области литературы, обозначив основной вектор развития отечественной словесности на многие столетия вперед. И вот какими качествами должен обладать «честный литератор», по мнению Буало: призвание и вдохновение, приличие и здравый смысл, ясность и правдоподобие, причем сей перечень распространяется на все литературные жанры без исключения. А что? Хорошие, правильные принципы. А главное — ничуть не утратившие своей актуальности и по сей день. Вот бы и современным авторам почаще оглядываться на рекомендации академика эпохи Людовика XIV. Тогда бы меньше было разговоров о призвании, а больше забот о правдоподобии и ясности в сочетании с приличием и здравым смыслом.

Но идем дальше. Живопись: Пуссен, Лоррен, Лебрен. Именно последнему, своему любимцу, король доверяет самое дорогое свое детище: роспись парадных залов Версальского дворца.

А Андре Ленотр! Главный садовод, дизайнер паркового ландшафта, как именуют таких специалистов сегодня, создатель так называемого «французского стиля» в парковом искусстве. Один Версальский парк чего стоит!

Да и вообще Версаль и все то, что с ним связано, — это отдельная страница в истории Франции. Воистину, любимое и самое главное детище Людовика XIV, не поскупившегося ни в чем на создание памятника мировой архитектуры, навсегда обессмертившего его имя. Впервые молодой король переступает порог так называемого «охотничьего домика», расположенного на территории будущей королевской резиденции, в 1651 году. Десятью годами позже начинается масштабная реконструкция зданий и окружающих парков, а уже в 1668 году в обновленном Версале устраивается грандиозный праздник с фейерверками, балом, угощениями, балетом и прочими увеселениями. Под музыку Люлли и Шарпантье в балетном представлении участвует и сам король.

Что ж, все правильно! Ведь король не раз и не два заявлял своим сановникам, что праздники сплачивают народ. А потому бесконечная череда сменяющих друг друга праздников, позволяющих забыть многие печальные события и отвлечься от проблем дня сегодняшнего: неурожайные годы, сопровождающиеся голодом и разорением крестьянства, военные поражения, пустеющая казна, сложности мировой политики. Это все потом,

после… А пока любой повод годится для праздника. Торжественные въезды монарха (а он после окончательного переселения в Версаль, последовавшего в 1671 году, не часто жалует парижан своими посещениями), рождение наследников, свадьбы принцев и принцесс, визиты иностранных государей — все превращается в поражающие своей роскошью и великолепием представления, все ослепляет величием и пленяет красотой замысла и его исполнения. Когда слушаешь музыку Марка-Антуана Шарпантье (а ныне, после нескольких веков забвения, этот композитор вновь стал необыкновенно популярен и востребован во всех ведущих концертных залах мира), так вот, когда слушаешь его мотеты или оратории, то невольно погружаешься в те далекие времена и словно воочию видишь перед собой все великолепие французского двора, обосновавшегося в многочисленных Версальских дворцах. А если шире, то все великолепие той эпохи, освещенной Королем-Солнцем. И невольно ловишь себя на мысли, что так и тянет воскликнуть традиционную в таких случаях здравицу: «Да здравствует король!»

Хорошо! — слышу я голос рассерженного читателя, остужающего пыл воображения и немедленно возвращающего автора в день сегодняшний, — но где на этом радужном полотне, нарисованном тобой, разместился твой переводчик? Где он? Что он? И почему он?

Да вот же он! Вот! — тыкаю я пальцем куда-то на самый задний план своего импровизированного холста. Двадцатидвухлетний сын провинциального нотариуса в 1690 году прибывает в Париж из родной Бретани. Сколько их, таких же вот дерзких и самонадеянных молодых провинциалов, съезжалось (и съезжается!) в столицу с надеждой покорить этот главный город мира, а потом и весь мир. Достаточно вспомнить еще одного популярного литературного героя, созданного гением Дюма. Я имею в виду, конечно, легендарного гасконца Д'Артаньяна, который, впрочем, был реальным живым человеком. Но наш провинциал приехал в Париж вовсе не затем, чтобы стать мушкетером. Нет, он намеревается изучать право в Сорбонне и пойти по стопам отца: стать адвокатом. Хотя, если честно, мушкетерский чин нашему герою и так не светил. Ведь его родители (а они оба умерли, оставив сына круглым сиротою, когда тому едва минуло четырнадцать лет) не принадлежали к дворянскому сословию: типичные мещане. Что не помешало Лесажу всю жизнь гордиться своим якобы низким происхождением. Он даже свои труды подписывал не иначе как «Лесаж, парижский мещанин». Чувство собственного достоинства у этого человека было развито не менее сильно, чем у самого высокородного принца голубых кровей.

Правды ради стоит сказать, что к 1690 году, то есть к тому моменту, когда Лесаж приехал покорять Париж, солнечный диск Короля-Солнца изрядно потускнел и стал медленно, но неуклонно клониться к своему закату. Да и то правда! Ни одно светило, даже самое великое, не может светить вечно. Так что те четверть века, которые Лесаж прожил в Париже эпохи Людовика XIV, были не самыми безоблачными в истории государства. Как-то все сошлось воедино и завязалось в тугой узел бесконечной череды утрат, как личных, так и в масштабе всего королевства. Голод, охвативший Францию в самом начале девяностых, как следствие двух предшествующих неурожайных лет, смерть жены, королевы Марии-Терезии, на которую король откликнулся в своей традиционной афористичной манере: «Это единственное огорчение, которое она мне доставила». А если ко всем этим бедам присовокупить еще и затяжную войну за испанское наследство, которую Франция с переменным успехом вела на протяжении почти 15 лет, трагические события 1711—1712 годов, когда буквально в течение двенадцати месяцев умирают один за другим трое прямых наследников Людо-

вика XIV — Великий Дофин, герцог Бургундский и герцог Бретонский, то понятно и без слов, что королю было от чего впасть в апатию и погрузиться в религиозные медитации.

Под сводами Версальских дворцов уже больше не звучит танцевальная музыка и не слышится веселый смех придворных. Веселье осталось в прошлом. Но чем более запротоколированной и жесткой становится жизнь французов, начиная от представителей знати и кончая простолюдинами, тем чаще в великосветских гостиных и на рыночных площадях слышатся вольнодумные разговоры, суть которых сводится примерно к одному и тому же — дряхлеющий король уже не способен управлять страной так, как раньше.

А вот и еще любопытная деталь. Одновременно с набирающей обороты модой на все восточное во Франции небывалый бум любви ко всему испанскому. Испания, вопреки всем военным и политическим конфликтам, которые регулярно случались в отношениях двух соседних стран, не просто в фаворе у французов, она у них на пике своей популярности. Почему? Как страна высоколобых идальго, которые всегда ставили во главу угла свой истинный аристократизм и преданное до самозабвения служение королю, всегда гордились своим отнюдь не напускным благочестием и совсем не показной скромностью, доходящей до самого настоящего аскетизма (достаточно вспомнить целую вереницу этих «донов» исключительно в черных одеждах, навеки запечатленных кистью того же Веласкеса), как страна, владевшая всего лишь каких-то сто с небольшим лет тому назад половиной мира и неожиданно для всех уступившая почти все свои богатства более ловким, а по сути, более подлым и вероломным англосаксам, никогда особенно «не заморачивающимся» по поводу «хороших манер» или отсутствия оных, особенно когда речь идет о деньгах и бизнесе, так вот, как эта страна со своей славной и яркой историей медленно, но неуклонно скатывающаяся к положению провинциальных задворок Европы, как она вдруг почти в мгновение ока превратилась в эдакую «землю обетованную» для французов эпохи Короля-Солнца? Почему? Не потому ли, что понятия чести и верности, столь высоко ценимые прямодушными испанцами, были и для французов отнюдь не пустым звуком? В отличие, скажем, от их соседей по Ла-Маншу. Или потому, что французы тоже были готовы повторить вслед за никогда не унывающим героем Лесажа:

«Неудачи очистили мою душу, и в школе превратностей я научился пользоваться богатством, не становясь его рабом».

Наверное, да! В этом есть изрядная доля правды. Но не меньше манит французов времен Людовика XIV, уже изрядно подуставших от строгой регламентации общественной и культурной жизни в своем родном королевстве, и тот знаменитый налет чисто «испанской экзотики», которую все еще сохраняет страна-соседка в глазах тех, кто обитает по другую сторону Пиренеев. Все эти волоокие красавицы-махи в кружевных мантильях, прячущиеся в тени балконов, увитых розами, зловещие дуэньи, стерегущие юных прелестниц, гордые рыцари, всегда готовые пустить в ход шпагу для защиты своей чести и достоинства, серенады под луной и мелодичные напевы под гитару, зажигательные танцы, искрометная коррида, пылкие страсти, кровавая месть, любовь не на жизнь, а на смерть. Даже наличие инквизиции, продолжавшей вершить свое правосудие на просторах Испанского королевства, не отпугивало своей суровостью. А впрочем, чему удивляться? Ведь любовь к Испании, можно сказать, в крови у французов. Уже герои одного из первых героических французских эпосов «Песнь о Ролланде» воюют с маврами, помогая испанцам в их Реконкисте, борьбе местного населения за освобождение Пиренейского полуострова от владычества арабов.

Словом, новый всплеск интереса к Испании и ко всему испанскому, особенно на фоне необыкновенной популярности у читающей публики испанских плутовских романов, не заставил себя ждать. И вот уже мадам де Лафайет сочиняет в 1670 году свой роман из испанской жизни под названием «Заида». Еще раньше, в 1636 году, Пьер Корнель представляет публике трагедию «Сид», тоже по испанским мотивам. Мольер, вдохновленный средневековыми испанскими легендами, пишет своего «Дон Жуана», на подмостках парижских театров с небывалым успехом идут пьесы Лопе де Вега и Кальдерона. Последнего, кстати, наряду с другими испанскими драматургами, много переводил Лесаж. В 1700 году вышел в свет сборник его драматургических переводов под общим названием «Испанский театр», а в 1704 году был издан его перевод романа Авельянеды, конкурировавшего с Сервантесом за право называть «Дон Кихота» своим детищем, под названием «Новые приключения Дон Кихота Ламанчского». Словом, виват, Испания! Почти как у Михаила Светлова в его бессмертной «Гренаде»:

Он пел, озирая родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Пел ли что-либо подобное наш герой, гадать не берусь. А вот то, что Испания сыграла в его жизни судьбоносную и одновременно (в какой-то степени!) роковую роль, это факт, который не оспоришь. Но обо всем по порядку. Итак, молодой человек прилежно (или не очень!) изучает право в стенах Сорбонны. Однако в положенный срок на свет вылупляется не еще один нотариус, Лесаж-младший, как того ожидали родные парижского студента в далекой Бретани, а переводчик и «парижский мещанин» Ален-Рене Лесаж. Почему произошла такая метаморфоза с профессиональным выбором, сказать трудно. Какое-то время после получения диплома адвоката Лесаж подвизался в министерстве иностранных дел Франции, и именно в качестве переводчика испанского языка. Но очень скоро молодому человеку наскучило строчить переводы официальных дипломатических донесений, отчеты, приказы и прочую канцелярщину. Биографы утверждают, что к переводам произведений изящной словесности его приохотил сын тогдашнего министра иностранных дел Жюль де Лион, большой знаток и ценитель испанской литературы и всего испанского, с которым какое-то время приятельствовал Ален-Рене Лесаж. Именно де Лион и соблазнил молодого человека расстаться со скучными обязанностями клерка в присутственном месте и перейти на вольные хлеба, стать «фрилансером», выражаясь по-современному. На первых порах он даже назначил своему протеже пенсию за его переводческий труд в размере шестьсот ливров в год, а также регулярно подбрасывал заказы на новые переводы.

Словом, Лесаж, на тот момент уже досконально владевший испанским языком, с головой погрузился в стихию художественного перевода, по сути, став первым французским переводчиком-профессионалом, жившим исключительно на свои литературные заработки. А они, как известно, у всех переводчиков всех времен и народов, независимо от эпохи или востребованности того или иного произведения, переводимого с того или иного языка, всегда были (и остаются) предельно скромными. Что вынуждает переводчиков работать много и упорно, как говорится, на износ. Пожалуй, завидное исключение в истории финансирования переводческого труда составляет лишь советский период в жизни нашей страны, когда небольшой горстке переводчиков-элитариев, занимавшихся художественным переводом, выплачивали не только авторские гонорары, но и так называемые «потиражные», которые с учетом огромных тиражей издаваемых в то время книг выливались в довольно кругленькие суммы.

Наш же герой ни о каких потиражных и слыхом не слыхивал, а потому всю свою долгую (80 лет) жизнь прожил, как утверждают биографы, в гордой и независимой нищете. Официальных должностей он более не занимал, а выклянчивать пенсии у вельмож, типичная практика в литературной среде того времени, было не в его характере. Литературные же заработки во все времена, как известно, дело очень переменчивое и непостоянное: сегодня заказы на переводы есть, а завтра и послезавтра уже — увы! — нет и не предвидится.

Но поначалу все складывалось вроде бы и неплохо, и в первую очередь благодаря исключительной популярности, вплоть до самого конца XVIII века, испанского плутовского романа эпохи Золотого века. Историки литературы с полным правом называют испанский плутовской роман великим предтечей приключенческого романа, появившегося лишь в веке XIX. Суть и квинтэссенцию этого жанра можно вполне охарактеризовать строками из того же «Жиль Бласа»: *«О, жизнь человеческая! Сколь полна ты диковинных приключений и превратностей!»* Все так! Но обратимся к истокам, хотя бы в форме короткой справки.

В 1553 году в Испании появился на свет роман Мендозы «Жизнь Лазарильо из Тормес, его удачи и неудачи». С него-то и началась блистательная история испанского, а если шире, то и всего европейского плутовского романа. Умопомрачительные приключения человека, как правило, из низов (типичный герой плутовских романов), волей судьбы бросаемого то вверх, то вниз, который переживает кучу всяких напастей и бед, но умудряется, в итоге, выйти, что говорится, сухим из воды, и более того, добиться высокого положения в обществе и закончить свою жизнь (в рамках повествования) в полном согласии с законом и окружающими, при богатстве, при красавице жене, и прочее, и прочее, словом, такой герой не мог не вскружить головы тогдашним европейским книгочеям. И вскружил! Только в Англии роман Мендозы перевели на английский язык более десятка раз, а один из переводов выдержал целых двадцать изданий. Самый настоящий рекорд, особенно по меркам XVI столетия. Спустя небольшое время появляется еще один плутовской роман «Жизнеописание плута Гусмана де Альфраче», который по праву считается эталоном жанра. Автор романа Матео Алеман в полной мере вкусил прижизненную славу, ибо его детище было незамедлительно переведено на все ведущие европейские языки — английский, французский, итальянский, голландский. В той же Англии роман за шесть лет выдержал двадцать шесть изданий. Еще один несомненный рекорд. Кстати, на французский язык роман Алемана перевел Лесаж, но случилось это несколько позднее, уже в 1732 году. Разумеется, выше приведены лишь самые знаменитые, самые судьбоносные с точки зрения жанра романы, написанные испанцами. А вообще-то, их было *«тьмы и тьмы».* Испанская литература заполонила книжные рынки Европы ничуть не меньше, чем ныне опусы Донцовой и иже с нею. Словом, у переводчиков испанского языка той эпохи работы было хоть отбавляй. Как говорится, грех жаловаться.

Вот и наш герой. Переводил много и плодотворно. И не просто переводил! Великолепный знаток испанской истории и культуры, он был в числе первых переводчиков, кто отказался от «офранцуживания» не только имен собственных, но и национальных реалий, предметов быта и прочее. *«...Говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования»,* — призывал когда-то свою паству Апостол Павел в Первом послании к коринфянам (14—13). Этим даром Ален-Рене Лесаж владел поистине виртуозно. И вот уже на страницах его переводов замелькали герои с чисто испанскими именами: Жуан, а не Жан, Педро, а не Пьер, сеньора Леонарда, а не мадам Леонарда, а вместе с ними появились Диего, Лаура, Фабрисио,

сеньор кавальеро вместо шевалье, дуэньи, идальго, пикаро и множество других самых разнообразных подробностей национальной жизни Испании. Что тем более удивительно, если вспомнить, что сам Лесаж, согласно его биографам, никогда не был в Испании. Но доскональное владение языком позволило будущему автору «Жиль Бласа» не только проникнуться духом и культурой чужой страны, но и сделать эту чужую жизнь и историю понятной французскому читателю. Ну, и сила воображения… Ее тоже никто не отменял, особенно у гениев. Достаточно вспомнить в этой связи гениальные пушкинские строки.

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
Вот взошла луна златая,
Тише… чу… гитары звон…
Вот испанка молодая
Оперлася на балкон.

Сама, помнится, приобщалась по этим волшебным строкам к испанской экзотике в далеком детстве. А ведь Александр Сергеевич, представьте себе, тоже никогда не бывал в Испании. В отличие от многих сотен тысяч туристов из числа наших соотечественников, наводнивших современную Испанию и заполнивших ее пляжи. Готова побиться об заклад, что многие из них и понятия не имеют, что в стране, куда они прибыли на отдых, течет речка с таким мудреным названием. Убедилась в этом, проведя своеобразный тест на своих молодых родственниках.

Впрочем, бог с ней, с этой испанской экзотикой и доскональным знанием местного колорита. Беда подстерегала нашего героя, можно сказать, совсем из-за другого угла. Ведь в соответствии с законами диалектики, всякое количество в процессе своего накопления на каком-то определенном этапе неизбежно переходит в новое качество, являя миру то самое отрицание отрицания, которое (при неблагоприятном развитии событий) способно разрушить не только судьбу одного отдельного человека, но и судьбы всего человечества в целом. Словом, переводчика Лесажа вдруг (а может, и не вдруг!) в какой-то момент потянуло на собственное творчество.

А случилось все так. В 1704 году Лесаж получает заказ на новый перевод. На сей раз речь идет об известном романе «Хромой бес» испанца Луиса Велеса де Гевары (правда, ныне он известен исключительно благодаря Лесажу и его одноименному произведению), который был написан в 1641 году. Роман предлагает читателю фантасмагоричную историю о том, как бес любострастия, азартных игр и распутства по имени Асмодей *(«Я изобретатель каруселей, танцев, музыки, комедии и всех новейших мод»,* так этот персонаж характеризует себя самого в Первой главе), выпущенный из колбы студентом Клеофасом, в знак благодарности за свое освобождение возносит юношу над Мадридом и, приподняв крыши домов, показывает ему ночную жизнь большого города со всеми ее тайнами, пороками, забавными и смешными коллизиями. Лесаж с энтузиазмом берется за перевод. Однако уже после третьей главы роман Гевары скатывается в традиционное русло плутовских похождений героя, что категорически претит переводчику, уже сумевшему по достоинству оценить изюминку замысла испанца на ее начальном этапе. И тогда переводчик Лесаж решительно откладывает в сторону перевод и начинает писать собственное произведение, выдумывая все новые и новые эпизоды, доходящие порой до гротеска, но от этого не менее достоверные и поучительные, а главное — вполне

узнаваемые для читающей публики. Ведь Лесаж стал приподнимать уже не мадридские крыши, а крыши парижских домов, особняков и дворцов. В результате в 1707 году появляется оригинальное произведение автора за подписью Лесажа, но с тем же, первоначальным, названием: «Хромой бес». Успех творения Ален-Рене Лесажа был не просто оглушительный. Это был полный триумф, но с явным привкусом скандала. Ведь читатели мгновенно узнали тех персонажей, которые появились на страницах романа. Можно сказать, что в этой книге Ален-Рене Лесаж намного опередил свое время, выступив в качестве самого настоящего папарацци, предав гласности многие альковные и прочие тайны знатных и не очень знатных парижан.

Само собой, весь тираж первого издания разошелся, как горячие пирожки. Достоверно известно, что за право стать счастливым обладателем последнего экземпляра книги двое аристократов сошлись в дуэли, и один из них пал в ходе поединка, приравняв собственную жизнь к цене литературного вымысла и праву на его обладание. Совершенно беспрецедентный случай в истории мировой литературы. Но он был! И заслуживает того, чтобы о нем напомнили самому широкому кругу современных любителей книги.

«Надо придавать пороку приятную внешность, иначе он не будет нравиться», — цинично рассуждает Асмодей, демонстрируя ошарашенному студенту изнанку «красивой» жизни. Было от чего ошарашиться и читателю самого первого издания, на голову которого обрушился самый настоящий водопад информации о тех людях, которых он вроде бы и знал, а с некоторыми даже вроде бы и приятельствовал. Словом, скандал! Самый настоящий литературный скандал в благородном семействе французской литературы. Сохранился анекдот тех времен (причем слово «анекдот» в данном случае используется в его первоначальном значении, как «достоверная история, имевшая место тогда-то и тогда-то»), так вот, согласно одному из таких анекдотов, Никола Буало самолично драл за уши своих лакеев, если вдруг заставал их за чтением «Хромого беса». Конечно, главному теоретику классицизма претил «низкий жанр», в котором был написан роман, его коробили фривольности, которыми изобиловали многие сцены романа, впрочем, вполне невинные в сопоставлении, скажем, с тем же Шодерло де Лакло и его «Опасными связями». Но и другие мэтры французской литературы, аббат Прево, к примеру, тоже отнеслись к детищу Лесажа весьма сдержанно, если не сказать пренебрежительно.

Но еще больнее, чем пренебрежение коллег по литературному цеху, жалили нападки тех, кто обвинял автора в прямом плагиате, воровстве и прочее. А таких обвинителей оказалось немало. Причем никто из них не обращал внимания на тот факт, что Лесаж и не думал скрывать историю написания своего романа. Более того, в самом первом издании он даже предпослал специальное обращение к Луису Велесу де Геваре. Вот оно.

«Позвольте мне, сеньор де Гевара, посвятить Вам это сочинение. Оно столько же Ваше, сколько и мое. Ваш «Хромой бес» снабдил меня и заглавием книги, и ее замыслом. Признаюсь в этом всенародно. Я уступаю Вам честь этой выдумки, не вдаваясь в вопрос о том, не найдется ли какого-нибудь греческого, латинского или итальянского писателя, который имел бы основание оспаривать у Вас ее авторство».

В самом деле! Одни и те же сюжеты гуляют по просторам мировой литературы уже добрых две тысячи лет, плавно перетекая из одного жанра в другой, из одной страны в другую. По большому счету, почти все писатели, так или иначе, но заимствуют друг у друга идеи, как принято выражаться ныне, иногда опосредованно, даже не подозревая о том, а иногда и вполне открыто. Как тот же Вильям Шекспир, который и не скрывал того, что откровенно использовал в своих пьесах сюжетные коллизии других

авторов. И что? Разве от этого «Гамлет» стал хуже? Или у нас есть претензии к «Ромео и Джульетте»? Вполне уместно упомянуть в этой связи известные поэтические строки. Ведь каждую так называемую «идею» можно уподобить пустому сосуду. А что важнее? «Сосуд, в котором пустота» или «огонь, пылающий в сосуде»? Вот вопрос, ответ на который у каждого литератора свой.

Но вернемся к Лесажу. Бедняге с места в карьер предъявили кучу претензий, обидных, несправедливых, бездоказательных, а потому обидных вдвойне. Недаром много позже, уже работая над третьей, завершающей частью своего «Жиль Бласа», писатель вложил вот такие горькие слова в уста своего героя.

«Пользуясь вначале всеобщей хвалой, они (романы) *затем постепенно скатываются в бездну презрения. Итак, слава, получаемая нами от литературного успеха, есть не что иное, как чистейшая химера, иллюзия ума, минутная вспышка, чей дым немедленно рассеивается в воздухе».*

Чувствуется, что это выстраданное признание человека, на собственном опыте пережившего всю иллюзорность литературного успеха. Самое любопытное, что к многолюдному хору хулителей таланта автора присоединились и его, так сказать, испанские коллеги, тоже поспешившие обвинить Лесажа во всех грехах смертных, а паче всего в беззастенчивом заимствовании чужих произведений. Им бы, казалось, чего стараться? Разве из-за книги Лесажа умалилась слава испанского плутовского романа? А что касается того же Гевары, то ныне, если где и всплывает его фамилия, то только в неразрывной связке с Ален-Рене Лесажем, вольно или невольно поспособствовавшим тому, чтобы имя испанца не затерялась в анналах истории мировой литературы. Но вот поди ж ты!

Так что, господа переводчики! К вам обращаюсь я! Будьте бдительны, работая над тем или иным переводом. Не покупайтесь на собственные фантазии о славе, бессмертии и прочих благах, которые якобы сулит вам писательский труд. Не поддавайтесь сиюминутным порывам собственного вдохновения или желанию переиначить переводимый вами текст на свой лад, облагородить его, причесать или вовсе переделать, дав новому творению уже свое имя. Как показывает вся эта история с «Хромым бесом», подобные экзерсисы всегда чреваты, даже если на-гора выдается нечто талантливое и оригинальное.

Но скандалы скандалами, а «Хромой бес» Лесажа очень быстро завоевал европейский книжный рынок. Он почти сразу же был переведен на все основные европейские языки. Так, первые переводы романа на русский язык появились уже в конце XVIII века. Роман издавался и переводился в последующие два века, но уже не так часто, что и понятно. Шло время, и многие узнаваемые персоналии, интриговавшие первых читателей романа, уже не просто превратились в прах и тлен, но и забылись, затерялись в памяти потомков, что сразу же понизило градус ажиотажного спроса на само произведение.

Лично я впервые прочитала «Хромого беса» по изданию 1956 года в переводе Евгения Гунста. Хороший перевод. Что косвенно подтверждает и тот факт, что именно его перевод был впоследствии переиздан несколько раз. На момент прочтения мне было четырнадцать лет, и роман произвел на меня ну просто потрясное, выражаясь подростковым языком, впечатление. Правда, «Жиль Блас», прочитанный годом ранее, понравился мне гораздо больше. Но и в «Хромом бесе» я отыскала массу смешного и забавного и с удовольствием хихикала над приключениями Асмодея и его незадачливого спутника. Язык перевода простой, безыскусный, с очень тонкой и изящной стилизацией «под старину», очень этому способствовал. К сожалению, в

моей библиотеке нет «Хромого беса». А потому, когда задумала написать очерк, посвященный переводчику Лесажу, то пришлось обратиться к интернету. Там на бесплатных сайтах выложены для всеобщего ознакомления, по крайней мере, два варианта перевода романа на русский язык. Перечитала, и снова с удовольствием, но ужасно огорчилась, когда стала читать отзывы уже современных читателей на книгу француза. Все та же пренебрежительность и обидная снисходительность превалируют в большинстве откликов. Дескать, так! Пустяковая книженция, ничего интересного. И снова я вспомнила того неизвестного книгочея, который отдал свою жизнь за право владеть экземпляром этой книги. Неужели он ошибался? Или был снедаем откровенным любопытством обывателя, желающего выведать альковные тайны известных ему людей, подглядывая за ними в замочную скважину? Да нет же, конечно! Какие могут быть разговоры?

Ведь Лесаж не сплетничал, а всего лишь остроумно, но при этом незлобиво, обличал пороки современников. А они, все эти пороки, как были, так и остались при нас, благополучно дожив до дня сегодняшнего. Просто, как мне кажется, современный читатель, воспитанный на всяких ужастиках и беспросветных фэнтези, разучился понимать (и ценить!) настоящую литературу, которая в любом жанре, даже в самом низком, всегда ориентирована на добро. Вот и в двух самых главных произведениях Ален-Рене Лесажа добро тоже, в итоге, торжествует над злом, порок оказывается посрамленным, а добродетель вознаграждается чистой любовью и всем остальным в придачу.

Вот бы и в жизни так! — быть может, воскликнет кто-то из читателей. А я отвечу: да так же оно и есть, по большому счету! Приглядитесь повнимательнее к тому, что творится вокруг, и вы обязательно проникнетесь великой мудростью Сократа, заметившего однажды, что с хорошим человеком никогда не может случиться ничего дурного, ни при жизни, ни после его смерти, и боги всегда позаботятся о его благополучии. Творите добро, утверждает своими романами и переводчик Лесаж, и оно обязательно вернется к вам сторицею.

Именно этот посыл красной нитью проходит через главное литературное творение Лесажа, его роман «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны», работе над которым он отдал более двадцати лет своей жизни. Первая часть «Жиль Бласа» была опубликована в 1715 году, а завершающая третья — в 1735 году. И конечно, параллельно с работой над романом Лесаж продолжал исправно переводить на французский язык все новые и новые книги испанских писателей, того же Матео Алемана, к примеру. Жить-то ведь надо было на что-то. И содержать семью тоже. К тому времени у Лесажа уже было трое детей, так что успевай только поворачиваться!

Но несмотря на вечную нехватку денег и постоянные поиски заказов на переводы, к написанию собственного романа Ален-Рене Лесаж отнесся в высшей степени обстоятельно: обложился справочниками, энциклопедиями, картами, сверяя по ним маршруты передвижения своего героя по испанским дорогам с точностью до одного лье, с головой погрузился в изучение исторических документов описываемой эпохи, снова и снова перепроверяя себя, стараясь быть точным в каждой детали, в каждой мелочи. И как это часто бывает, страсть к совершенству сыграла с перфекционистом Лесажем — уже в который раз! — злую шутку. Ибо в результате изпод его пера вышел — ну очень уж «испанский» роман, что и было почти сразу же поставлено автору в пику.

Вольтер, к примеру, прямо обвиняет писателя в очередном плагиате. В своем обширном труде «Век Людовика XIV» он даже называет конкретное произведение, которое якобы послужило Лесажу отправной точкой для собственного творчества, роман «Жизнь стремянного Маркоса де

Обрегон» испанского писателя Висенте Эспинеля, изданный веком ранее. Ну, положим, с Вольтером все ясно. Не смог простить уже умершему на тот момент собрату по перу его обидной критики в адрес своей эпической поэмы «Генриада». Но и другие тоже не отставали. Как правильно заметил один из исследователей творчества Лесажа, с писателем Ален-Рене Лесажем случился донельзя обидный парадокс: литературные достоинства написанного им романа были столь очевидны и неоспоримы, что невольно вызывали у современников сомнения в достоверности авторства. Ведь читателю того времени, с энтузиазмом откликнувшегося на появление очередной приключенческой новинки, роман «Похождения Жиль Бласа» казался более «испанским», чем те многочисленные опусы, которые были созданы настоящими испанцами. Вот такие вот несуразицы случаются порой под солнцем. И верь после этого тем, кто утверждает, что гениям никогда и нигде не бывает тесно.

А то, что Лесаж — гений, сотворивший просто гениальный роман, который не только пережил своих хулителей и гонителей, но и сегодня так же востребован, известен и любим, то в этом сомневаться не приходится. Любой книгочей «со стажем» с готовностью подпишется под этими словами. Вот и моя первая встреча с неунывающим весельчаком по имени Жиль Блас насчитывает уже приличный стаж, ибо состоялась в далеком 1960 году. Мне тогда было тринадцать лет. Почему помню? Да потому и помню, что в тот год в деревню Кисловщина, затерянную на лесных просторах Могилевщины, где на тот момент обитала мамина родня и куда каждый год меня отправляли на все летние каникулы, провели, наконец, электричество. Ура! И еще раз ура! Не надо больше воевать за самое удобное место возле керосиновой лампы за общим столом, вокруг которого вечерами собиралась вся семья моей тети Зоси, чтобы почитать после ужина очередную увлекательную книжку. И хотя электричество пока подавали в дома селян всего лишь до полуночи и ровно в двенадцать ноль-ноль деревня снова погружалась в кромешную тьму, все равно это был огромный прогресс в жизни местных. Воистину, радиоточка вкупе с «лампочкой Ильича» под потолком в каждом доме сотворили в свое время самую настоящую культурную революцию в белорусской деревне, по своему размаху многократно превосходящую те скромные достижения в области духовной жизни, которые имеются на счету всех современных гаджетов со всеми их «наворотами» и функциями. Итак, да здравствует свет!

И вот уже в очередной поход в заводскую библиотеку рабочего поселка Глуша (всего лишь в паре километров от тетиной деревни, если идти напрямик, через лес) я набираю целую кипу книг (само собой, на тетин абонемент, *«бо яна ж настаўніца, яе ўсе ведаюць, таму і кніг даюць дзяўчынцы, колькі яна захоча»*). Волоку через лес тяжеленную сетку с книгами, и среди них одна, за чтение которой мне уже не терпится усесться где-нибудь в тенечке. А потому что очень уж красочная и яркая картонная обложка, выдержанная в *«жоўта-блакітных»* тонах, как сказали бы ныне, в цветах украинского флага. И цвета эти радуют глаз и уже заранее обещают массу удовольствия. Да и книжка толстенная, почти такая же, как недавно прочитанный роман Дюма «Двадцать лет спустя». А значит, удовольствие вполне может растянуться на несколько дней.

Прихожу, сажусь за стол, раскрываю книгу и мгновенно забываю обо всем на свете. Уже стемнело, зажглась та самая электрическая лампочка под потолком, уже тетя придвинула ко мне поближе кружку с парным молоком и ломоть хлеба, густо намазанный медом, уже все домашние разошлись кто куда после ужина, а я продолжаю читать, лихорадочно переворачивая страницу за страницей. Отрываюсь лишь тогда, когда в доме гаснет свет.

— Нет, никаких керосиновых ламп! — опережает мой немой запрос тетя. — Пора спать! Завтра будет новый день. Успеешь еще начитаться!

Неохотно повинуюсь. Ложусь в кровать и чувствую, как бурлит кровь в сладостном предвкушении этого нового дня. Скорее бы утро, и снова за книгу! Вот так открылся мне чудесный мир, сотворенный удивительной фантазией Лесажа. Благодарю судьбу за то, что книга приплыла ко мне и в нужное время, и в нужном месте. И какое счастье, что именно ее яркое оформление сразу же привлекло мое детское внимание. Никакого сравнения с тем изданием, что ныне стоит на полке моей библиотеки. Уныло-серый переплет, пусть и с золотым тиснением букв на обложке, и никакой радости. Купленная много-много позже, в 1990 году, книга уже изначально отпугивает своей неуместной чопорностью. Ни за что бы не купила ее, если бы не знала автора. Но Лесаж и серый цвет... Разве можно представить себе нечто более несопоставимое? Потому и сегодня готова обменять все пятьдесят оттенков этого серого на то старое издание, ласкающее глаз своими золотисто-солнечными бликами на фоне лазурно-голубого неба.

Нет, дорогой читатель, я не буду пересказывать вам сюжет романа, не стану пичкать вас с умным видом критика своими рассуждениями о том, что Жиль Блас, несмотря на все свои испанские похождения, плоть от плоти истинное дитя французского народа. Что именно в нем как ни в каком другом герое до и после появления романа на свет сосредоточились все те лучшие черты характера французов, за которые мы их любим и которые так долго и безуспешно пытался задушить покойный Людовик XIV: неистребимая галльская веселость, безудержная смелость и находчивость в самых, казалось, безвыходных ситуациях, собственное мнение на все и про все, откровенное презрение к власть предержащим со всеми их богатствами и титулами. Ну и, конечно, та самая пресловутая галантность французов-мужчин в отношении дам, перед которой — ей же богу, просто невозможно устоять и перед которой готовы пасть все женщины мира. Ни о чем таком я не стану с вами толковать, как не буду описывать головокружительные приключения героя и советовать немедля ринуться в библиотеку, дабы заполучить роман для последующего прочтения.

Потому что всякая книга сама находит путь к своему читателю. Хорошо, если это случается вовремя, как в моем случае. Хуже, когда ты уже перезрел-переспел для всех приключений, в том числе и для тех, что на бумаге. Наверное, именно тогда и появляется эдакая снисходительность в суждениях. Дескать, да что там такого в этой книге? Сущая безделица, не более того.

Но все же, мой дорогой читатель! Особенно те из вас, у кого уже в кармане лежит путевка в прекрасную Испанию. Все же прежде чем начать приобщать своих чад и самих себя к культурным памятникам этой самой Испании, охать и ахать, восторгаясь архитектурой Гауди или живописными шедеврами в мадридском Прадо, вспомните о том, что вот жил-был на белом свете переводчик Ален-Рене Лесаж, француз по национальности, который сделал для прославления и возвеличивания этой самой Испании много больше, чем все испанцы вместе взятые, которые жили на стыке XVII—XVIII веков. Словом, он сделал это! — как любят выражаться сегодняшние молодые. Вопреки всем наветам, хуле, завистливым комментариям и несправедливым обвинениям, вопреки собственной бедности и всем жизненным испытаниям, выпавшим на его долю, он сделал это! За что ему честь и хвала!

Так что, виват, Испания, воспетая вдохновенным пером обычного переводчика с такой необычной судьбой.

Зинаида ЯКОВЛЕВА

Трудно быть гением…

Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, а разум разумных отвергну.

Первое послание к Коринфянам
Святого Апостола Павла, 1—19

С возрастом все чаще (что довольно неожиданно, ибо в молодые годы меня никогда не тянуло ни к перу, ни к бумаге), так вот, чем старше я становлюсь, тем чаще возникает желание поделиться с читающей публикой собственными воспоминаниями о былом. Впрочем, мемуарный синдром во все времена был атрибутом и даже до некоторой степени привилегией стариков, спешивших (и спешащих) рассказать всем и вся о том, как же все это было на самом деле. Само собой, такая неуемная тяга к писательству в большинстве случаев есть не что иное, как типичный зуд графоманства, не так ли?

Но вот что любопытно… Обычно сюжеты таких воспоминаний носят у меня пакетный, если так можно выразиться, характер. То есть приходят на память всякие-разные случаи из серии «что бывало», потом, постепенно, все эти истории сбиваются в одну кучу, и в результате, выстраивается некая генеральная (или, если хотите, магистральная) линия всего повествования. Так было…

Но вот история, о которой я хочу поведать вам, мои дорогие читатели, прямо сейчас, никак не хочет складироваться в один пакет вместе с другими такими же историями («историйками», как бы выразился мой давний добрый друг, писатель и журналист Михаил Володин, недавно опубликовавший целую книгу своих «историек» о столь любимом им Минске). Категорически не желает, и все тут! Как любят выражаться в таких случаях телевизионщики, типичный неформат.

А между тем, острое желание рассказать именно эту историю и именно сейчас у меня возникло как-то сразу, спонтанно и вдруг. Готовилась к Новому году, делала генеральную уборку в квартире, стирала пыль с книжных полок. И вдруг взгляд мой уперся в толстенный том в солидном переплете синего цвета. Прочитала заглавие, извлекла книжку, открыла наугад и…

Пошло-поехало! Волна воспоминаний накрыла меня с головой. И я лишний раз ужаснулась быстротечности времени. Ведь минуло уже много лет с тех пор, как все начиналось. А вот поди ж ты! Помнится вся история так, будто бы случилась она только вчера. Что и понятно. У времени, как известно, свои законы, и отнюдь не всегда они линейные. А потому любой из нас может при желании тут же повернуть свое персональное время вспять. Что я с удовольствием и делаю.

Итак, история о том, как я впервые, можно даже сказать, в первый и в последний раз в своей жизни, столкнулась с самым настоящим гением, причем живым (честно! без шуток!), началась где-то в первой половине девяностых или чуть позже, уже ближе к двухтысячным. То есть за точность даты не ручаюсь: ведь с годами происходит не только аберрация зрения, но и памяти тоже. Зато готова

ответить головой за место действия, ибо все началось (и я это отлично помню!) в присутственном месте.

Впрочем, ничто поначалу не предвещало судьбоносных встреч, и тем более, не обещало встреч с живым гением. Обращаю ваше особое внимание, глубокоуважаемый читатель! Не с тем, кто сам таковым себя воображает и кого без зазрения совести «раскручивают» порой в разных средствах информации и в социальных сетях. Таких «гениев» нынче пруд пруди, не правда ли? Их можно встретить в любом творческом союзе и даже на любой кухне. Но я не о них! Речь у нас пойдет о человеке, в прямом смысле этого слова поцелованном Богом. Такое случается в практике Всевышнего, редко, но случается. Вполне возможно, потом Бог и забывает за обилием Своих дел, кого именно и когда точно Он поцеловал, выправляя человека в жизнь. Но Он поцеловал! И этот знак счастливчик несет на себе до своего смертного часа, до того момента, когда снова предстанет перед Творцом и Тот строго спросит с него, как же он распорядился бесценными дарами, полученными свыше. Это я к тому, что не все гении становятся по жизни гениями и не все оправдывают те великие надежды, которые на них возлагались.

Итак, обо всем по порядку. На тот момент, когда произошло мое знакомство с гением (далее и везде по тексту я буду употреблять это слово сознательно и намеренно безо всяких кавычек), так вот, на тот момент я подвизалась в должности председателя районной избирательной комиссии в одном из исполкомов города Минска. Работа достаточно хлопотная (учитывая все непростые реалии того времени), но зато! — оплачиваемая. Что для меня, не имеющей в те годы постоянного заработка, было не просто крайне важно, но даже жизненно необходимо. По прошествии лет подозреваю, что районные власти элементарно пожалели меня, безработную дуреху, отчаянно бросившуюся в омут строительства новых социально-производственных отношений в обществе, и попросту устроили мне такую своеобразную вакацию. Дали возможность немного передохнуть от изнурительной борьбы за выживание, перевести, так сказать, дыхание, отсидевшись на берегу месяц-другой…

Словом, я сидела в присутственном месте, мне выделили стол, стул и телефон, по которому я решала какие-то организационные вопросы. А еще периодически обзванивала своих работодателей, для которых отбарабанила на старенькой машинке очередную переводную нетленку, с целью узнать, когда именно мне будет выплачен столь вожделенный гонорар. Чаще всего меня вежливо просили подождать до следующего месяца, и я, уныло вздохнув, снова погружалась в текущие хлопоты, связанные с организацией выборов. Довольно скоро нижние этажи истеблишмента (то есть, всякие мелкие клерки, обслуживающий персонал и прочее), днями напролет сновавшие по кабинетам, уже имели четкое представление о том, что в свободное от выборов время я занимаюсь переводами для всяких частных издательств, а потому, хоть и боком, но все же имею какое-то касательство к литературе.

А потому я совсем не удивилась, когда в один прекрасный день у меня перед столом вдруг возникла миловидная женщина за сорок, трудившаяся в отделе, расположенном на одном этаже с тем помещением, в котором обустроилась я. Женщина (воистину, так и хочется воскликнуть: «Приятная во всех отношениях!») мило улыбнулась мне и сказала.

— Зинаида Яковлевна! Я к вам за помощью! Тут до меня дошли слухи, что вы по роду своих занятий связаны со всякими издательствами. Может, чего насоветуете моему сыну?

— В каком именно аспекте ему потребуется мой совет? — страшно удивилась я такому неожиданному началу нашего разговора.

— Да он, знаете ли, книгу написал. А теперь вот мучается, не знает, что с ней делать… Может, вы порекомендуете, куда ему лучше обратиться. Мы, разу-

меется, ни на что не претендуем. Готовы издать за свой счет. Весь вопрос в расценках. Денег у нас немного… Максим пока сидит без работы… Словом, все как у всех!

— А о чем книга-то? — так, на всякий случай поинтересовалась я, уже заранее предвидя ответ. Наверняка юное дарование накропало очередную сагу в стиле модного «фэнтези» или, на худой конец, леденящий кровь боевик с обилием трупов и перестрелок.

— Он, видите ли, у меня философ, — замялась женщина в некоторой нерешительности, словно стесняясь столь необычной профессиональной занятости сына. — А потому его книга… она о человечестве…

Я с трудом удержалась, чтобы не скривиться. С подростковых пор страшно не люблю стилистически маркированные слова, от которых уже за версту несет официозом: человечество, справедливость, нравственность и прочее. За такими велеречивыми словами всегда ведь проще скрыть не только наличие вопиющих провалов по части этой самой нравственности в самом себе, но и полнейшее отсутствие обыкновенной, элементарной совести уже на бытовом, так сказать, уровне. Кажется, это Достоевский остроумно заметил в свое время, что любить человечество в целом нам гораздо проще, чем собственного соседа за стенкой. Верно подмечено!

— Да уж! — издала я ободряющий вздох, забыв о том, что вздохи уже по определению не могут быть ободряющими или, тем более, вселяющими надежду. — Издавать опусы о человечестве вам точно придется за свой счет! Это я вам гарантирую!

— Да мы же сами все понимаем! — затараторила моя собеседница. — Главное, чтобы у нас денег хватило! Книга-то не маленькая!

И тут я впервые обратила внимание на то, что женщина явилась ко мне не с пустыми руками. Она с трудом удерживала под мышкой две увесистые папки «Корона». Наверное, догадалась я, это и есть та самая книга о человечестве, которую накропал ее сын, правда, пока еще в виде распечатанной на принтере рукописи.

— Вот! Принесла вам показать! — словно прочитала мои мысли женщина. — Может, полистаете на досуге, когда выпадет свободная минутка. Насоветуете что дельное…

Она робко положила тяжеленые, судя по всему, папки на краешек стола и, не дожидаясь ответной реакции, заторопилась прочь. Я придвинула к себе одну из папок, открыла ее и тут же зажмурилась. Текст был набран на компьютере таким мелкими буковками, в сравнении с которыми даже газетный шрифт показался бы великаном. Видно, парень экономил бумагу, сообразила я и придвинула папку еще ближе. Открыла и прочитала заглавие: «Гуманизм». Чуть ниже небольшое вступление. Или посвящение?

«Все, что сделано, все, что предлагается вашему вниманию, — не мое. Здесь тысячелетия, здесь эпохи и эры нашей мысли о мире и о самих себе. Они не принадлежат никому.

Моя единственная персональная задача — разбудить человеческое в людях, то человеческое, которое мы с каждым днем теряем все больше.

Сейчас часто посвящают кому-нибудь свои «текста». Хорошо.

Людям всех былых, настоящих и будущих времен посвящается».

И подпись: Максим Маевский.

А что, подумала я, совсем даже неплохо для начала. Все гладко, стилистически выверено, каждое слово стоит на своем месте, и все знаки препинания тоже.

Перевернула страницу.

«Сегодня на кон поставлена не только жизнь последующих поколений, сегодня на кон поставлен человек как таковой. Мы проснемся сегодня или завтра, или мы не проснемся никогда. Я готов брать на себя всю ответственность за свои

слова. В этом мире это уже давно стало редкостью — быть ответственным за свои слова. Хотя бы перед самим собой».

Высоко мальчишка замахивается, решила я и стала листать дальше. Просмотрела еще пару страниц и снова зацепилась за очередной абзац, который рискну привести почти целиком. Постараюсь по мере сил избежать пространных цитат (книга ведь заумная донельзя!), но уж больно злободневны все эти философские рассуждения тогда еще совсем молодого интеллектуала и сегодня. Судите сами!

«Вопрошание очевидностей», «сотрясение постулатов» — все это с некоторых пор стало дешевкой. Сегодня нет ни одного даже самого знаменитого философа, который не «вопрошал» бы о чем-либо какие-нибудь очевидности и ничего бы очень скромно и деликатно не «сотрясал»... Все — философские эйнштейны, любой имеет право... «деконструировать», допустим, Гегеля, или вообще кого и что угодно. В модерне еще было что-то, но постмодерн — это дешевка. Это дутая, желающая только одного — самопродажи, дешевка. Да, оригинальность должна быть первым свойством гения, я даже чуть-чуть подправил бы Канта: не только гения, но и всякого мыслящего самостоятельно человека, — но оригинальной может быть и бессмыслица. Сегодня можно сказать более жестко: если перед тобой нечто «оригинальное», будь уверен — это дерьмо».

Да! Нешутейный текст, однако. Парень-то и действительно тяготеет к тому, что называется философией в ее, так сказать, чистом виде. Во всяком случае, он точно подпадает под категорию людей, которых можно смело величать философами. Ведь как заметил когда-то саркастически ядовитый Виктор Топоров, философы — это те, кто объясняют мир (а это, по его мнению, никак не может быть профессиональным занятием). А потому люди, именующие себя профессиональными философами, на самом деле являются всего лишь философоведами. Но автор сего опуса явно не из числа последних. К тому же, сидит пока без работы. То есть никакой профессиональной занятости не наблюдается.

Я пробежала глазами еще несколько страниц, всякий раз поражаясь тому, в какие безукоризненно точные слова незнакомый мне философ облекает свои мысли и как экономно он расходует эти самые слова. Что ж, идем дальше! Придирчиво пытаюсь проникнуть в ход мыслей автора, в логику его рассуждений и просто осмыслить аргументы, которыми он буквально забрасывает своего потенциального читателя. Человек я уже немолодой, а потому на всякие интеллектуальные заумности развести меня непросто. К тому же, мне прекрасно известно, что на всякое, даже самое гениальное умопостроение можно, при желании, найти другое, тоже не менее гениальное. Не потому ли вот уже более двух с половиной тысяч лет все философы мира так и не могут прийти к общему знаменателю. Все спорят и спорят, а четкого и внятного ответа на один-единственный вопрос простых смертных как не было, так и нет. Так что же есть истина, в конце концов? И почему она все никак не может родиться в этих бесконечных спорах?

И я снова с грустью вздохнула, вспомнив к месту, что и сама в далекой юности мечтала поступить на философский факультет. Но в те годы для абитуриентов, жаждущих попасть именно на этот факультет (плюс журфак и юрфак), существовало достаточно жесткое требование: два года производственного стажа и ни днем меньше. Родители мои, разумеется, категорически воспротивились желанию единственного чада отправиться на заработки стажа. И в итоге пришлось подаваться в иняз, хотя меньше всего на свете я мечтала в те годы о том, чтобы стать преподавателем английского языка, как значится моя профессия в дипломе. Но как бы то ни было, а жизнь уже почти прожита, и вопрос о том, что есть истина, так и остался пока безответным.

Решительно захлопнув папку, я поднялась из-за стола и направилась на поиски своей утренней собеседницы. Отыскала...

— Вот о чем я вас попрошу. Передайте, пожалуйста, Максиму, пусть он заглянет ко мне прямо сюда, в исполком, в любое удобное для него время. Хочется поговорить с ним лично. Честно обещаю поделиться всей информацией, которой располагаю на сегодня, об издательских учреждениях в нашем городе. Дам телефоны знающих людей. Авось они насоветуют ему что-то дельное по части самого процесса выпуска книги. К счастью для вашего сына, углубленной совместной работы над рукописью уже с редактором ему не потребуется. Все экономия какая-то будет. Так, во всяком случае, мне показалось после поверхностного ознакомления с текстом. Конечно, кое-какие шероховатости наверняка отыщутся. Но такие погрешности может с легкостью устранить любой опытный корректор. Словом, пусть приходит! И мы обо всем потолкуем… Договорились?

Не прошло и двух дней, как перед моим рабочим столом возник уже сам гений собственной персоной. Лет двадцати пяти, долговязый, сухощавый до худобы, облаченный в какую-то видавшую виды куртку… Ну да истинным философам ведь всегда наплевать, как и во что они облачены… Лицо живое, подвижное… можно сказать, некрасивое… разве что глаза оживляют несколько нездоровую желтизну кожи, свидетельствующую о том, что обладатель сего «фейса» большую часть своего времени корпит в помещении. Впрочем, глаза не просто оживляли это явно изнуренное интенсивными умственными занятиями лицо, они как бы озаряли его каким-то диковинно ярким светом изнутри. Вот так глазищи, удивилась я в самую первую минуту, даже не заметив, какого они цвета. Сверкают, словно две звезды какие!

Уже предвижу поток раздраженных восклицаний. Согласна! Целиком и полностью! И самой надоели до чертиков все эти набившие оскомину сравнения и эпитеты. Глаза как звезды, зубы, словно жемчуг, ланиты, похожие на маков цвет, белоснежная кожа… Как тут не вспомнить к месту царя Соломона с его бессмертным *«Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега» (Пс. 50)*. Плюс еще поступь, как у горной серны. Да, все это — штампы, словесная шелуха, которой сто тысяч лет в обед и которой уже, наверное, невозможно (ну, или почти невозможно!) вернуть первозданную свежесть. Пожалуй, новизну все эти словеса приобретают лишь тогда, когда ты сталкиваешься с подобными явлениями уже в реальной жизни, видишь их воочию. И в такую минуту невольно удивляешься и даже поражаешься тому, что глаза, оказывается, действительно могут сверкать как звезды, зубы напоминать те самые пресловутые тридцать две жемчужины, а грациозная походка юной красавицы и правда похожа на поступь изящного животного.

Словом, глаза у Максима горели как звезды. А в остальном же он держался очень скованно, почти робко. Как-никак, а все же присутственное место. Да и тетка незнакомая… что она там сейчас ему нагородит? Но потихоньку мы разговорились, парень раскрепостился, явно ободренный тем, что я проявляю неподдельный интерес и к нему самому, и к его творению. Между тем мне не давал покоя один вопрос, который я и не преминула задать по ходу нашей беседы.

— Скажите, Максим! Вы написали титанический труд. Жаркая полемика… Сотни цитат, отсылок к самым разным теориям и авторитетам, большинство из которых вы, впрочем, яростно ниспровергаете. Но как? Когда успели? Как умудрились сосредоточиться, чтобы написать такой полемически яркий фундаментальный труд? Вы же еще так молоды! Я бы сказала, непозволительно молоды!

Мой собеседник смущенно улыбнулся.

— Все просто! — ответил он и слегка замялся в поисках подходящих слов, чтобы объяснить мне, непосвященной, все секреты творчества. — Последние несколько лет я кантовался в России, работал сторожем в Подмосковье… Точнее, охранял загородный дом одного нувориша. В котором он, впрочем, почти не появлялся. Вот я сидел в полном одиночестве в своей сторожке. Ничто меня не отвлекало, ничто не мешало. Какая-то снедь была под рукой, ну да и ладно…

Много ли мне надо? И как-то так пошло само собой… легко писалось, одним словом… Может быть, потому, что обо всем этом думано-передумано сотни раз…

Сотни раз, поразилась я мысленно. Такой молодой, а он уже сотни раз думал, например, вот об этом.

«Сейчас я попрошу вспомнить все то, о чем я говорил, рассматривая универсальную зависимость. Простое существование, пространство, время, потом три вещи — материальная необходимость, материальный детерминизм, материальная закономерность. Все это тотально в своей объективности и объективно в своей тотальности».

Или вот об этом.

«Уход проблемы «идеализма и материализма» из современной философии связан с развитием материальной культуры. Проблема «идеализма и материализма» рождена общественным производством, разделением труда в этом общественном производстве, и когда само общественное производство уходит на второй план, становится фоновым, фоновой становится и проблема «идеализма и материализма». Постмодерн — это лучшее доказательство связи классических проблем философии с нашей большой исторической «экономической» жизнью. На второй план уходит индустрия, вместе с ней и классические проблемы философии.

Но элиминация классических проблем и вопросов философии из нашей рефлексии, связанная с историческим уходом индустрии, может быть двоякой. Мир остается, и остается таким же, как и был. Индустриальная эпоха подходит к концу, но мир все так же «продолжает быть», и мы должны жить дальше в этом мире. Постмодерн выполняет историческую функцию — он упраздняет философию в ее классическом понимании как высшую форму надстроечного отражения природного мира индустриальной эпохи. За 150 лет до постмодерна то же самое сделал марксизм».

И в этой связи не откажу себе в удовольствии закончить цитирование фрагмента, зацепившего меня в свое время *неординарностью* и — увы! — неутешительной правотой своих выводов. Нарушу обещание, данное в самом начале, но не судите строго! В последний раз, ей же богу!

«Какова же разница между «ребятами-марксистами» и «ребятами-постмодернистами»? Разница между ними классическая. «Марксизм» — это диалектический и исторический материализм, постмодернизм — это метафизический (хаос ***над*** *порядком, «ризома»* ***над*** *корнем, «нелинейность»* ***над*** *«линейностью» и т. д.) субъективный идеализм и «историческое ничто» (постистория). После снятия диалектическим материализмом философии в ее классическом виде, снятия, являющегося развитием классической философии, остается гуманизм. После уничтожения постмодернизмом философии в ее любом виде остается полифония мертвого, разлагающегося философского тела».*

Все точно так и есть, подумалось мне, когда я, помнится, читала эти рассуждения впервые. Но не затевать же заумный разговор о дальнейших путях развития человечества прямо сейчас! В нашем разговоре повисла короткая пауза. Каждый задумался о чем-то своем.

— Скажите, — снова заговорила я после минутного молчания. — А вы кому-нибудь показывали свой труд? Давали для ознакомления хотя бы отдельные фрагменты рукописи? Ну, я имею в виду всяких там философов или просто интеллектуалов, интересующихся универсальными проблемами бытия и прочее. Ведь любопытна же их реакция на ваши размышления…

Скептическая улыбка скользнула по губам моего собеседника.

— Знаете, в чем сейчас основная проблема для любого пишущего? — неожиданно ответил он вопросом на вопрос. — Да! Можно подсуетиться и достать, украсть или заработать, сэкономить, в конце концов, необходимую сумму денег и издать книгу за свой счет. Любую книгу! Но вот найти человека, который согла-

сился бы сам, на добровольных началах, прочитать твой труд, о, это задача почти неразрешимая! В сущности, если твой продукт невозможно продать, причем быстро, ты никому не интересен… И никому не нужен…

В голосе молодого человека вдруг прорвалась такая горечь, что я моментально прониклась его одиночеством. Анахорет, мелькнуло у меня. Типичный анахорет! А с другой стороны, если подумать, так кто же в наше взбалмошное время по собственной воле усядется за стол, чтобы прочесть более тысячи страниц текста о весьма туманных перспективах гуманизма! Ищи дурака!

Много лет спустя я неожиданно для самой себя натолкнулась на схожие размышления о ненужности собственной работы, читая выдержки из дневников замечательного русского писателя Юрия Казакова, который, впрочем, всегда стоял несколько особняком в тогдашнем литературном сообществе. И вот эта цитата, датированная 1966 годом, поразившая меня сходством с тем, что я услышала когда-то из уст гения.

«Но не похвалы или разносы самое страшное. Самое страшное — когда о тебе молчат. Когда у тебя выходят книги и ты знаешь, что это настоящие книги, но о них не вспоминают, — вот когда надо быть сильным!»

Впрочем, объяснение такому людскому равнодушию к творческим усилиям иных пишущих лежит на поверхности, как мне кажется. Ведь если подумать хорошенько, то неизбежно придешь вот к какому выводу. Не отсутствие интереса к тому, что ты написал, есть самое страшное для пишущего человека, берущегося размышлять о смыслах бытия и прочих высоких материях. И не это определяет его роль и место в интеллектуальном развитии общества. Гораздо страшнее и даже трагичнее невостребованность твоих идей как таковых. А если шире, то самое страшное — это простое несовпадение со временем, в котором ты живешь: либо ты сильно опередил его и потому шагаешь не в ногу со всем остальным человечеством, либо, напротив, завяз в реалиях совсем других эпох, отстоящих от нас, сегодняшних, на многие и многие столетия, а потому совершенно неинтересных и бесполезных твоим остальным современникам. Но и в том, и в другом случае конкретно твои идеи никому не нужны. Впрочем, как и ты сам. Пожалуй, именно это «рассогласование времен» и есть главная причина того, что духовная потенция многих гениев (хотя разве гениев может быть много?) истощается гораздо раньше, чем завершается их физическая жизнь. Но вслух я ничего комментировать не стала, а лишь продолжила упорно гнуть свою линию.

— В Москве масса профессиональных издательств, специализирующихся на издании серьезной литературы, та же «Наука», к примеру! Туда не пробовали обратиться?

— Бесполезно! Все они сейчас на грани выживания, на ладан дышат. Собственных оборотных средств нет, государственное финансирование приказало долго жить… Бандиты, в одночасье захапавшие всю собственность в стране и ставшие олигархами, не спешат рядиться в тогу благодетелей и жертвовать деньги на издание всяких «сомнительных», с их точки зрения, книженций, в которых, к тому же, предрекается неминуемый крах их самих.

— О, то еще когда будет! — тяжело вздохнула я. — Наверное, не раньше чем когда седьмой ангел вострубит! — неожиданно вспомнился Апокалипсис.

Парень метнул на меня заинтригованный взгляд. А тетка-то, оказывается, даже об Апокалипсисе наслышана… Я сделала вид, что не заметила удивления.

— Тогда перейдем к тому, ради чего вы пришли, — круто поменяла я тему разговора и стала вводить визитера в курс дела: что, как, где… Дала несколько телефонов частных издательств, которые принимают заказы на выпуск книг за счет автора. Помнится, даже продиктовала рабочий телефон незабвенной памяти Юрия Михайловича Сапожкова, который в те годы занимался приватным издательским бизнесом. С ним я предварительно договорилась о том, чтобы он встретился с моим гением и посоветовал ему, как разумнее всего распорядиться

скудными средствами, имеющимися у него в наличии, чтобы издать хотя бы двести экземпляров книги. («На большее никак не потяну!» — честно признался мне он сам.)

— Знаете что... — неожиданно вырвалось у меня. — А напишите-ка вы мне такой развернутый синопсис на свою работу, страничек эдак на пять, ну, максимум десять. Я попробую показать его знакомым из университета. У меня там в приятелях числится один доктор наук, причем именно по философии. Вдруг проявят интерес? Кстати, в БГУ ведь и свое издательство имеется. Мне кажется, в вашей ситуации надо хвататься за любой шанс.

Парень согласился со мной и пообещал подготовить синопсис.

— А рукопись я вашу читаю! — призналась я, уже прощаясь с гением. — Не все мне там понятно, что и понятно! — удачно, как мне показалось, скаламбурила я на ходу. — Кое с чем не согласна, даже категорически не согласна… но в целом читаю с интересом. Абсолютно честно говорю, безо всякой лести.

Благодарственная улыбка озарила некрасивое лицо моего собеседника, и он буквально расцвел на глазах, преобразившись на какое-то мгновение в самого настоящего мачо.

— А хотите, я вам подарю эту рукопись… на память? Когда еще книга выйдет в свет… Бог весть! Так что читайте пока так… И спасибо за участие!

Парень откланялся и исчез за дверью. Через пару-тройку дней его мать принесла мне обещанный синопсис. И я отправилась в университет наводить мосты с тамошними философами. Хорошо помню, как снисходительно поправил очки мой знакомый доктор наук, мельком взглянув на синопсис.

— Ах, Зинаида Яковлевна! Если бы вы только знали, сколько вот таких же философских гениев разгуливает по коридорам и аудиториям нашего корпуса. И у каждого своя теория о том, как изменить мир… Так что ничего нового ваш протеже не скажет, уверяю вас! Пустое сотрясание воздуха!

И в ту же секунду до меня дошло, что никогда и ни за что на свете мой знакомец, вполне приличный и добропорядочный человек, не станет читать рукопись неизвестного ему философа! К чему ему лишние усилия и хлопоты? Он и сам, как говорится, с усам… Зачем ему еще какие-то другие точки зрения на то, что он и без того прекрасно знает и понимает? Более того, почтенный доктор наук абсолютно уверен в том, что мир устроен именно так, как надо, а если он и нуждается в некоторой переделке, то сугубо косметической, не затрагивающей самих основ общественной жизни. Ну, а уж произвести такой ремонт вполне под силу и им, философам со стажем. К чему плодить ненужную конкуренцию? К тому же, Боливар из философских конюшен может и не выдержать такое количество всадников… Да, трудно быть гением, подумалось мне тогда. Не прорвешься, однако! Ни с ходу, ни в обход… Как же все точно сформулировал когда-то Якуб Колас:

Лезу я наперад — «Асадзі назад!»

И мне вдруг почему-то впервые за долгое время вспомнились все те философы, которые учили меня когда-то уму-разуму на институтской скамье. Да и после получения диплома, уже во всяких общественных университетах марксизма-ленинизма, через которые тогда прогоняли практически поголовно всю научно-техническую интеллигенцию. Зло так вспомнились… раздражительно… Ну и скукотища же царила на этих лекциях! И сколько фальши, даже откровенной неправды было в пафосных речах тогдашних философоведов. А еще самого обыкновенного, заурядного начетничества. Потому что выхватить цитату из обязательного в те годы Ленина — это ведь было гораздо проще, чем поговорить со слушателями о том же самом «Материализме и эмпириокритицизме» без обиняков или поразиться вместе с аудиторией великой проницательности автора любимых мною «Философских тетрадей». Впрочем, полюбила я сей труд много позже, уже тогда, когда самостоятельно прочитала и законспектировала его, готовясь сдавать кандидатский минимум по философии.

А ведь и они, все эти горе-философы, рассердилась я на всю философскую науку в целом, тоже виноваты в том, что мы так легко отдали на слом советскую власть, выбросив вон и все то несомненно хорошее, что она несла простому трудовому человеку. Во всяком случае, в те далекие годы слово «олигарх» однозначно воспринималась всеми как отжившая историческая реалия времен Древнего Рима. Как и слова «вексель» или «банкрот», вызывавшие в памяти исключительно персонажи из пьес Островского или героев романов Бальзака.

Жизнь между тем покатилась дальше. За круговертью собственных дел образ моего героя стал тускнеть, постепенно отступая на второй и даже на третий план. Кое-какая информация, сообщенная мне матерью Максима, давала повод для успокоения. Он таки нашел подходящее издательство, в котором и разместил свой заказ. А потом прошли выборы, я покинула присутственное место, и цепочка отношений распалась как-то сама собой.

Прошло еще года два или три, и однажды вечером мне позвонила мать Максима. Сказала, что хотела бы передать мне книгу сына с дарственной надписью. Мы договорились о встрече, в назначенный день я подъехала в исполком, и мне вручили солидный том в дерматиновом переплете благородного синего цвета. И лаконичное название на обложке, набранное крупными серебристыми буквами: «ГУМАНИЗМ».

Бегло пробежала глазами выходные данные. Книга, как я и предполагала с самого начала, была издана в авторской редакции. И тираж именно тот, который и планировался изначально: 200 экземпляров. Прочувствованно поблагодарила женщину за неожиданный презент и за теплые слова посвящения тоже. *«Зинаиде Яковлевне, первому человеку, оценившему все «величие» моего замысла».*

Так оказывается, я была первой? Я почувствовала, как непроизвольно сжалось сердце. Или что еще хуже и страшнее? Первой и последней… Как же все, однако, уныло!

Я вскользь поинтересовалась, где сейчас Максим, чем занимается. Мать ответила расплывчато. Не в Минске… Уехал в какой-то небольшой белорусский городок… род занятий предпочла не раскрывать. Впрочем, я тоже не проявила особого любопытства. Чужая жизнь, что мне до нее? Тем более, реальной помощи предложить не могу. Невольно вспомнились рассуждения автора о пессимизме и оптимизме в восприятии окружающего мира.

«Что касается нашего философско-метафизического мировоззрения, мироощущения, то оно должно быть «пессимистическим», в том смысле, что здесь не должны иметь место никакие иллюзии. В этом отношении принятие истины, мира «таким, как он есть» и «пессимизм» — это одно и то же, поскольку хорошего в этой истине на самом деле мало. Мы не должны ждать от мира какого-то соучастия или сочувствия в нашей судьбе, мы должны быть «нигилистами» — это залог нашего выживания, залог того, что мы будем по-настоящему серьезными в этой войне за самих себя. Надо знать цену проигрыша, а это действительно страшная цена. Среди всех этих «бытий», «сущностей», «рефлекций», «молекул» и «звездных систем», среди всего этого сумасшедшего бреда, только мы одни для себя имеем хоть какую-то ценность. Да, даже эта ценность для себя иллюзорна, но это все что есть».

Прошло еще несколько лет. Мой старый дом снесли, мы со своим немудреным скарбом переехали на новую квартиру, и многие контакты оборвались сами собой, то ли за ненадобностью, то ли за их невостребованностью. А потому я страшно поразилась тому, когда в один прекрасный день, открыв на звонок дверь, я увидела на пороге гения. К тому же, он явился не один. Из-за его спины робко выглядывала хрупкая девчушка, совсем еще молоденькая, такая милая, славная пичужка.

— Познакомьтесь, пожалуйста! Это моя жена Катя! — представил мне девочку Максим.

«Ну, слава Богу! Женился!» — перевела я мысленно облегченный вздох, впуская гостей в квартиру. Значит, точно не превратится с годами в законченного мизантропа. Ведь перспективы того самого гуманизма, за который так пылко ратовал когда-то в своей книге философ Максим Маевский, по-прежнему более чем туманны. Пожалуй, можно даже сказать, сегодня они в полной мгле, с учетом всего того, что творится в мире.

— Ну и работенку вы нам задали, Зинаида Яковлевна! Насилу отыскали ваш новый адрес. Маме даже пришлось обращаться в свой бывший исполком. Ходила в квартирный отдел, выясняла, в каком именно районе вам выделили квартиру.

— Ну, кто ищет, тот всегда найдет! — откликнулась я философическим тоном. — А что, мама больше уже не работает в исполкоме?

— Да нет! Она уже на пенсии. А я вот женился, как видите!

— С чем я тебя от всей души и поздравляю, мой дорогой Максим! — ответила я прочувствованно. А про себя подумала. Да, несладко будет этой девчушке по жизни. Быть замужем за гением — это тебе не футы-нуты! Пока смотрит на своего избранника с нескрываемым обожанием, а что потом? Придется ведь терпеть, да еще как терпеть…

— А я к вам снова за помощью, Зинаида Яковлевна. Вы мне в прошлый раз здорово помогли…

— Что? Еще одну книгу написал?

— Да какое там! Совсем забросил свое писательство! Семью же кормить надо! Тем более, Катя еще учится… Нет! Я к вам по другому поводу. Мы с Катериной решили перебраться в Австралию. Не поможете мне с переводом документов на английский язык? Там ведь тьму бумаг, оказывается, надо представить на английском языке. Даже аутентичный перевод трудовой книжки нужен. Представляете?

— Помогу, конечно! О чем речь! А где бумаги-то?

— Я их не рискнул взять с собой. Подумал, вдруг вы откажетесь… заняты и все такое.

— Ну, заняты мы всегда, это правда. И чем старше, тем больше. Вот такой вот странный парадокс наблюдается в моей жизни. Но помогу я тебе с удовольствием. Разве что удовлетвори для начала мое любопытство. Почему именно в Австралию? Или у нас уже тоже стали практиковать выдачу десятифунтовых билетов на пароход до Австралии?

Молодые люди уставились на меня непонимающими взглядами. Пришлось объяснять им историческую реалию другой страны. В Великобритании конца XIX — первой половины XX века существовала такая практика: в связи с нехваткой населения на территории Австралии, главным образом женского пола, туда отправляли пароходы с молодыми вдовами, матерями-одиночками, просто одинокими молодыми женщинами, не имеющими на родине ни работы, ни крыши над головой. Билет в одну сторону стоимостью десять фунтов оплачивало всем этим страдалицам государство. Женский контингент, естественно, формировался под заказ. То есть, где-то на берегу далекой Австралии каждую из путешественниц уже поджидал потенциальный жених, готовый довольствоваться либо залежалым товаром, либо «надкусанным яблочком», как раньше называли несчастных жертв скоропалительных любовных романов, оставшихся с младенцем на руках. В любом случае, на далекой овцеводческой ферме, затерянной в глубинах пыльного континента, нужна была хозяйка дома, жена, служанка… просто женщина, наконец… Как складывались судьбы всех этих бедолаг, отправившихся в далекое странствие на другой конец света, да еще и не по своей доброй воле, можно только догадываться. По-всякому! Но именно так и шло освоение и заселение пятого континента. Таковы были суровые реалии того времени. А как сейчас?

— О, сейчас в эту самую Австралию не прорваться! — рассмеялся Максим. — Тамошние власти даже ввели квоты на количество иммигрантов. Так что еще

большой вопрос, попадем ли мы туда вообще. Им ведь в первую очередь нужны люди рабочих профессий. А что я? Философ… могу претендовать только на самый низкооплачиваемый труд. Вот собираюсь в Москву. У нас же в Минске посольства Австралии пока нет. Разузнаю там, что и как, а потом уже приеду к вам со всеми необходимыми документами, которые надо будет переводить на английский язык.

Не приехал. По-видимому, в московском посольстве ему толково объяснили, что в Австралии не нуждаются в дополнительных философах. Своих, как говорится, с избытком…

Где теперь мой гений, понятия не имею. Надеюсь, все у него хорошо. Ну, или хотя бы терпимо. Хотя с таким темпераментом, с каким написана его книга… трудно будет ему обустроиться в этой жизни. Но дай ему Бог, этому ниспровергателю всех религий на свете, всего самого доброго. Уже хотя бы за то, что он, вопреки своим гневным филиппикам, потянул и вытянул основной христианский посыл, проведя его красной нитью по всей книге, тот самый посыл, который в итоге и должен спасти человечество, то есть всех нас с вами. Любовь — вот главное оружие гуманизма, та самая любовь, о которой твердил еще когда-то апостол Павел.

Правды ради скажу, что иные рассуждения раздражают чрезмерной самоуверенностью, излишней безапелляционностью, что ли. Например, вот это.

«Я работаю на будущее, я работаю на большое будущее. Я работаю на большие горизонты».

Хотя — опять же! — с какой стороны посмотреть. Ведь всем молодым, да еще и гениальным к тому же, свойственен особый кураж, не так ли? Достаточно вспомнить знаменитые строки: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»

Зато как проникают в душу вот эти слова философа.

«Суета сует» — это мудрость животного. Ничто не суета — все движение, все жизнь, все любовь, все свобода — вот мудрость человека».

Прекрасно сказано, не правда ли?

А недавно вот прочитала на страницах прохановской газеты «Завтра» развернутую философскую дискуссию о перспективах развития человечества. И некто грозно восклицал в пылу полемики: «Либо человеческий цивилизационный проект свернется, либо мы все-таки вернемся к поиску другой модели».

Сколько же вы будете ее искать, эту модель, родимые мои, вздохнула я в сердцах и снова вспомнила про своего гения.

«Сегодня не то время, когда мы можем позволить себе некие «дискуссии», некие «гипотетические выкладки» на тему «что дальше», зная, что «выбор крайне далече», зная, что здесь вообще не нужно ничего, что разговоры «о жизни» — это пустые разговоры».

Так может, лучше действительно оглянуться по сторонам, внимательно приглядеться и прислушаться к тому, что уже написано и сказано?

Где же ты, мой гений? В каких эмпиреях витаешь сегодня? Где же ты, гордо заявлявший в заключительной главе своей книги:

«Я не гегельянец, я не марксист, я не коммунист, я не философ, я, в конце концов, не гуманист, я — человек, я — человек, которому не все равно».

По-моему, самое время тебе возникнуть из небытия…

К 135-летию Якуба Коласа

Зинаида КОМАРОВСКАЯ

Якуб Колас и Алексей Новиков-Прибой: история дружбы



Литературный праздник «Коласовины», который организовывается сотрудниками музея ежегодно, начиная с 1985 года, в день рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа, всегда радует и удивляет открытиями, новыми материалами, неизвестными фактами из биографии белорусского классика.

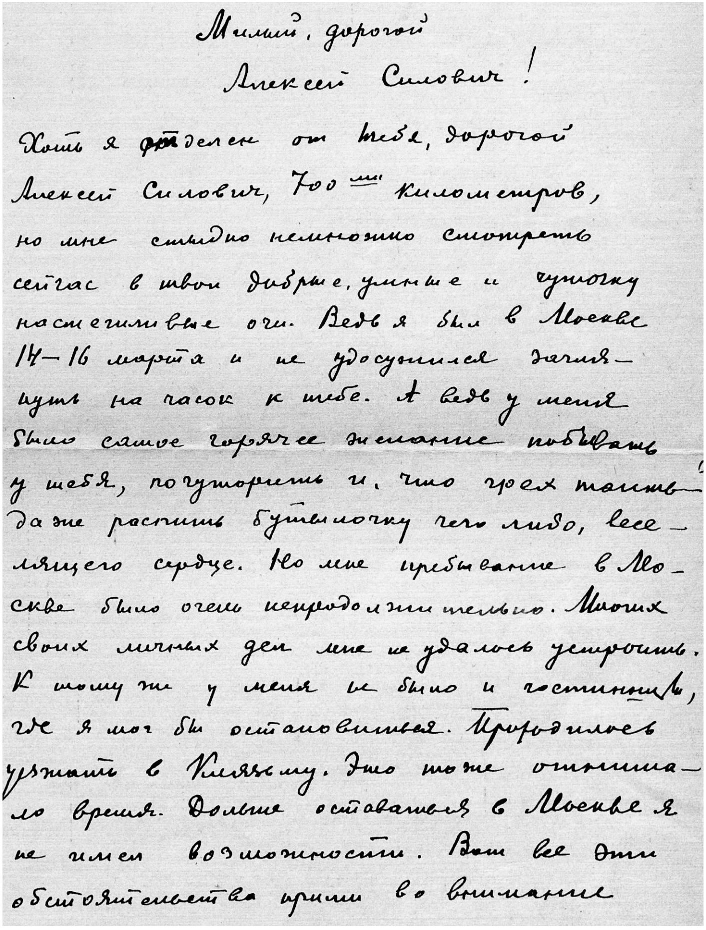
В 2015 году поэт, заместитель председателя общественного объединения «Российско-белорусское братство» Андрей Витальевич Антонов (г. Санкт-Петербург) передал музею электронный вариант писем Якуба Коласа Алексею Силовичу Новикову-Прибою, которые хранятся в Пушкинском доме (Институт русской литературы Российской Академии наук, г. Санкт-Петербург).

Знакомство Якуба Коласа и Алексея Новикова-Прибоя состоялось в 1934 году на I Всесоюзном съезде писателей, который проходил в Москве с 17 августа по 1 сентября. Якуб Колас вместе с делегацией белорусских писателей, среди которых были Янка Купала, Кондрат Крапива, Кузьма Чорный, Михась Лыньков, принимал участие в съезде, выступал в прениях по докладу Максима Горького, в составе делегации, где был и Алексей Новиков-Прибой, навестил Максима Горького на даче.

Максим Горький проявлял чуткость и внимание к талантливой молодежи, делающей первые шаги в литературе. Ярким примером такого отношения является письмо Горького к украинскому писателю Михаилу Коцюбинскому в 1910 году, где он пишет: «В Беларуси есть два поэта: Якуб Колас и Янко Купала — очень интересные ребята… Просто так пишут, задушевно, грустно, искренне. Нашим бы немного этих качеств. Вот хорошо бы было…»

С особенным вниманием относился Максим Горький и к Алексею Новикову-Прибою, которого благословил на восхождение на творческий Олимп. В 1911 году высоко оцененный пролетарским писателем рассказ А. Новикова-Прибоя «По-темному» был напечатан в журнале «Современник».

Новые, неизвестные до этого времени материалы, переданные в музей Андреем Антоновым, а также дочерью Алексея Новикова-Прибоя Ириной Новиковой, — письма Якуба Коласа к Новикову-Прибою, книга с произведениями Якуба Коласа и фотография с автографом народного поэта — свидетельствуют о



Милый, дорогой
Алексей Силович!
Хоть я отделен от тебя, дорогой Алексей Силович, 700-ми километров, но мне стыдно немножко смотреть сейчас в твои добрые, умные и чуточку насмешливые очи. Ведь я был в Москве 14–16 марта и не удосужился заглянуть на часок к тебе. А ведь у меня было самое горячее желание побывать у тебя, поговорить и, что грех таить, даже распить бутылочку чего-либо, веселящего сердце. Но мне пребывание в Москве было очень непродолжительно. Многих своих личных дел мне не удалось устроить. К тому же у меня не было и гостиницы, где я мог бы остановиться. Приходилось уезжать в Клязьму. Это тоже отнимало время. Дольше оставаться в Москве я не имел возможности. Вот все эти обстоятельства прими во внимание

Письмо Я. Коласа к А. Новикову-Прибою.

теплых, приятельских, можно даже сказать, дружеских отношениях, сложившихся между Коласом и Новиковым-Прибоем и поддерживавшихся до последних дней жизни автора известной «Цусимы».

Несмотря на некоторую разницу в возрасте, между ними было много общего: социальное происхождение, всенародное признание, высокие моральные качества, скромность, человеколюбие — искреннее, идущее из глубины души, унаследованное от родителей, их уклада жизни и высокой морали.

«Человека люблю и его добрые дела во имя счастья знакомых и незнакомых для него людей», — писал Алексей Новиков-Прибой.

А слова Якуба Коласа «Я прыйшоў у жыццё не для сябе самога, я прыйшоў дзеля Вас…» были лейтмотивом всей его жизни.

Алексей Новиков-Прибой родился 24.03.1877 года в крестьянской семье в селе Матвеевка Тамбовской губернии (сейчас в доме, где родился писатель, создан музей). Он участник Цусимской битвы в Русско-японской войне 1904−1905 годов. Его роман-хроника «Цусима» создан по материалам участников трагической битвы и большого количества документов, изданных на многих языках мира.

Интересной деталью, объединяющей двух известных писателей, стало увлечение творчеством поэта, революционера-народовольца Петра Якубовича-Мельшина. Известно, что под влиянием стихотворения Якубовича-Мельшина про колос Константин Мицкевич избрал себе псевдоним *Якуб Колас*. А Алексей Силович использовал строки поэта-народовольца в качестве эпиграфа к своему едва ли не главному произведению — роману «Цусима»:

…Погибель верна впереди,
И тот, кто послал нас на подвиг ужасный, —
Без сердца в железной груди.
Мы — жертвы! Мы гневным отмечены роком...

При разговоре с дочерью Алексея Силовича Ириной Новиковой мы нашли еще много общего, что объединяет двух известных писателей.

Якуб Колас часто помогал не только своим близким, но и абсолютно незнакомым людям, ходатайствовал за невинно осужденных в годы сталинских репрессий, оказывал материальную помощь не только многим талантливым литераторам, но и почти всем, кто обращался к нему.

По воспоминаниям Ирины Алексеевны, А. Новиков-Прибой тоже ходатайствовал об освобождении сосланных в Сибирь земляков, в том числе и мужа сестры своей жены Марии Леопольдовны. В доме Алексея Силовича всегда находили приют цусимцы, незнакомые люди, которым была нужна помощь.

У обоих писателей были определенные контакты, дружеские отношения с художником и поэтом Павлом Радимовым. В 1937 году Радимов написал портрет Новикова-Прибоя.

В музее белорусского классика экспонируется картина «Долгое. Зима в Белоруссии», подаренная 27.11.1952 года П. Радимовым Якубу Коласу с подписью: «*Дорогому, любимому поэту Якубу Коласу один из переводчиков его поэмы "Новая земля", поэтической энциклопедии Белорусского народа.*

Расти, цвести, как ржаной Колас,

Родной Якуб Колосс ты Колас. П. Р.».

Оба писателя были старательными и заботливыми хозяевами. На даче Алексея Новикова-Прибоя в подмосковной Тарасовке (кстати, совсем недалеко от Клязьмы, где останавливался Константин Михайлович с семьей) русский писатель, по воспоминаниям дочери, высаживал овощи, цветы, декоративные и плодовые деревья, некоторые из них и теперь радуют глаз.

Много сил и внимания уделял своей минской усадьбе и Якуб Колас. Благодаря его стараниям здесь было много цветов, плодовых и декоративных кустов, деревьев, среди которых деревья-символы семьи, вяз, под которым любил посидеть поэт…

Талант обоих был отмечен правительством. И Якуб Колас, и Алексей Новиков-Прибой были награждены орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, получили автомобили «эмка».

Писатели встречались и дружили семьями, обменивались поздравительными телеграммами.

Поступившее в музей письмо Якуба Коласа, доселе неизвестное исследователям его творчества, адресованное Алексею Новикову-Прибою, от 2 апреля 1936 года, свидетельствует об уважении и теплых дружеских отношениях между белорусским и русским писателями:

«Милый, дорогой Алексей Силович! Хоть я отделен от тебя, дорогой Алексей Силович, 700 километрами, но мне стыдно немножко смотреть сейчас в твои


ПРИЕМ
ПЕРЕДАЧА
НКСвязи СССР
Адрес: МОСКВА КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 5 НОВИКОВУ ПРИБОЮ
972 ЦХАЛТУБО 12 21 19
ДОРОГОГО АЛЕКСЕЯ СИЛОВИЧА ИСКРЕННО ПОЗДРАВЛЯЕМ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИЕЙ ПРИВЕТ ЦХАЛТУБО ЯНКА КУПАЛА КОЛАСА ЯКУБА = КУПАЛА КОЛАС

Поздравительная телеграмма А. Новикову-Прибою от Я. Коласа и Я. Купалы.

добрые, умные и чуточку насмешливые очи. Ведь я был в Москве 14—16 марта и не удосужился заглянуть на часок к тебе. А ведь у меня было самое горячее желание побывать у тебя, погуторить и, что греха таить, — даже распить бутылочку чего-либо веселящего сердце. Но мое пребывание в Москве было очень непродолжительно. Многих своих личных дел мне не удалось устроить. К тому же у меня не было и гостиницы, где я мог бы остановиться. Приходилось уезжать в Клязьму. Это тоже отнимало время. Дольше оставаться в музее я не имел возможности. Вот все эти обстоятельства прими во внимание и не осуди меня строго. По получении твоей книги и книги Павла Георгиевича я хотел сейчас же написать и искренно и сердечно поблагодарить милых авторов, но отложил, имея в виду скорую поездку в Москву.

Вот так оно все и произошло. Очень, очень извиняюсь!

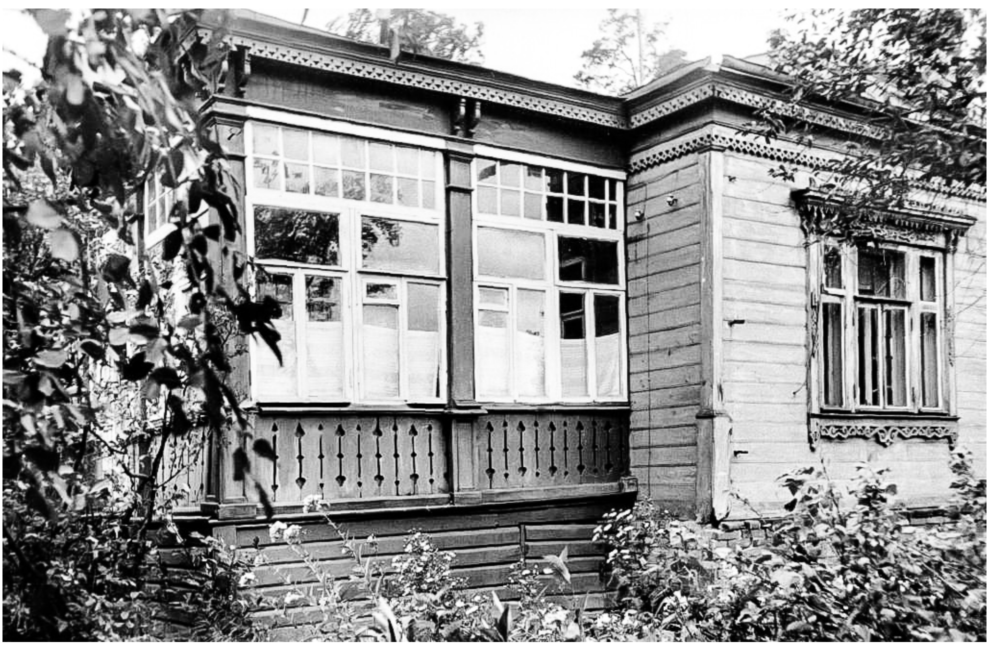
В будущем этот свой недочет исправлю непременно. Уверен, что в этом году мы встретимся и в Москве, и в Минске.

Сердечный привет Марии Леопольдовне от меня и от жены. Горячий привет Павлу Георгиевичу и большое спасибо за «Океан».

Целую крепко. Если только будет юбилей мой, то заранее изъявляю огромное желание видеть тебя в первом ряду почетных гостей. Всего лучшего, здоровья, радости и дальнейших успехов. Якуб Колас».

В 1937 году Колас поздравляет Новикова-Прибоя с 60-летием со дня рождения и 30-летием творческой деятельности: «*Дорогой Алексей Силович! Сердечно поздравляю с шестью десятками жизни и с тремя замечательного и поучительного писательского пути. Искренне рад приветствовать тебя как большого интересного писателя и как прекрасных качеств человека, сердечного, отзывчивого, прямодушного. Счастлив сказать, как любят тебя твои многочисленные читатели и как много у тебя в Белоруссии горячих поклонников. Желаю долгих лет творческой радости и достижений. Моя семья, где ты родной и близкий, так же горячо приветствует тебя. Якуб Колас*».

В 1941 году Якуб Колас вместе с Янкой Купалой отдыхали в Цхалтубо (Грузия). Оттуда белорусские поэты шлют Алексею Силовичу поздравление телеграммой:



Дом М. Д. Каменского в Клязьме, где останавливался Я. Колас.



Дача А. Новикова-Прибоя. 2016 г.

«Дорогого Алексея Силовича искренно поздравляем со Сталинской премией. Привет из Цхалтубо от Янки Купалы, Коласа Якуба. Купала, Колас».

В телеграмме в Ташкент в 1942 году в связи с 60-летием Якуба Коласа Алексей Новиков-Прибой пишет: «*Поздравляю, дорогой друг, с 60-летием славной плодотворной жизни. Желаю дальнейшего здоровья, успеха в литературе*».

Последнее письмо Алексею Новикову-Прибою Якуб Колас пишет 2 января 1944 года из Клязьмы: «*Дорогой Алексей Силыч! Сердечно поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, радости, удачи, здоровья и благополучия. Жалею, что не могу лично поприветствовать твой дом: немного ушиб ногу.*

Очень прошу пожаловать с супругой сегодня, 2 января 1944 г. к нам в Клязьму, улица Качановича, 11/1. Буду ждать. Всего наилучшего. Привет от М. Д. Она присоединяет свой голос и очень просит тебя и М. Л. приехать к нам. Твой Якуб Колас».

29 апреля 1944 года Алексея Новикова-Прибоя не стало. В дневнике «Говорит Клязьма» 2 мая Якуб Колас делает запись: «Завтра собираюсь в Москву на похороны Новикова-Прибоя. Как тяжело осознавать, что Новиков-Прибой умер! Ушел из жизни яркий писатель, редкостный человек, самородок-мудрец, глыба земли.

Когда он был жив, в голову не приходила мысль, что этот человек сойдет в могилу. Как он страдал, будучи в больнице! Как глубоко он переживал этот человеческий трагизм!»

3 мая 1944 года Якуб Колас был на похоронах Алексея Новикова-Прибоя. В дневнике пишет: «Стоял в карауле. Не мог сдерживать слез. На похороны приезжала Маруся».

Так закончилась история знакомства двух известных творцов — Якуба Коласа и Алексея Новикова-Прибоя. Однако хочется верить, что исследование их творческих и личных связей продолжится, а результаты этих научных поисков уже в ближайшее время появятся на страницах научного сборника «Коласовины».

Геннадий КОЖЕМЯКИН

Переписка Владимира Короткевича с Юрием Гальпериным

Эпистолярное наследие классика белорусской литературы Владимира Короткевича играет важную роль в изучении его жизни и творчества.

Сегодня, когда выходит его Собрание сочинений в 25 томах, составители прикладывают все усилия, чтобы наследие писателя было представлено максимально полно. Правда, когда речь идет о письмах, следует сделать оговорку, потому что не все из них сегодня подлежат публикации. Во-первых, остаются еще некоторые моменты, затронутые в них, которые кто-то не разрешает разглашать. Потребуется, возможно, еще не одно десятилетие, прежде чем все это станет доступно для читателя, исследователя. Во-вторых, многое из эпистолярного наследия писателя хранится в частных архивах и остается неизвестным.

Письма Владимира Короткевича войдут в восемнадцатый и девятнадцатый тома Собрания сочинений.

В названном издании готовятся письма, адресованные как известным белорусским деятелям, например, Якубу Коласу, Кондрату Крапиве, Максиму Танку, Ларисе Гениюш, Янке Брылю, Василю Быкову, Алесю Адамовичу, Владимиру Колеснику, Евдокии Лось, Зоське Верас, Михасю Забейде-Сумицкому и т. д., так и менее известным лицам, родным и близким, различным организациям.

В этой статье мы сосредоточим внимание на письмах В. Короткевича к Юрию Гальперину. В журнале «Нёман» (1991, № 7) публиковались некоторые из них. Публиковал их сам адресат.

Гальперин Юрий Константинович (1930—1994) — друг В. Короткевича. По образованию архитектор, инженер-строитель. В 1954 году он окончил строительный факультет БПИ. Долгое время жил на Урале, позже — в городе Тула. Белорусом не был, но хорошо знал белорусский язык. С писателем его познакомил их общий друг Станислав Карпенко (1932—1992). На протяжении продолжительного периода В. Короткевич и Ю. Гальперин переписывались, зная друг друга заочно. Только спустя годы произошла их первая встреча.

Когда Ю. Гальперин публиковал отдельные письма В. Короткевича, он полагал, что нельзя предавать огласке некоторые затронутые в них деликатные моменты, связанные с обстоятельствами личной жизни. Сегодня, исходя из принципа составления Собрания сочинений, где должно быть максимально полно представлено наследие писателя, где недопустимы купюры, за исключением только тех, которые связаны с семейными тайнами, что могут определить его наследники, такие письма должны быть даны полностью, как в академическом издании.

Возможно, что какая-то часть написанного В. Короткевичем Ю. Гальперину не сохранилась. На сегодняшний день известно 88 писем, хранящихся в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства (БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 11—15). Написаны они на русском (преимущественно) и белорусском языках. В некоторых русскоязычных письмах используются белорусские слова, выражения, фразы. Известно также одно письмо Ю. Гальперина, адресованное



Юрий Гальперин, Галина Кравец, Владимир Короткевич. Минск, 1963 г.

В. Короткевичу, напечатанное на машинке с рисунком автора (БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 16). Этот материал в свое время передала в архив-музей дочь Юрия Константиновича. Все они сейчас готовятся к изданию в восемнадцатом томе. Хронология этих посланий ограничивается 1954—1963 годами. Почему нет дальнейшей переписки и была ли она, какие были их отношения позже — ответа на этот вопрос пока нет.

Прежде всего мы должны обратить внимание на стиль, манеру написания многих писем В. Короткевича, адресованных близким друзьям. Дело в том, что когда Владимир Семенович писал тому, с кем не мог вольно и открыто говорить, шутить, применялся обычный официальный язык, иногда с осторожными шутливыми выражениями. В посланиях приятелям мы видим совсем другое. Такие письма пестрят обилием шуточных обращений в духе разных исторических эпох, некоторых выражений, свойственных, например, старобелорусскому, украинскому, латинскому и другим языкам.

В посланиях Ю. Гальперину встречаем, например, такие обращения, приветствия: «Дзень добры, паважаны сіньоре!», «Здравствуй и ты, о Каспашский лепоокий и светлоликий отрок!», «Здравствуйте, кавалер де Грие и его очаровательная Манон!», «Мілорд!», «Salve, caesar!», «Salve, puer!», «Мингер, экселентье!», «Здоров був, невероятный и богомерзкий!», «Нижайший салям!», «Свет ты наш батюшка князь Юрий, княж Константинов сын!», «Дорогой Юрась, сын Кастусев!»

Письма В. Короткевича нередко сопровождались рисунками, иногда шуточными (пародия, самоирония, шутка и т. д.). Где-то подобное использовалось ради зрительного толкования. Иногда В. Короткевич делал переход от автографа (подписи) к рисунку. Так, например, в одном случае изображение собаки внизу одного послания соединено с подписью. По плану Собрания сочинений такие художественные произведения должны быть показаны в специальном томе рисунков. Здесь же, в томах писем, планируется передача в тексте, как и полагается, факсимиле рисунков, особых, интересных подписей.

Отдельные письма В. Короткевича представляют особую ценность как единственный источник некоторых его стихотворных произведений. Так, например, в томах с поэтическим наследием классика, были использованы как документы письма, адресованные С. Карпенко, сопровождавшиеся стихами. Он сам когда-то показал Анатолю Верабью — составителю первого тома Собрания сочинений в 8-ми томах (1987) — эти послания писателя. На момент написания статьи судьба писем к С. Карпенко остается неизвестной. Некоторые произведения В. Короткевича были обнаружены в письмах к Ю. Гальперину. При анализе можно заметить, что иногда это — варианты известных по другим источникам стихов.

Оценки, которые давал иногда В. Короткевич некоторым историческим деятелям, могут вызывать у многих возмущение, а иногда и шок:

«Лекцыя пра Мусараніна [имеется в виду российский композитор Модест Мусоргский]. Гэта мой любімы. Акрамя яго як не дзіўна Бетховен і Чайкоўскі. Ну і каша! Скрабіна, Рахманінава і інш. не перанашу. Рыгаю, як пачую».

Например, для меня Сергей Рахманинов представляется одним из самых выдающихся композиторов всех времен и народов. Его музыка и фортепианное исполнение особенно потрясают. Поэтому приведенные здесь слова были прочитаны мной с грустью. С другой стороны, давать подобные оценки — право человека. О вкусах не спорят. Кроме того, речь идет в основном о личном восприятии произведений, а не об отрицании таланта. В данном случае такие письма помогают составить психологический портрет писателя. Говоря о ком-то из великих не очень лестно, он искренне высказывал свое мнение, иногда довольно грубо. Но это — Короткевич. И было бы в определенной степени преступлением скрывать от читателя такие оценки.

Вспомним, что, например, Л. Толстому были свойствены очень резкие суждения о чем-то общепризнанном. Так, он сравнивал музыку Л. Бетховена с песнями деревенских баб, плохо относился к творчеству великого В. Шекспира. Но, опять же, это тоже великий — Лев Толстой.

Владимир Семенович был человеком открытым, вспыльчивым, незлопамятным, добродушным, не терпящим какую-либо подлость, вместе с тем, любящим розыгрыши, очень эпатажным.

Читая его письма, можно удивиться охвату тематики, огромному количеству имен великих людей, названных в этих документах. Перед читателем возникает образ высокоэрудированной личности. За короткое время он прочитывал огромное количество литературы, высказывал свое впечатление в письмах, иногда что-то прочитать советовал Ю. Гальперину.

Ярким примером его характера является фрагмент истории его отношений с вышеупомянутым Станиславом Карпенко, что прослеживается в письмах. Дело в том, что между ними произошла временная ссора. Потрясенный поступками Стася, как он его называл, В. Короткевич в обиде на друга излагает в ряде писем к Ю. Гальперину свое восприятие этого конфликта, но все же позже в послании от 15 марта 1957 года делает оговорку: «Со Стасем особенно не порывай, но всегда знай, что с ним можно, а чего нельзя. Он все-таки молодец, познакомил нас с тобою».

А 9 апреля 1959 года В. Короткевич, который находился в Москве и учился на Высших литературных курсах, уже сообщает: «В Москву приехал Стась Карпенко и был у меня. Выпили мы с ним бутылочку, закусили, вспомянули старину. Он, видимо, счастлив в жизни и вообще молодчага, не спит в шапку».

Позже — 24 апреля — он еще, словно забыв, вновь пишет: «Стась ко мне заезжал. Помирились, поговорили…»

В ранних письмах В. Короткевич затрагивает моменты, связанные со школой, воспитанием детей, поскольку сам некоторое время работал учителем. Он высказывает мнение по поводу того, какие изменения, по его мнению, следует внести в образование.

Из писем видно, какую особую роль отводил писатель киноискусству. Позже он сам принимал активное участие в нем и как сценарист, и даже как актер. В ряде посланий он обсуждает фильмы, снятые в 1950-е годы. Многие из них — на историческую тему. При этом писатель переживает, что белорусское кино в этом плане слишком отстает, не разработана в достаточной мере белорусская национальная тематика. Такую проблему он остро поднял и в одном из двух известных нам писем к К. Атраховичу (Кондрату Крапиве).

Интересно, что в послании Ю. Гальперину от 18 мая 1955 года автор свидетельствует об этой короткой переписке со старшим писателем: «Ты знаешь, я отправил К. Крапиве письмо, в котором ругал консультанта «Вожыка» за неуважение к прошлому бел. л-ры. Крапива мне ответил таким разгромным письмом, что стало жутко. Нашел в моих стихах плохое знание норм литературного языка, скверное разрешение темы, затемняющее идею, сказал, что у меня все вертится вокруг чарки. Словом, все письмо было замаскированными словами: «вы самовлюбленная бездарность, не желающая слушать советов старших». Я знаю, что это так, я бездарность на самом деле, но как надоели эти «старшие», мнящие себя богами, откупщиками от литературы и еще бог знает кем. Я не говорю о больших талантах, вроде того же Крапивы, я говорю обо всех этих консультантах, воспитывающих из нашей литературной молодежи рабов перед авторитетом, холопов, готовых из уважения к брошенному невзначай мнению старшего отказаться от любого замысла, жидких хребтиной, гонорарщиков, пишущих в газетах виршики к знаменательным датам».

Вообще история, когда К. Крапива высказался очень резко о стихах молодого поэта, довольно известная. Об этом свидетельствует и Адам Мальдис, зашифровав при этом имя К. Крапивы как *К.* (см.: Мальдзіс А. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека. — Мінск, 1990. — с. 18). Написанное в этом письме — ценнейший документальный материал. Так мы прослеживаем переживания автора, близкие к депрессии, его временное проявление собственной недооценки, когда писатель под влиянием слов старшего писателя стал просто комплексовать. Что касается главного в характере этой недолгой переписки, на основании сказаного В. Короткевичем можно заключить, что оба автора были искренни, и хотя бы это следует оценить.

В. Короткевич переживал за судьбу архитектурных проектов, памятников зодчества и всего, что касалось культуры. Это был в чем-то романтик, небезразличный к окружающему человек. К сожалению, фортуна часто оказывалась не на его стороне и многое из того, за что он радел, потерпело фиаско. Так, в этих письмах он хвалит задуманный Ю. Гальпериным план создания дворца, и, когда узнает от него, что архитектурный проект отклонен, осуждает такое решение и морально поддерживает друга. А в письме от 17 марта 1957 года писатель высказывает восторг от еще одного проекта Ю. Гальперина: «Идея твоего памятника великолепна. Если бы вдохновить на это кого-то из белорусских скульпторов (у меня есть немножко знакомый скульптор Селиханов, может, когда приедешь, — поговорим с ним). Это было бы превосходно. И памятник был бы оригинален, в небывалом пока что для Минска духе. Только, на мой взгляд, эта фигура должна быть одной из многих, из доброго десятка фигур. Она — сверху, над всеми».

В письмах видно восприятие автором происходивших тогда в общественной жизни процессов, некоторых преобразований. Здесь можно встретить упоминания об известных политических деятелях.

Очень важным свидетельством политических взглядов В. Короткевича является, например, такой момент из письма Ю. Гальперину от 20 сентября 1956 года: «Насчет оценки Сталина ты неправ. Я его всегда не любил, а железная логика, если она сочетается с негодяйской душонкой, — тем худшая черта. Тысячи замученных, тысячи убитых, переселенные народы, уничтоженные культуры целых наций и у 190 милл. из 200 такое ощущение, будто им сели тяжелой задницей на

лицо, и такая эта задница гладкая, что как ни кусай ее — не укусишь, все равно как собственную ладонь, когда натянешь на ней кожу».

Или вот еще пример из послания от 8 июня 1958 года где писатель высказывает довольно смелые мысли, за которые в то время последствия могли быть непредсказуемые: «ЦК — это еще не народ (да простится мне такая еретическая мысль). А разве мало скверного творилось и творится именами богов. Народ наш хороший, вполне способный в лице мыслящей своей части двигать историю. Но извини, я не отношу к числу мыслящих разных разжиревших «предвзятых ганибалов» районного и областного масштаба. А им-то сейчас и лафа!»

Ряд писем открывает тайны для исследователей. Например, Денис Мартинович, используя послания В. Короткевича близким друзьям, в том числе Ю. Гальперину, выяснил то, что долгое время не было известно широкому кругу читателей. Так, например, подтвердилось, что многое из описанного в романе «Леаніды не вернуцца да Зямлі», что ранее считалось художественным вымыслом писателя, на самом деле происходило в реальности (см.: Марціновіч, А. Жанчыны ў жыцці Уладзіміра Караткевіча. Мінск, 2014).

Некоторые письма сохранились в не очень хорошем состоянии. Например, послание Ю. Гальперину от 18 мая 1955 года имеет повреждения: где-то оторвался кусок листа, где-то полностью или почти полностью стерлось написанное. В последнем случае пришлось по возможности восстанавливать текст исходя из логики, смысла и части слов. Вот как в текстологической реконструкции может выглядеть окончание письма: «Так трудно держать литературу, что встает, быть может, вопрос о самом ее существовании, если еще не о большем. <Ты меня> понимаешь. А они так возмутительно небрежны ко всем [ніжняя частка ліста паўсцёртая; напісана па-беларуску, падобна: «Бывай здаравенькі. Цалую…» далей — не чытаецца]. У. Караткевіч».

И действительно: в письме к Ю. Гальперину от 10 марта 1955 года ближе к концу также читаем: «Ты мяне разумееш». В письме к нему же от 10 ноября 1960 года автор завершает послание так: «Бывай здаравенькі. Твой Уладзімір».

В заключение хочется отметить следующее, касающееся эпистолярия В. Короткевича: поскольку не все на сегодняшний день известные послания писателя могут быть включены в Собрание сочинений, в будущем возможно издание одной или нескольких книг писем. Это может осуществиться в качестве дополнительных томов или как отдельные выпуски в рамках публикаций материалов, посвященных классику белорусской литературы.

Искусство суждения

Александр БЕРЕЗКО

Итоговая исповедь в литературе: история и современность

В свое время знаток человеческих душ З. Фрейд сформулировал довольно точно диагноз: «Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это значит, что он болен». Поглощенный обыденными делами, здоровый человек, обладая знаниями о неотвратимости собственной смерти, избегает подобных размышлений, оттесняя их на периферию сознания. Тяжелое заболевание, ставящее под угрозу возможность дальнейшего земного существования, не только доставляет человеку тяжелые физические страдания, но и выводит его из нормального, общепринятого состояния. Оно становится причиной кардинальных изменений в мировоззрении человека, прочно поселяя внутри него чувство тревоги. Близость смерти со всей остротой поднимает столь тщательно скрываемые в тайниках собственной души «проклятые» вопросы, возвращая человека к реальности. Покаянные произведения смертельно больных авторов составляют особую ветвь исповедальной прозы (условно назовем ее итоговая исповедь), которая, сохранив тесную связь с предшествующим художественным опытом, стала значительным этапом в ее развитии.

Исповедь — это, как правило, итоговое произведение в творческом наследии автора. В большинстве случаев ее создателем становится пребывающий в почтенном возрасте писатель, воплощающий давно возникший замысел. Эта закономерность нарушается в том случае, когда художника слова настигает страшная жизненная катастрофа — тяжелое заболевание, которое не оставляет последнему времени для «вызревания» замысла, заставляя торопиться с созданием прощальной книги. «На экране японского аппарата “Эхо” — разрез моего Сердца, на плывущем фоне дразнящийся язычок клапана. Вот где твои часы. Завод кончится и… Видел часы и спешу», — пишет А. Адамович на страницах «Vixi».

Болезнь в христианской традиции осмысливается как предупреждение, знак Божий, дающий человеку возможность осознать свою греховность и позаботиться о спасении души. Эту христианскую сентенцию, пропущенную через личный опыт, доносит до читателя Н. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде…»

Работу по написанию итоговой исповеди писатель начинает в тот момент, когда уже отчетливо осознает неизбежность своего отхода в Вечность, утрачивает последние иллюзии относительно своего возможного выздоровления. «Я был тяжело болен; смерть уже была близко», — такими словами открывает «Выбранные места…» Н. Гоголь, как никто иной чувствуя ее приближение: «…слабость сил моих… возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске…». Спокойно, спрятав тоску и боль глубоко внутри себя, констатирует близость своего смертного часа К. Сваяк: «Я болен… Чувствую в себе червя в

груди, который хочет сгрызть здоровый до сих пор мой организм».

Для человека, испытывающего под влиянием страха смерти острую потребность в вере (мера религиозности у каждого индивидуальна), остается один единственно возможный спаситель — Бог. Это накладывает отпечаток на содержание прощального произведения. Итоговую исповедь отличает особая авторская интонация — интонация смирения, которая является единой для всех относящихся к ней текстов. Такое исходное мироощущение исключает возможность присутствия в произведении слов авторского гнева, протеста, жалоб на судьбу. «И чего мне жалеть, оставляя эту печальную жизнь?» — рассуждал католический священник К. Сваяк, демонстрируя свою внутреннюю готовность принять смерть по-христиански, то есть не как вселенское горе, конец существования, а как великую радость, новое рождение, восхождение к жизни вечной. И далее: «Если что делается, с дозволения Твоего творится. Я спокоен». С житейских позиций, но не менее хладнокровно близость небытия воспринимает и А. Адамович: «Что ж, и тут я, наверное, от дедов-мужиков, позаимствовал: Бог дал, Бог взял! Спокоен до неприличия. <…> Ну что ж, спасибо и за 64 года».

Еще одной особенностью итоговой исповеди является минимальная забота автора о читателе. Последний в данном случае не является строгим судьей, на которого важно произвести благоприятное впечатление. Он в первую очередь слушатель, ученик, призванный не осуждать, а задуматься над ошибками исповедника, усвоить заветы автора. Писатель-исповедник не стремится подстроиться под читателя. Для человека, отсчет жизни которого идет не на годы, а на минуты, это было бы непозволительной роскошью. Подчеркивая значимость, возросшую ценность каждой секунды земной жизни, А. Адамович писал: «На днях хирургу, покушающемуся на мое бренное тело во имя того, чтобы продлить его существование еще лет на 5—10, я ответил: 5 или 10 под вопросом для меня куда менее важны (нужны), чем один год, но без такого риска: еще несколько законченных глав незавершенной книги все ж сработаю» (исповедь белорусского писателя имеет подзаголовок «Законченные главы незавершенной книги»).

Осознание близости смерти порождает в пространстве исповеди принципиально новую авторскую позицию. В связи с тем, что завершение работы над книгой по времени практически совпадало со смертью автора, он получал возможность обозреть всю свою жизнь целиком. Нахождение на границе жизни и смерти позволяло писателю взглянуть на нее со стороны, писать о последней как о жизни другого, хорошо знакомого человека. Такой взгляд придавал осмыслению «я» писателя особенную глубину, увеличивал степень объективности повествования. Как отмечала Л. Рублевская, «фрагменты о знакомстве со смертью (воспоминания об умерших; размышления о собственной смерти-смертности) придают личности автора значительность и переносят повествование в над-бытийный уровень».

В центре итоговой исповеди — традиционный образ грешника, который, оставшись один на один с Богом, подводит итоги своей жизни. Близость смерти особенно остро ставит перед ним проблему собственного жизненного предназначения. В подобном состоянии взгляд человека приобретает особую зоркость, позволяющую увидеть за многочисленными наслоениями истинный смысл содеянного. Всматриваясь в тайники собственной души, он обнаруживает трагическое несоответствие между поставленными перед собой жизненными целями и достигнутыми результатами. Отсюда традиционный для итоговой исповеди мотив сожаления об упущенных возможностях. «Если бы я так всю жизнь вкалывал, как сейчас (инфаркт ждать не будет!), мно-ого бы успел», — к такому неутешительному для себя выводу приходит А. Адамович. О растраченных понапрасну времени и возможностях

сокрушается в конце своей жизни и В. Быков: «Я сидел на даче и вместо того, чтобы поливать свои розы, писал какую-то статью... Сколько раз я давал зарок не писать, но они были квалифицированные профессионалы и умели добиться своего». И Быков в очередной раз вынужден был писать.

Одновременно с подведением итогов своего земного бытия автор итоговой исповеди совершает поступок обязательный для человека, решившего покаяться в собственных грехах. В надежде очистить душу он просит прощения у каждого человека, которому мог причинить зло. Одним из первых традиционный атрибут церковной исповеди в художественное произведение был привнесен Н. Гоголем в предисловии к «Выбранным местам…»: «…испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем ни случилось мне оскорбить их». С покаянного обращения начинает свою исповедь и В. Быков: «Извиняюсь перед теми, кого не упомянул здесь, о ком написал мало или тем более не так, как они заслуживают. Перед теми, кого огорчил указанными фактами или чрезмерными определениями. Нарочно никого не хотел обидеть».

Неотъемлемой составной частью итоговой исповеди является мотив прощания автора с близкими людьми, с милыми сердцу местами, с любимыми вещами, со счастливым прошлым. «Будь здорова, родная сторона! ... Тут я нашел силу к жизни, здесь узнал ясные минуты покоя; здесь нашел новые цели работы дружной, здесь познал, как скучно живется нищему крестьянину в темноте, грехе и прелюбодеянии забитости», — с безграничным сожалением напишет в «Дзее маёй мысьлі, сэрца і волі» К. Сваяк, вынужденный покинуть дорогие ему Клющаны, предчувствуя, что вслед за отъездом последует скорая смерть. Встреча с близкими друзьями во время празднования собственного семидесятилетия стала последним светлым воспоминанием В. Быкова, о которой он с ностальгией напишет: «Кажется, то были последние счастливые времена моей не старой еще жизни. Скоро все то безвозвратно кануло в Лету».

Выполнив традиционные христианские ритуалы, писатель-исповедник включал в состав произведения свое последнее прижизненное распоряжение, в котором, как правило, указывал место желаемого захоронения. Данная особенность придавала итоговой исповеди форму своеобразного завещания. Быть похороненным рядом с родителями мечтал К. Сваяк: «Сегодня пойду я под раскидистое дерево на могилках моих родителей...<...> Среди деревьев самый старый — клен, посередине кладбища. Под ним еще никто не лежит. Там место для меня...» Совсем по-иному звучит последняя просьба Н. Гоголя (здесь уже даже не просьба, а приказ, который подчеркивается повелительной формой наклонения глагола): «Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом…». «Похоронить меня там, где я умру… На самом дешевом кладбище и в самом дешевом гробу», — завещал Л. Толстой.

Однако главной отличительной чертой итоговой исповеди, которая сформировалась из всего комплекса указанных ранее особенностей, является максимально возможная степень искренности авторского слова в художественном произведении. Тексты тяжело больных писателей — это вершинная точка откровенности в исповеди. Как отмечал А. Криницын, «в предсмертной исповеди можно говорить не стыдясь абсолютно все, поскольку все связи с миром разорваны и можно не думать ни о каких последствиях».

Тем не менее даже в условиях, максимально располагающих к полной откровенности, исповедникам далеко не всегда удавалось избежать соблазна самолюбования. Ярким примером в этом отношении может служить исповедь Д. Фонвизина «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» (1790—1792 гг.). Его обращение к исповеди традиционно принято связывать с именем Ж. Ж. Руссо, одноименный блистательный образец кото-

рого произвел на русского драматурга сильное впечатление. Реализовать этот замысел писатель попытался только в самом конце своей жизни, когда был разбит параличом и находился на пороге смерти (текст остался незавершенным). На связь «Чистосердечного признания…» с «Исповедью» знаменитого французского предшественника Д. Фонвизин указывает уже в первых строках своего произведения: «Славный французский писатель Жан Жак Руссо издал в свет “Признания”, в коих открывает он все дела и помышления свои от самого младенчества, — словом, написал свою исповедь и думает, что сей книги его как не было примера, так не будет и подражателей».

Вместе с тем произведение Д. Фонвизина не стало копией «Исповеди». Как справедливо указывал Г. Макогоненко, «“Чистосердечное признание…” — это попытка по-своему решить жанр исповеди, с такой силой искусства утвержденный в литературе Руссо». Заслугу Д. Фонвизина в истории исповеди исследователь понимал в том, что тот «видел человека иначе — не только со стороны сердца, но и со стороны его связей с миром всеобщего». Поэтому в своем произведении он «должен был раскрывать не только неповторимость судьбы частного человека Фонвизина, но и Фонвизина-писателя, чья деятельность имела общественный и гражданский характер». При этом Г. Макогоненко только констатирует, что «Чистосердечное признание…» писалось, видимо, в последний год жизни писателя, оставляя в стороне прямое влияние данного биографического факта на характер фонвизинской исповеди.

Установка на предсмертный характер своего слова определяет своеобразие авторской позиции Д. Фонвизина в «Чистосердечном признании…». Если Ж. Ж. Руссо так объяснял цель своей исповеди: «дать точное представление о моем внутреннем мире во всех обстоятельствах моей жизни», то Д. Фонвизин открыто заявляет: «…да не будет в признаниях моих никакого другого подвига, кроме раскаяния христианского: чистосердечно открою тайны сердца моего и *беззакония моя аз возвещу*». Для тяжелобольного автора («…едва ли остается мне время на покаяние») исповедь становится средством очищения души перед отходом в Вечность. Однако сомнения в искренности Д. Фонвизина, приводившего порой идеальные собственные характеристики («Сердце мое, не похвалясь скажу, предоброе. Я ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость, и для того ни перед кем так не трусил, как перед теми, кои от меня зависели и кои отмстить мне были не в состоянии» и т. д.), начали звучать уже в первых откликах на исповедь. Так, в рецензии неизвестного автора, опубликованной в журнале «Зритель» в 1792 году, отмечалось: «Между тем я боюсь, чтоб и вы не были подвержены такому же раскаянию, каково и г. Ф. в рукописных его покаяниях, где с крайним смирением сердца и сожалением признается, что во всю жизнь был чересчур умен и Боже нас избавь от такого покаяния…». Более того, современники увидели в исповеди скрытое за личиной христианского смирения желание «оправдаться — отвести от себя обвинения в политическом и религиозном свободомыслии, представив его заблуждением давних лет, грехами молодости, которые он и искупает своим “чистосердечным признанием”». Истинную причину появления публичной исповеди Д. Фонвизина они видели в изменившейся политической обстановке в России в начале 90-х годов XVIII века. Как отмечал А. Тартаковский, «“Чистосердечное признание…” создавалось в гнетущей атмосфере правительственной реакции на Французскую революцию, обернувшейся в России гонениями на деятелей передового, просветительского лагеря».

В отличие от Д. Фонвизина, который являлся одним из родоначальников исповеди в русской литературе, искренность В. Жилки, К. Сваяка, К. Чорного, А. Карпюка, А. Адамовича и В. Быкова, создавших оригинальные образцы итоговой исповеди в белорусской литературе, под сомнение не ставилась.

В скорбном списке безвременно ушедших поэтов белорусской литературы особое место занимает Владимир Жилка. Судьба отмерила ему символические тридцать три года жизни, большая часть из которых прошла под знаком ежеминутно грозящей смерти. В феврале 1919 года у начинающего поэта случаются первые приступы туберкулеза — болезни XIX века, осиротившей не одну европейскую литературу, в том числе и национальную, которая лишилась многих талантливых поэтов и писателей (М. Богданович, К. Каганец, И. Кончевский, Ядвигин Ш. и др.).

Болезнь приносит В. Жилке не только невыносимые физические страдания (у поэта все чаще идет горлом кровь), но и кардинально изменяет систему его мировоззренческих установок. В апреле 1924 года в письме к А. Луцкевичу он делится своими наблюдениями: «Никогда у меня не были такие мужественные и трезвые настроения, как сейчас. Обязан им только болезни. И нынешние мотивы стихов совсем другие». Тема смерти, прощания с жизнью становится доминирующей в творчестве поэта. В незначительном в количественном, но весьма качественном в художественном отношении творческом наследии В. Жилки поражает сосредоточенность автора на данной онтологической теме, что можно заметить уже на уровне заголовочного комплекса созданных им текстов: «Смяротны пах», «Я — грамнічная свечка прад Богам…», «Божа, не шмат засталося…», «Не складаць мне болей песняў…», «Развітанне» и др.

В стихах В. Жилки нет нареканий на судьбу. Каждая их строчка становится иллюстрацией мысли поэта из письма к А. Луцкевичу: «Жизнь чем дальше становится большей мукой». Пережив еще в 1923 году состояние клинической смерти, он смирился с неизбежностью своего скорого ухода в Вечность. Из такого трагического мироощущения рождаются гениальные и обжигающие своей искренностью поэтические строки:

Ну хай жа, ну хай жа, пакінь,
Навошта трагедыя, поза.
Мы самі патрапілі ў згубную плынь,
Так прымем загубу цвяроза…

Еще более откровенен В. Жилка был на страницах «Дзённіка», хотя и не достиг при этом того уровня искренности, который отличает дневниковые записи, например, К. Чорного и А. Адамовича. Создав для читателя ауру загадочности вокруг своего текста, В. Жилка так и не решил, с какой же истинной целью он обратился к такой легкой, на первый взгляд, жанровой форме: «Но теперь установка: писать каждый день и не менее двух страниц. В этом своя определенная цель, которую пока что сохраню». Поэтому, вероятно, «Дзённік» и насчитывает всего несколько страниц. Автор обращается к нему несистематически, от случая к случаю. Текст охватывает лишь десять дней из трех лет жизни белорусского поэта; обрывается неожиданно и немотивированно, оставляя в душе читателя больше сомнений и вопросов, нежели разгадок и понимания человеческой природы В. Жилки.

Авторская откровенность переплетается в нем с самовлюбленностью, с желанием сохранить в глазах потомков свой писательский и человеческий имидж. Невольно напрашиваются аналогии с «Исповедью» П. Верлена, который с первых страниц книги интригует читателя, обещая ему в скором времени поведать в подробностях историю своих взаимоотношений с А. Рембо, но, едва подведя повествование к истории их знакомства, прерывает текст на полуслове, словно не выдержав моральной ответственности перед избранной жанровой формой, восходящей к одноименному церковному таинству. Неудивительно поэтому, что за подобную неискренность публика «отблагодарила» поэта прозвищем «лукавый фавн». Подобная характеристика авторской позиции, безусловно, недопустима по отношению к В. Жилке в его «Дзённіке», ведь доподлинно не известно, готовил ли представитель новой белорусской литературы данный текст к публикации.

На страницах «Дзённіка» — особой эпической жанровой формы — В. Жилка сумел высказать те идеи, которые остались не до конца проясненными в главной части его творческого наследия — поэзии. Многое в нем осталось намеченным лишь пунктирно, многое требует тщательной расшифровки. Но не вызывает сомнения, что в целом «Дневник» — это бесценный документ, позволяющий по-новому взглянуть на человеческий облик В. Жилки.

В свое время Ж. Ж. Руссо открыл свою книгу признаний эпатирующим заявлением: «Я стоил жизни своей матери, и мое собственное рождение стало первым из моих несчастий». Как и славный французский предшественник, В. Жилка начинает свой «Дзённік» с шокирующей мысли: «Смерть совсем не страшит, даже больше: она желанная гостья». Читатель, знакомый с поэзией В. Жилки, вряд ли удивится такому нерядовому авторскому признанию, поскольку оно лейтмотивом проходит через многие его стихотворения:

Як праб'е немінучая чвэрць,
Ах, якая прыгожая смерць.

Причина такого пессимистического взгляда на окружающую действительность заключается не только в слабом здоровье поэта. Истоки этой трагедии кроются гораздо глубже: «Пугает ужас жизни — жесткий и неуловимый, неумолимый. Я боюсь пустоты и хаоса, а они всевластны. <...> Ах! Как трудна жизнь, какое огромное бремя. Бьешься в ней, как муха в паутине, и, митусясь, только больше запутываешься». Подобные мысли не могли родиться в голове двадцатитрехлетнего юноши неожиданно и беспричинно. Это рефлексия человека над трагическими событиями отечественной истории, очевидцем и свидетелем которых ему выпало быть: революция 1917 года, разгром большевиками Первого Всебелорусского конгресса, провозглашение Белорусской Народной Республики в 1918 году, раздел территории Беларуси между Польшей и СССР.

Личная жизненная трагедия на фоне катаклизмов в общественной жизни страны превращают В. Жилку в великого пилигрима: деревня Мокаши, Мир, Минск, Богородецк Тульской губернии, Слоним, Клетищи, Вильня, санаторий Бирштаны в Литве, Двинск в Латвии, Прага. Жизнь поэта, как и у его славного предшественника А. Мицкевича, превращается в неустанное странствие, скитальчество, в результате чего у него формируется чувство одиночества, неукорененности, оторванности от родной земли: «Душит и одиночество — ни родных, ни близких друзей и приятелей. Я на всем своем кратком пути — один». Тем не менее автор не считает источником всех своих бед окружающую действительность. Подобно О. Уайльду, пережившему душевный кризис в стенах Редингской тюрьмы, В. Жилка приходит к выводу, что «несчастье и мука заключены не в вещах, а в нас самих. “Я”, его переживания творят у нас и радости, и страдания». Совсем неслучайным в этой связи выглядит появление на страницах «Дзённіка» В. Жилки слов восхищения творческим подвигом знаменитого английского парадоксалиста.

Как известно, О. Уайльд вошел в историю литературы, в первую очередь, как создатель гедонистической философии эстетизма, которая разводила искусство и действительность по разным полюсам. В. Жилка не только усвоил уроки классика европейской литературы, но и выстроил на их основе свой символ веры, свое жизненное credo, подробно разъяснив его суть на страницах «Дзённіка». Как и О. Уайльд, он видит смысл человеческой жизни и сущность искусства в Красоте: «Лучше я расскажу о своей любви, последней любви. Любимая эта… и кто бы мог подумать… Красота». Идеал в мировоззренческой системе В. Жилки не имеет конкретного воплощения. Это мечта, иллюзия поэта, с помощью которой он жаждет найти опору своей безрадостной жизни: «Я даже не знаю, что оно такое. Мне хочется думать, что Оно и есть большая настоящая реальность, которой нет даже в науке».

В ситуации физической несвободы О. Уайльд в исповеди «De Profundis»

много внимания уделял проблемам христианства. Размышления о смысле жизни также ведут В. Жилку к поискам путей к Храму: «Только сильные, здоровые ходят без трости, а слабому нужна опора, нужна помощь. Может, поэтому я так упорно ищу подпорки…» Обретение веры у каждого человека происходит по-своему. Для белорусского писателя этот путь обретает приоритетное значение после тяжелого, неизлечимого в то время заболевания: «Я никогда не был атеистом, но и никогда не уделял делам веры большого внимания. Я был захвачен жизнью, ее шумом, охмелел от нее. А теперь, когда проходит первый угар, обращаются глаза невольно в какие-то невидимые туманы, хочется слышать что-то. Вопрос веры становится актуальным». В. Жилка размышляет о значении личности Христа в нравственном усовершенствовании человека, видя в нем символ своей трагедии: «Люблю его, как молодость свою, как сказку, как легенду, как легкий сон, как мечтание... <...> Я не знаю ничего более хорошего, большого, как бессмертный (лучше сказать) умерший и воскресший Христос».

Развивая свои мысли далее, В. Жилка, подобно Л. Толстому, который еще в молодости мечтал о создании новой религии, размышляет о возможности объединения двух краеугольных идей своего жизненного credo в одно целое, что привело бы к появлению особой религии — религии Красоты: «Почему до сих пор нет религии красоты? Красота — стимул правды, свободы и знания. Укоренись культ Красоты, и люди были бы счастливы. <...> Люди хотят Христа новых высот, нового неба! Христос Красоты придет крестить во имя Красоты форм и духа, и им спасемся!»

В минуты обращений к вопросам веры В. Жилка подвергает себя беспощадному самоанализу и самоосуждению: «...я совсем сдался духовно, червоточина внутри, от которой мутит»; «Как плохо чувствовать себя больным, слабым, неустойчивым на ногах.<...> Трудно не жить, а по-скотски существовать...». Поэт вновь и вновь возвращается к центральной мысли дневниковых записей не только о неизбежности, но и желанности своей скорой смерти. Измученное тело юноши, у которого непрестанно «болит и горит голова, болят груди», мечтает обрести покой: «Не хочется ни о чем думать. Не о чем мечтать, кроме как о Вечном Сне». Неудивительно, что в таком состоянии к человеку приходит мысль о самоубийстве: «Так часто приходит предательская, сладкая мысль — ускорить конец. Это наилучший выход…»

Как известно, достоинство любого произведения исповедально-автобиографической прозы напрямую зависит от степени искренности его автора. Однако и чрезмерная человеческая откровенность зачастую может стать серьезным недостатком текста. Вершинные, классические образцы данной литературы (например, «Исповеди» Августина Аврелия и Л. Толстого) отличает чувство меры, такта, разумный баланс авторских признаний и умалчиваний. Поэтому, вероятно, современники и потомки Ж. Ж. Руссо, задумывавшего свою «Исповедь» как самую откровенную книгу европейской литературы, обвинили его в грехе душевного эксгибиционизма. Читая «Дзённік» В. Жилки, невольно ловишь себя на мысли, что автор временами начинает кокетничать, преувеличивать свои недостатки, превращая текст человеческого документа в место для игры с читателем. Укоряя себя в слабостях, В. Жилка втайне рассчитывает вызвать у читателя абсолютно противоположные оценки. Трудно согласиться и поверить словам одного из лучших поэтов начала XX века, когда он дает себе следующие характеристики: «Дурак я, дурак!»; «Замечаю: корявый язык мой — и стиль»; «Вообще-то я не замечаю за собой особых “талантов”, если бы хоть один — но нет! Чем похвастаюсь: память, способности к науке, искусству, большая воля, здоровье — ничегошеньки нет!» и т. д. В целом это не снижает высокий художественный уровень «Дзённіка», но

заставляет читателя с осторожностью относиться к признаниям автора.

Незадолго до смерти В. Жилка написал свое последнее произведение — прощальную поэму «Тастамент», которая впервые вышла в свет уже после смерти поэта (1942 г.). Прошедшие со дня последней дневниковой записи восемь лет принесли поэту новые разочарования. Среди целой череды несчастий, преследовавших белорусского художника слова (неприятие поэзии официальной критикой, уход жены, разлука с дочерью), особняком стоит 1930 год, когда В. Жилка стал одной из первых жертв белорусского возрождения от большевистских репрессий. По приговору суда поэта на пять лет высылают в город Уржум Кировской области, где он работает учителем.

В эти годы у В. Жилки не остается надежд на лучшее. У него есть последнее желание умирающего человека — быть похороненным в родной земле, рядом с могилами своих предков:

Пара падумаць і пра кут:
На могілках зацішных Росы
Хачу спачыць ад каламут.
Сачыцьмуць мой спакой найпільней
Муры старой, каханай Вільні.

Жители Древнего Рима призывали человека помнить о смерти — Memento mori. Судьба В. Жилки сложилась настолько трагично, что после всех перенесенных испытаний мысль о смерти стала не только основой его жизненного credo, но и во многом обусловила специфику эстетической программы творчества.

Исповедь К. Сваяка, изданная в 1932 году под названием «Дзея маёй мысьлі, сэрца і волі», практически не исследована в отечественном литературоведении. Первый шаг в этом направлении был сделан И. Штейнером, который проницательно заметил, что это произведение «представляет собой не обычный дневник или воспоминания поэта-священника, а настоящую исповедь человека, который чувствует свой уход и пытается проанализировать суть своей жизни и стойкость идеалов, которым служил». Согласимся с мнением исследователя, тем более что потребность в исповеди, как свидетельствует «Дзея…», сопровождала К. Сваяка на протяжении всей его недолгой жизни: «Иду на исповедь»; «Думаю об исповеди»; «Благодарю Бога за сегодняшнюю исповедь» и т. д.

Несмотря на то, что «Дзея маёй мысьлі, сэрца і волі» представляет датированные в хронологической последовательности записи, в которых автор фиксирует важнейшие события своей жизни, в целом данное произведение нарушает доминантную черту жанра дневника, то есть той жанровой формы, к которой его формально можно было бы причислить. Дневник как жанр литературы требует обязательного наличия ряда особенностей. Главными из них являются монологичность, регулярность ведения записей, и что весьма важно, отсутствие ретроспективности, мгновенность осмысления событий. Последний элемент жанровой модели дневника в произведении белорусского писателя оказывается нарушенным изначально (ср.: дневники Л. Толстого, «Дневник писателя» Ф. Достоевского).

Уже в «Пачатках», первой главе «Дзеі…», К. Сваяк признается в предсмертном характере своего произведения, то есть сообщает ту информацию, о которой, следуя законам жанра дневника, должен был сказать в самую последнюю очередь, в соответствии с хронологией собственной жизни: «Перед глазами стоит все прошлое, что минуло как блики светла, навеки погасшего… Не вернется никогда… Дорогой! Собери силы духа… Ставь перед собой все, что прошло…». «Пачаткі», подобно «Завещанию» в «Выбранных местах…» Н. Гоголя, становились камертоном, призванным сформировать у читателя особое настроение, которое должно было распространиться на восприятие всего произведения.

Еще одним свидетельством синтетической природы жанровой модели исповеди, разработанной К. Сваяком, является смешение причин, побудивших автора к созданию «Дзеі маёй

мысьлі, сэрца і волі». Желание фиксации и последующего анализа событий собственной жизни первоначально объясняется стремлением писателя стать лучше, совершеннее: «Берусь вновь за реформу своего характера». Традиционно подобная творческая установка является отличительной особенностью жанра дневника. Об этом свидетельствуют, например, дневники Л. Толстого, ставшие к настоящему времени эталоном жанра: «По дневнику весьма удобно судить о самом себе». Однако в дальнейшем целеустановка дневника в «Дзеі…» К. Сваяка, словно не выдержав того внутреннего напряжения, присущего произведению, видоизменяется, уступая место сугубо исповедальной. «Я хотел бы найти какой-нибудь смысл жизни своей…» — напишет автор, что сразу же ставит его произведение в один типологический ряд с исповедями Н. Гоголя и Л. Толстого.

Отчетливо прослеживается в «Дзеі…» и влияние «Исповеди» Августина Аврелия, с которой автор, по-видимому, познакомился уже во время подготовки к вступительным экзаменам в духовную семинарию. Вспоминая этот период жизни писателя, его брат Бернард Степович писал: «Перед выездом в Вильнюс осенью 1906 года начинает больше интересоваться религиозной литературой, читает множество произведений католических писателей, доступных ему на польском и французском языках». Так, например, в своем произведении К. Сваяк воспроизводит классическую для исповеди ситуацию прихода человека к Богу. Августин Аврелий отводил этой сцене ключевую роль в построении «Исповеди», стремясь как можно ярче, эмоциональнее передать мучительную борьбу в душе главного героя, оказавшегося на распутье: «Душа моя глухо стонала… я рвал волосы, ударял себя по лбу, сцепив пальцы, обхватывал колено…»; «И страшная буря во мне разразилась ливнем слез». Отображая в мельчайших подробностях картину душевного переворота («обращению» посвящена вся VIII книга «Исповеди»), Августин Аврелий стремился вызвать сопереживание в сердцах читателей, надеясь, что те, услышав его «радостный рассказ, воскликнут: “Благословен Господь на небе и на земле; велико и дивно Имя Его”». Следуя традициям славного предшественника, К. Сваяк, в силу своих художественных возможностей (очевидно, что у известного ритора данная сцена выписана совершеннее), передает собственный путь к Богу: «Помню удивительный момент. Я приехал в Вильнюс с дорогим своим отцом. Зашли в кафедральный костел, отец ради Бога, а я сам не знаю для чего: молиться я не мог. В часовне отправлялось богослужение... Отец опустился на колени и начал свои молитвы. Сердце мое тревожно забилось... Показалось мне, что судьба моя не только от меня зависит... Я хотел высокого понимания и больших поступков. Мысль моя однако успокаивалась, видя свою слабость и изменчивость... Я молился».

Особое место в пространстве итоговой исповеди национальной литературы занимает «Дзённік» К. Чорного. Он отражает непривычную для этого писателя систему взглядов на мир. В историю белорусской литературы К. Чорный вошел как основоположник социально-философского романа. Отличительной особенностью его творческой манеры было желание создавать циклы произведений, объединенных близостью замысла: «…я стремлюсь в меру моих сил и способностей нарисовать в художественных образах историю белорусского народа за время от уничтожения крепостничества и до наших дней — эпохи социализма и движения народов к коммунизму». Именно этим объясняется тот факт, что «Дзённік», отразивший сокровенные взгляды писателя, идущие вразрез с официальной идеологией времени, на долгие годы был изъят из литературного обращения.

Первая, сокращенная цензурой на треть публикация дневника состоялась в журнале «Полымя» лишь в 1965 году. Еще более «очищенная» его версия была опубликована в восьмитомном Собрании сочинений (1972—1975 гг.). Полный вариант «Дзённіка» впервые

дошел до читателя в четвертом номере журнала «Полымя» в 1988 году, почти через 44 года со дня последней записи автора в нем. В короткой вступительной статье к этой публикации В. Быков не без горечи констатировал: «Надо сразу отметить, что печатается этот Дневник не первый раз, но все прежние публикации были непростительным образом усечены тогдашней перестраховкой, цензурой и адаптированы под то состояние общественной жизни, которым его оставило нам изболевшее сердце писателя».

«Дзённік» К. Чорного охватывает короткий временной отрезок: он включает в себя записи в период от 2 июля до 22 ноября 1944 года. На нескольких десятках страниц отразилась вся драма человека, которому жизненные обстоятельства не позволили реализовать его безусловный талант.

Преисполненный честолюбивых планов, «белорусский Ломоносов» К. Чорный летом 1923 года отправляется пешком из родных Тимковичей в Минск, преодолев 140 километров. Молодой человек полон надежд покорить своим творчеством весь мир. Спустя двадцать лет он начинает делать короткие дневниковые записи, которые становятся отдушиной, свидетельством его нечеловеческой усталости. За прошедшие годы К. Чорному удалось достичь в литературе значительных успехов: создать более пятнадцати крупных произведений — романов и повестей, выпустить в свет целый ряд сборников («Апавяданні», «Срэбра жыцця», «Па дарозе» и др.), возглавить в 1926 году литературное объединение «Узвышша».

Великие художники слова редко бывают довольны достигнутым, надеясь, что лучшая их книга впереди; она еще не написана ими. Не является исключением из этого правила и К. Чорный. Писатель мечтает творить подлинную литературу, базирующуюся на собственных эстетических принципах: «Все, что написал до сих пор, — не то, что бы меня удовлетворило... Сейчас хочу одного: чтобы такие вещи, как литература, не творились урывками и кустарно...»

Прошедшие двадцать лет жизни К. Чорного — это время не только успехов, но и горьких разочарований. 14 октября 1938 года за расспросы крестьян на рынке об их жизни писателя объявляют польским шпионом и на восемь месяцев заключают в минскую тюрьму, шесть из которых он проводит в камере-одиночке. Режим пытается сломить неугодного им писателя: «В ежовской тюрьме в Минске осенью 1938 г. меня сажали на кол, били большим железным ключом по голове и поливали избитое место холодной водой, поднимали и бросали на рейку, били поленом по голому животу, вставляли в уши бумажные трубы и ревели в них во все горло, загоняли в камеру с крысами, но рук в кандалы не замыкали».

Первым не выдерживает тело, организм человека. Из тюрьмы на свободу выходит тяжелобольной человек, до конца своих дней балансирующий на грани жизни и смерти. Осенью 1942 года К. Чорный перенесет тяжелый инсульт, в результате которого на полгода утратит зрение. Великая литература замолкает, уступая место «госпитальным записям» — тетради, в которой писатель будет ежедневно фиксировать состояние своего здоровья, прислушиваясь к больному телу: «18/VI. Грипп. Лежу в постели. Мерили кровяное давление. Максимум 168. Сегодня лучше вижу». Записи о состоянии здоровья займут значительную часть и его «Дзённіка», в котором описание немощной плоти станет доказательством истинности текста: «Слава богу, и болезнь моя постепенно покидает меня. От времени, когда я заболел, прошло уже год и семь месяцев... В эти дни я заметил, что уже хорошо вижу лист бумаги весь так, чтобы писать на нем ровным рядком, какой бы широкий лист бумаги ни был. А еще шесть месяцев назад, когда начинал переписывать “Поиски будущего”, мне было мучение выписать ровно заголовок и первую строчку. Я циркулем мерил параллельность строки от берега бумаги».

Ярмо предателя, неблагонадежного писателя ограничивало творческую свободу К. Чорного. Репрессированный писатель был лишен возможности спокойно жить и плодотворно работать. «Дзённік» становится для К. Чорного той отдушиной, где он может оставаться самим собой: не лгать и не лицемерить. Одновременно это и его последняя попытка разобраться в себе, еще раз осмыслить свой жизненный путь. Писатель словно предчувствует, что эти записи могут стать его прощальной книгой: «У меня уже нет 70% здоровья. Я погибаю и не могу использовать как нужно было свой талант».

Руководствуясь инстинктом самосохранения, К. Чорный вынужден заниматься публицистикой, объективно осознавая ее ценность: «Пошел сегодня рано в редакцию. Думал, пока еще там никого не было, писать ненужную работу: передовая статья в “Беларусь” № 5. Статья уже написана, но цензор требует, чтобы там было как больше шаблона. Спаси меня боже от этой работы больше».

Перед таким же мучительным выбором в советской литературе стоял не один писатель, решая, идти ему на компромисс со своей совестью или нет. Так, например, «ленинградская Мадонна» О. Берггольц, отбыв срок по сфабрикованному делу, на страницах «Запретного дневника» писала: «Надо закончить эту муру — “Ваня и поганка”…»; «…довольно заказов, “Ванек и поганок”, песенок к дурацким фильмам. За дело жизни, за роман, удачей ли неудачей он кончится». Такой же беспросветной грустью и болью наполнены слова К. Чорного в записи от 9 июля 1944 года: «Думаю о той горькой правде, что никогда не имел возможности писать то, что самое важное для белорусской литературы и где бы я действительно свернул горы. А то все пишу на всякие промежуточные темки, после которых думал, что позатыкаю глотки дуракам и обманщикам и тогда уже возьмусь за то великое, что хочу и могу написать».

Поденная, заказная работа отнимает остатки сил писателя, все больше и больше отдаляя его от создания сокровенной, главной книги, о замысле которой он неоднократно рассказывал в письмах к своим друзьям: «И вот теперь, как никогда раньше, остро встала передо мной потребность и необходимость поставить все на карту, а совершить, наконец, мои литературные замыслы, начала которых восходят еще к 1931 году. Я имею в виду серию романов, о которой я тебе не раз говорил. События войны наглядно показали мне, что в своих замыслах еще тогда никак не ошибался, когда думал построить здание в будущем великом городе белорусской литературы. Ты знаешь, что я мыслил это как картины, даже, если хочешь, в хронологическом порядке, белорусской жизни в его историческом процессе. И очень большая обида, что столько лет пропало без пользы на всякую мелочь».

Находясь в Москве, К. Чорный искренне верит, что сможет реализовать свой основной замысел, вернувшись в освобожденную от немецко-фашистских захватчиков Беларусь, на свою малую родину — Тимковичи: «...может, мне суждено еще увидеть милые Тимковичи. А что, если и дом мой остался и стоит? Это будет большое счастье. Там же, в тихой жизни можно будет прийти в себя как следует и написать все задуманные романы». Надеждам писателя не суждено было сбыться: «Письмо из Тимковичей… Дом сгорел».

В сентябре 1944 года К. Чорный возвращается в Минск. Несмотря на сложные бытовые условия, он не теряет оптимизма, все еще надеясь на лучшее: «Уже как раз неделя, как в Минске. Еще живу на полу в доме, где Союз писателей. Негде отоспаться и отлежаться... Но, кажется, это уже последний мой злой этап. Как-нибудь добьюсь квартиру и буду заботиться о здоровье и писать». Через месяц такой неустроенной жизни не выдерживает организм писателя: «Вчера вечером заметил, что ноги опухли до колен. Сердце! В тюрьме у меня опухали только ступни». В конечном итоге К. Чорный переживает страх смерти, подобный «арзамасско-

му ужасу», пережитому Л. Толстым в конце XIX века: «Боюсь, что не выдержу до постели и подушки. Призрак смерти мучает меня. Так я долго не протяну».

Начинается последний акт расправы большевистского режима над инакомыслящим писателем. Итоговая запись К. Чорного наполнена болью и отчаянием. Это исповедь человека, осознавшего тщетность и иллюзорность своих честолюбивых и светлых устремлений: «Вот уже месяц, как в “квартире”, данной мне Совнаркомом. Но как раз как та камера в тюрьме, где я сидел в 1938 году. Можно сказать, что я уже дошел до последней черты. Грязь, темнота — окна смотрят в черный треугольник с высоченных стен. Писать невозможно и жить невозможно». Ужас от осознания своего нынешнего положения усиливается у писателя от мысли, что в соседней квартире рабочие делают ремонт начальнику Рыжикову: «Там светло и хорошо. Там Рыжикову можно будет крутить патефон и играть в “пульку”». Страдающее тело превращает К. Чорного в мудреца, который прозрел суть происходящего не только с ним лично, но и в стране в целом: «Мы отдали государству свои души и таланты, но мы не Рыжиковы. <...> ...у нас не европейское государство, где интеллектуальные особенности человека делают его жизнь организованной. А у нас азиатчина. Подхалимство, взяточничество, чиновничество, кляузничество — за последние годы поднялось на большую высоту. Сколько нашей интеллигенции без причины гниет в тюрьмах и на высылке».

Сломав человека физически, режим в конечном итоге подавил и его волю. Одинокий и несчастный человек зачастую ищет Бога. Страдающее тело вынуждает его вспомнить о душе. «Боже, напиши за меня мои романы, может, так молиться, что ли?» — в этой последней дневниковой записи К. Чорного — квинтэссенция всей его жизни. Это вопль отчаяния разочаровавшегося в своих возможностях человека, который словно предчувствует забирающую его в свои объятия близкую смерть.

Исследователю П. Васюченко удалось сформулировать точную формулу творческой и человеческой судьбы К. Чорного: «Жизненная драма Кузьмы Чорного — драма неполной самореализации. Судьба предопределила ему стать великим и написать роман века, но этот роман Чорный не сумел закончить, так как короткая жизнь ушла на борьбу с антилитературными обстоятельствами». Жизненная и творческая драма К. Чорного — это яркая иллюстрация судьбы многих десятков писателей, ставших жертвами сталинских репрессий 1930-х годов.

К белорусскому писателю А. Карпюку судьба была неблагосклонной: с тяжелым онкологическим заболеванием он оказывается в боровлянском диспансере. Неутешительный диагноз и отказ опытного хирурга проводить операцию неумолимо приближали А. Карпюка к свиданию с Вечностью. Отстрочить исполнение этого сурового приговора помог В. Быков, который «как-то упросил хирурга своим авторитетом». Осень 1991 года стала для А. Карпюка промежуточным финишем. Однако хронометр жизни был уже запущен, и его окончательная остановка могла произойти в любой момент. Как выяснится позже, срок истечет 14 июня 1992 года. Последние мгновения жизни становятся для автора временем углубленного самопознания. Результатом этих размышлений явилась книга «Прощание с иллюзиями», которая впервые была опубликована уже после смерти писателя в 1993 году.

Исповедь в литературе — это не только подведение итогов жизни конкретного автора, но и пророчество, урок для всего человечества. Как отмечает Г. Ибатуллина, «покаянная исповедь инициирует переход сознания в иное, более высокое духовное состояние…». И далее: «Покаяние есть сокровенный смысл и вершина исповедальности, с которой человеческой душе открываются новые пространства — с другой мерностью, другой логикой, другой системой ценностей, с новыми возможностями бытия, как духовного, так и практического». Мысль исповедни-

ка обретает подлинную свободу, перед ним открывается прежде недоступное откровение. А. Карпюк изначально акцентировал внимание читателя на этом уникальном статусе писателя-исповедника, избирая для своего итогового произведения название «Четвертое измерение».

Традиционно понятие «четвертое измерение» использовалось пророками и аборигенными народами мира для объяснения великих перемен, ожидающих Землю и человечество: перехода планеты из третьего в четвертое измерение, который может привнести гармонию в земную жизнь и ускорить духовный рост человека. Нахождение человека на границе жизни и смерти для А. Карпюка подобно межпланетарному переходу, для достижения эффективного результата которого необходимо извлечь уроки из ошибок сегодняшней жизни на Земле.

Книга «Прощание с иллюзиями» не была первым автобиографическим опытом А. Карпюка. В 1965 году он создал произведение «Моя Джомолунгма», в котором осветил основные вехи своего жизненного и творческого пути. «Прощание с иллюзиями» явилось его продолжением, где усилился, отчетливее зазвучал исповедальный голос автора. В итоговом произведении А. Карпюк подчеркивает связь между текстами, тем самым призывая воспринимать их как дилогию: «В глубокой конспирации существовали Коммунистическая партия и комсомол Западной Белоруссии. <...> Как члены этой организации отстаивали свои идеалы, я описал в «Моей Джомолунгме», поэтому раскрашивать еще раз не стану». Книга «Моя Джомолунгма» завершалась признанием писателя, в котором он подробно разъяснял свой символ веры, свое жизненное кредо: «Для чего человек живет? Видимо, для борьбы за Правду. В мой век Правда находится в больших идеях коммунизма, я за них боролся, как только мог. <...> Я познал счастье, я знаю, как мне жить!» Спустя тридцать пять лет, находясь между жизнью и смертью, А. Карпюк приходит к горькому выводу: коммунистическая идея оказалась иллюзией, не имеющей ничего общего с теми высокими устремлениями, о которых он мечтал. Долгом жизни автор считает создание предельно искренней книги, в которой он самостоятельно попытался бы проследить истоки своего увлечения идеями коммунизма, отобразить генезис личных решений, дать психологическую мотивировку поступков, объяснить причины абсолютного разочарования в идеалах, которым он восторженно и с энтузиазмом служил почти всю свою жизнь. Редакция журнала «Нёман», где впервые была опубликована исповедь А. Карпюка, заменила ее первоначальное название на «Прощание с иллюзиями», выдвинув в «сильную» позицию основную идею произведения.

Как и большинство образцов восточнославянской исповедальной прозы, «Прощание с иллюзиями» не сводится к осмыслению индивидуального жизненного опыта автора. Для А. Карпюка (как и для Л. Гениюш, С. Граховского и др.) исповедь — это форма национального покаяния, с помощью которой он рассказывает о заблуждениях целого поколения людей. Именно поэтому в качестве эпиграфа к своему произведению он избирает фрагмент известного стихотворения Ч. Милоша «Który skrzywdzités», с помощью которого сообщает читателю, еще до его знакомства с текстом, что «Прощание с иллюзиями» — это коллективное свидетельство, где автор — один из участников важных исторических событий: «Не будь такой самоуверенный — поэт помнит. Можешь его убить, но родится новый, запишет все твои поступки и беседы».

Процесс создания книги «Прощание с иллюзиями» имел для А. Карпюка облагораживающий, жизнеутверждающий смысл: спасал от одиночества, отчаяния, облегчал страдания от тяжелой болезни. Еще несколько лет назад он с энтузиазмом доказывал необходимость построения общества социальной справедливости, ради чего был готов пойти на любые жертвы. Каждое новое литературное произведение было

демонстрацией искренней веры автора в непогрешимость своих жизненных идеалов, поскольку сам процесс творчества для него сводился к четко поставленной задаче: «...продолжать бороться за свои взгляды и принципы средствами слов и образов».

Туман иллюзий рассеялся, оставив после себя пустоту и чувство горького разочарования. Свою тоску А. Карпюк прячет глубоко внутри себя, не жалуясь на судьбу. Поэтому «Прощание с иллюзиями» не становится попыткой самооправдания автора. Исповедь подкупает своей искренностью, в каждой строке которой отчетливо ощущается боль писателя, который был безгранично предан идеям коммунизма, ставшим своего рода идеей fixe всей его жизни.

С мужеством, достойным уважения, А. Карпюк оглядывается на свою жизнь, переосмысливая наиважнейшие пункты собственного мировоззрения. Оказавшись у последней черты, он словно очнулся, отрезвел от идеологического дурмана, прозрев истинную суть произошедших с ним и его страной событий: «Только теперь, когда мысли и воспоминания отстоялись, а цензура отменена, с высоты прошедших дней о том насилии над людьми могу говорить уверенно».

Излишняя эмоциональность, субъективность автора могла нарушить историческую правду, поэтому на страницах книги А. Карпюк стремится привести как можно большее количество документальных фактов, примеров из жизни, увиденного собственными глазами, оставляя за читателем право делать самостоятельные выводы.

Книга «Прощание с иллюзиями» открывается демонстрацией шокирующего примера душевной глухоты, утраты исконно человеческого представителями молодого поколения последнего десятилетия XX века: автомобильная авария, чудом не унесшая жизни людей, вызывает у двух пятиклассниц, оказавшихся ее случайными свидетелями, чувство радости. Такая реакция человека на чужое горе становится для А. Карпюка отражением общей безрадостной картины, воцарившейся на его родной земле. Нынешний уровень нравственного состояния человека — это последствия идеологического краха в СССР, итог длительного процесса, охарактеризованного автором как «обыдление… народа», который начался 17 сентября 1939 года — в день объединения Западной и Восточной Беларуси. Именно с этого времени, по мнению автора, «началось разрушение честности и народной демократии», в результате чего человек лишился «нравственного стержня» — заветных правил поведения, служивших «надежным гарантом для самоутверждения и роста». Являясь непосредственным свидетелем этого процесса, А. Карпюк на страницах книги «Прощание с иллюзиями» стремится проследить в хронологической последовательности все его этапы.

В исповеди А. Карпюка традиционный мотив прощания автора с земной жизнью дополнительно осложняется сожалением о навсегда утраченном рае — Западной Беларуси, входившей в состав Польши. Такое трепетное отношение к своей «малой» Родине охватило писателя к концу жизни, когда многое было переоценено и переосмыслено. Как вспоминает автор, непосредственные жители Принеманского края «душой были на Востоке». В их представлении именно Восточная Беларусь «была раем на земле, где текут молочные реки, люди ходят в шелках и живут в дворцах». Немногочисленные слухи о несправедливостях, царивших в СССР, никто не воспринимал всерьез. Наивная вера в желаемое ослепляла людей, лишая их возможности трезво смотреть на вещи. Слепое поклонение надуманным, желаемым идеалам превращало человека в фанатика, в результате чего происходила коренная ломка извечного уклада жизни: распадались семьи, уничтожались естественные для деревенских жителей кровные связи. «До сегодняшнего дня — через полвека! — хорошо чувствую, с какой недоброжелательностью я относился к тем, кто осмеливался критиковать новые порядки...» — признается А. Карпюк, вспоминая, как вознена-

видел родного дядю Николая за его правдивый рассказ о пережитом ужасе в сталинском лагере. Пытаясь разобраться в крайностях противоречивого времени, автор задается вопросами: что произошло с человеком? как это могло случиться? «Мне, деревенскому ограниченному обалдую, такое можно было и простить. Ведь только начинал жить, наивный был как теленок. Но как простить отцу, бывалому зубру...» Такой суровый приговор, вынесенный А. Карпюком своему родному отцу, — это не стремление автора снять с себя вину, переложить ее на плечи другого человека по принципу «сын за отца не отвечает». В данном случае перед нами еще одно свидетельство абсолютной искренности писателя, поскольку Ничипор Алексеевич сыграл исключительную роль в становлении своего сына. Неслучайно последние строки исповеди автор адресует именно отцу как самому дорогому и близкому человеку: «Уверен, если бы жил отец, то и он мне сказал бы: “Правильно, сынок, делаешь, мы оба здорово ошиблись!”».

С первого дня долгожданного «освобождения» в Принеманском крае началось «насилие над людьми». Словно прозрев перед смертью, А. Карпюк осознал подлинный смысл происходившего в те годы. Для своей исповеди автор избирает самые показательные, красноречивые, поразившие его факты истории. Писатель до сих пор не может найти логическое объяснение совместному параду советских и немецких военных сил по случаю разгрома польской армии. Планомерное уничтожение представителей Коммунистической партии и комсомола Западной Беларуси, многие из которых «не задумываясь, бросились защищать Варшаву от гитлеровцев», продолжилось и в последующие месяцы. Недоумение от происходившего А. Карпюк передает в своей исповеди с помощью целого ряда риторических вопросов, следующих друг за другом: «А как же трупы испанских борцов, что не успели даже остыть? Как же немецкие коммунисты, которых Гитлер бросил в тюрьмы и концлагеря?! Как же с песней, которую кэпэзобовцы недавно пели?!» Эти страшные события, смысл которых тогда мало кто понимал, для жителей Принеманщины померкли на фоне новых, еще более значительных. В 1940—41 гг. начался массовый вывоз людей в Сибирь. «Насильно оторван был от жизненных корней каждый десятый житель Принеманского края», — констатирует А. Карпюк. Крушение прежнего жизненного уклада на территории до этого мирной Западной Беларуси было столь стремительным и неожиданным, что люди просто отказывались верить своим глазам. Для каждого нового преступления, совершенного представителями новой власти, человек, пребывающий в эйфории от «освобождения», готов был придумать оправдание и свято в него верить. Только время оказалось способным расставить все по своим местам. Используя отличительную особенность исповеди, предоставляющую автору возможность ретроспективного взгляда на события своей жизни, А. Карпюк нарушает хронологический принцип повествования, эмоционально оценивая случившееся уже с высоты нового миросозерцания, обретенного незадолго до смерти: «Вынесли бессудный приговор целому слою народа, выбили его из быстроты нормальной жизни, а назавтра об этом — никакой информации. Разве так можно?!»

Новые порядки, установленные в Западной Беларуси, не только кардинально нарушили традиционный уклад жизни местных жителей, но и исподволь начали изменять самого человека. Если поначалу использование «пришельцами» нецензурной лексики и их страсть к алкоголю вызывали у представителей Принеманского края удивление, то спустя короткое время такое поведение стало нормой и для самих земляков автора. Воскрешая в памяти события тех лет, А. Карпюк с горечью отмечает: «Гипноз новой власти был настолько сильный, что люди, сведенные к рабскому подчинению и бездумному увлечению, чувствовали себя даже и правда счастливыми». День ото дня человек терял связь с родной

землей, с ее неповторимой духовной культурой.

Ментальные отличия людей Западной и Восточной Беларуси стали еще более зримыми во время Великой Отечественной войны. Руководствуясь заветами, которым детей Принеманского края обучали еще с ранних лет, А. Карпюк — капитан партизанского отряда имени К. Калиновского — обостренно ощущал ответственность за жизнь человека, стремясь избегать неоправданных потерь среди мирного населения. Ему была глубоко чужда мораль людей, пришедших с Востока: «Зато и сегодня звенит в ушах их девиз, который поражал своей антигуманностью: лучше пусть погибнут десять невинных, чем выпустить из засады живым одного гитлеровца».

Создавая книгу «Прощание с иллюзиями», А. Карпюк не столько жаждет заслужить прощения, сколько вызвать у читателя чувство острого неприятия к тому этапу жизненного пути, который повлечет за собой духовный кризис. Это своего рода вызов строю, отражение крушения прежней системы мировоззрения через собственные признания, демонстрация изменения своего ума. В оценках событий прослеживается бескомпромиссность, отказ от попыток найти «правильные» слова. А. Карпюк освобожден от стесняющих уз приличия: «Одним словом, бездарно мы провели войну. И в этом виновато в первую очередь советское руководство»; «Я считаю, что выдача по сто граммов бойцам во Вторую мировую войну — роковая ошибка» и т. д.

Предельная честность и открытость, наглядно отразившиеся в исповеди, в целом были присущи А. Карпюку как человеку. В одном из его произведений встречается следующая самохарактеристика автора: «Я — нетерпеливый, самоуверенный, резкий, упрямый, легкоранимый, нескромный, самолюбивый, прямолинейный, некоммуникабельный, скрытный, склонен преувеличивать и бросаться в крайности. Терпеть не могу различных канонов, режимов, регламентов и общепринятых норм». Эти же человеческие качества А. Карпюка отмечены исследователем В. Колесником: «По мере того как набирал вес его писательский авторитет, все больше начинали значить для него правдивость и свобода слова, эти ценности становились делом жизни: “Я стою на своей земле, да еще чтобы не говорил на ней того, что думал? Зачем тогда жить?!”». За свои благородство, обостренное чувство справедливости, память о традициях предков в послевоенное время он изведал немало неприятностей. Как вспоминает автор, за годы обучения на филологическом факультете Гродненского института, работы заведующим районным отделом народного образования в Сапоцкине «я все больше и больше чувствовал, что попадаю в категорию людей, которые определялись наполовину позорной кличкой “западник”. <...> Это значит, что я человек не “полноценный”, который не вызывает доверия, которого не нужно принимать всерьез». Наблюдение за преступлениями, происходящими на «освобожденной» территории, порождает у А. Карпюка сомнения в правильности своего жизненного выбора. Автор подробно описывает тот день в 1950 году, когда после беседы с министром НКВД БССР Л. Цанавой он переживает глубочайший духовный кризис: «Впервые, пожалуй, в моей голове именно в тот весенний день явились, наконец, здоровые просветы. Оправившись от животного страха, я мало-помалу приобретал второе дыхание и начинал что-то смекать, анализировать, трезво рассуждать».

А. Карпюк ощущает себя обманутым, ясно осознавая бессмысленность происходящего в стране. Каждое новое распоряжение начальства отдается глухой болью в душе писателя. Так, например, автор осуждает себя за участие в исполнении партийной директивы о проведении социалистического соревнования между колхозами: «Самое неприятное, что я, понимая идиотизм этой всей затеи, вынужден был приказ выполнять. <...> Делал все это я, а на душе было скверно». Перед писателем с особой остротой встает

проблема выбора дальнейшего пути существования. Одновременно со всей очевидностью раскрываются неисчислимые бедствия, принесенные новыми властями Западной Беларуси: «Разложение общества в застойный период пошло на всех уровнях. Гибель и вывоз самых лучших и достойных привели к притуплению народных традиций, деградации морали и даже изменению в генофонде народа». А. Карпюк оказался в духовном вакууме. Вокруг не осталось не только единомышленников, но и вообще интеллектуально образованных людей: «С тех пор я не припоминаю ни одного руководителя, с которым можно было бы, как с равным, пообщаться на морально-этические темы, о литературе, гуманизме, — не было таких там!» Дальнейшие события жизни автора (обвинение в антисоветской деятельности, исключение из партии) подтолкнули его к окончательному разрыву с официальной идеологией. А. Карпюку понадобилось целых 50 лет, чтобы окончательно пересмотреть свое отношение к идеям коммунизма. Можно лишь догадываться, как трудно было автору публично отречься от своего credo, признать, что смыслообразующая идея, на служение которой ушла вся жизнь, оказалась главной и уже непоправимой ошибкой: «Я не из покорных, я — из оболваненных. Всю жизнь не там искал идеал. Я глубоко верил в коммунизм. <...> Проснулся, слава Богу, и понял, что я объект неприличной игры в руках людей, которые водили меня десятилетиями за нос и спекулировали на моей наивной вере, как и вере миллионов таких же. <...> КПСС — носитель чуждой мне морали. <...> Вы — как вам угодно, а я больше не хочу к этой партии принадлежать!»

Каждая исповедь, помимо сугубо литературных задач, которые преследует писатель, сопряжена с решением сверхзадачи, выходящей за рамки искусства слова. Сверхзадачей исповеди А. Карпюка является приобщение читателей к тем духовным заветам предков, «нравственному стержню», правилам поведения, которые были положены в основу воспитания западнобелорусских детей. С этой обретенной истиной, уясненной для себя окончательно, автор на страницах книги «Прощание с иллюзиями» прощается не только с читателями, но и с жизнью: «Скорее сбрасывай с себя чужую, тесную рубашку, выбирайся из глухой колдобины, которую история подсунула людям на их пути, и возвращайся к своим корням».

В истории европейской литературы трагедия одного человека, разочаровавшегося в себе, нередко становилась основой содержания его исповедального опыта (П. Верлен, О. Уайльд и др.). Этот традиционный для исповедальной прозы мотив в книге А. Карпюка получает дополнительную смысловую нагрузку. Предельно искреннее свидетельство автора, разочаровавшегося в идеях коммунизма, возводит трагедию одного человека до масштабов трагедии целого поколения обманутых людей.

Обращение В. Быкова к исповеди, так же как и у его предшественников, объясняется тяжелыми жизненными обстоятельствами. Свою исповедь писатель задумывал, когда уже был тяжело болен и осознавал, что его жизненный путь подходит к концу. Это было последнее произведение, вышедшее при жизни великого мастера, «книга-прощание», как сказал Д. Бугаев. На это указывает и задуманная самим В. Быковым обложка исповеди: «Он сам выбрал для нее черную одежду и был счастлив, что успел подержать в руках, подписать друзьям и близким людям...»

«Долгая дорога домой», несмотря на свойственную произведениям-исповедям сложность, писалась автором быстро. В начале 2002 года В. Быков, отвечая на вопрос о своей работе над воспоминаниями, говорил: «Я должен продолжить, насколько мне это будет дано. Я хочу написать. Может быть, не о всем веке, не о всей жизни, а хотя бы о собственном опыте в конце XX века». Судя по этому ответу, начало 2002 года — время активной работы над книгой. В словах писателя чувствует-

ся, что он еще не знает, куда приведет его первоначальный замысел, на каком этапе жизненного пути остановится исповедь. А уже 19 марта 2002 года окончательный вариант произведения был готов.

Такую относительную легкость в написании книги можно объяснить тем, что В. Быкову не пришлось создавать ее исключительно по памяти. Огромную помощь при работе над «Долгой дорогой домой» автору оказала запись его беседы с А. Адамовичем (февраль 1985 года). Можно утверждать, что данное произведение построено по образцу этой беседы, а вопросы А. Адамовича, заданные в ходе беседы с В. Быковым, предопределили композицию исповеди. Большую часть своих ответов В. Быков переносит в книгу в таком же виде (с незначительной стилистической обработкой), в каком они рождались в процессе непосредственного общения со своим другом-корреспондентом. Сравним, как подан один и тот же жизненный материал в беседе В. Быкова с А. Адамовичем и в «Долгой дороге домой»:

«Адамович: Когда ты впервые себя помнишь? С какой минуты? Быков: Я себя помню, видимо, поздно, может, лет с пяти. Оба мои самые первые впечатления о мире связаны с озером…»	«Начал себя помнить, может, лет с пяти. Первые мои впечатления от окружающего мира, однако, связаны с озером».
«Адамович: А может, о семье расскажешь? Быков: Отец был довольно строгий, и вообще его побаивались все дома. Мать же, напротив, была очень мягкая, очень такая жалостливая, и я никогда от нее не слышал даже громкого слова. Просто она была всегда нежной, ласковой к детям, и ко мне тоже. И я считаю, что это очень плохо».	«Отец был довольно строгий к нам, детям, в общем, мы его побаивались. Мать же, наоборот, — очень мягкая и жалостливая, я никогда не слышал от нее громкого слова — все с лаской и добротой, и я считаю, что это плохо».

В данном случае неверным было бы предположение, что автор в силу своего преклонного возраста и болезни решил пойти по пути наименьшего сопротивления и таким образом ускорить работу над книгой. Перед нами еще одно подтверждение величия таланта В. Быкова, который не мог не понимать, что для исповеди очень важно сохранить ощущение искренности беседы автора с собеседником. В связи с этим писатель подвергает свои ответы в беседе с А. Адамовичем в «Долгой дороге домой» минимальным изменениям. При этом В. Быков стремится остаться понятым читателями, поэтому вносит дополнения и поправки только в те места, в которых мысль автора не выражена предельно ясно.

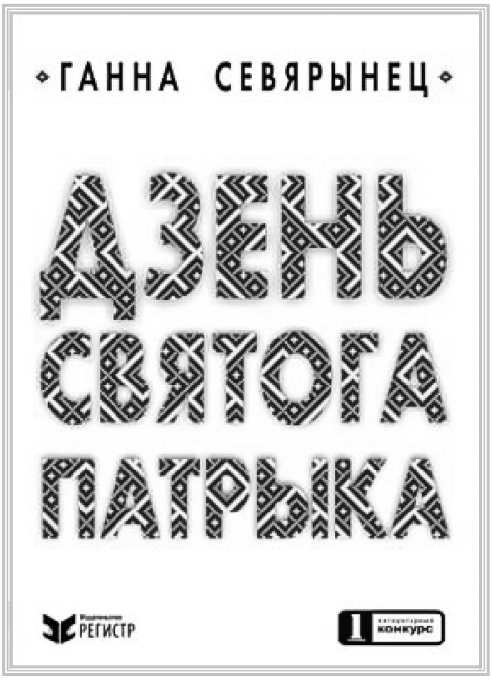
Перед лицом смерти автор раскрывает все тайны своей души. В своей книге он признается в том, о чем раньше, боясь или цензуры, или недоброжелателей, никогда не говорил, о чем умолчал даже в беседе с А. Адамовичем. Так, в частности, В. Быков совершает немыслимые для советского воина признания. Во время Великой Отечественной войны автору, командиру взвода, необходимо было послать одного из солдат на верную смерть — кому-то надо было обрезать куст, мешавший вести прицельный огонь по вражеским танкам. Спустя более чем полвека по прошествии тех событий В. Быков впервые признается в том, чем он руководствовался, когда совершал этот непростой выбор: «Это, может, до сих пор на моей совести, но я послал того, с кем у меня недавно случился конфликт, неприятная стычка, когда я хотел даже пристрелить его».

Своей безграничной искренностью обжигает и другое признание автора. В начале войны В. Быков, отстав от своей колонны и оставшись без документов, был задержан патрулем и приговорен к расстрелу за дезертирство. Красноармеец, которому было поручено выполнить приказ, пожалел юношу и отпустил его. «О своих драматических приключениях в Белгороде долго никому не рассказывал, о документах после писал, что потеряны во время войны. Без определенных подробностей».

В последние годы, несмотря на подчеркнутый интерес к исповеди в литературе, сама возможность существования искреннего слова писателя неоднократно ставилась под сомнение. Итоговое критическое резюме по данному вопросу сформулировал один из ведущих исследователей исповеди как общекультурного феномена М. Уваров: «В последние годы исповедальное слово скорее становится расхожей монетой в руках ловких “просветителей”, чем искренним жестом раскаявшейся души. Исповедоваться стало модно и престижно. И ничего, что за лживым раскаянием и внешней атрибутикой воцерковления все чаще скрывается пустота сердца и ловкий обман, а слово исповеди перелагается на нарциссический лад». Однако появление произведений, по силе своей искренности подобных «Долгой дороге домой» В. Быкова, свидетельствует о том, что исповедь остается продуктивной литературной единицей, которая еще далеко не исчерпала своих внутренних ресурсов. Особую популярность при этом сохраняет итоговая исповедь. В начале XXI века к ней активно продолжают обращаться литераторы, на пороге смерти подводящие итоги своей жизни. Так, например, в 2008 году в журнале «Знамя» завершилась публикация исповеди Р. Киреева под названием «Пятьдесят лет в раю», которую (с определенной долей условности) можно рассматривать в одном типологическом ряду с произведениями предшественников. Ее основное содержание предваряет следующее авторское признание: «Писались другие книги, и вот теперь пришел черед последней. Успеть бы только… Не скомкать…» В этом же году в «Литературной газете» были опубликованы отрывки из итоговой исповеди актера М. Кононова, имеющей выразительное название — «Прости, жизнь, и прощай»: «Для меня это повествование — попытка непредвзято разобраться, искренне и честно, в своей собственной душе. Пусть кто-то сочтет мои мысли своего рода покаянием — или признанием в уважении к мужественным и талантливым людям, с которыми свели меня жизнь и работа в театре, кинематографе, в сельском быту».

С точки зрения рецензента

Белорусское Зазеркалье



Подайте зеркало,
Я в нем хочу прочесть…
У. Шекспир, «Ричард II»

Заглянув в зеркало текста,
Можно познать нечто
помимо самих себя.
К. Дж. Ванхузер,
«Искусство понимания текста»

Известный французский философ, социолог, этнолог и культуролог Клод Леви-Стросс в свое время высказал предположение о том, что XXI век будет веком гуманитарной мысли или его вообще не будет. Как мы видим, современность отдает предпочтение физикам, а не лирикам, вследствие чего XXI век с самого начала своего существования постоянно находится под угрозой небытия, пусть не глобального — на уровне мироздания, но локального — в так называемых горячих точках земного шара, в зонах природных катаклизмов, там, где материальное главенствует над духовным, где процветают псевдокультура, псевдонаука, псевдомораль, псевдоценности и т. д. Беларусь, к сожалению, находится в подчинении у всевозможных псевдо, принимая их, к своему стыду и на свою беду, за благодетелей. О том, в чем именно заключаются стыд и беда, рассказала Анна Северинец в антиутопическом и вместе с тем реалистическом романе «День Святого Патрика» (Ганна Севярынец, раман «Дзень Святога Патрыка», Мінск: Регистр, 2017).

Главная героиня произведения Марина Домейко, белорусский филолог и эксперт Комиссии Международной Лингвистической Коллегии, является «палачом» и «консерватором» многострадального белорусского языка. Проведенные экспертом Домейко исследования и заключительный доклад убедили Комиссию признать белорусский язык мертвым: *«…мова выйшла з ужытку — мова павінна памерці. Газет няма, часопісаў няма, справаводства няма, адукацыі няма, апошняя кніжка была надрукавана дваццаць два гады таму і не прадалася зусім …Апошняя кніжка, пасля якой мова памерла.*

Зараз, безумоўна, пачнецца самае цікавае — для яе, для Марыны. Мову трэба будзе кансерваваць. Падручні-

кі, нарматыўныя зборнікі, літаратуру, публіцыстыку, кіназапісы спектакляў, нейкія асобныя дакументальныя стужкі — усё, што назапашана і не запатрабавана сучаснасцю, перагледзець, ацаніць, выбраць і самае каштоўнае захаваць. ...нарэшце тое, што яна любіла, будзе такім і толькі такім, якім яна яго бачыць. Спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн».

Таким образом, судьба языка и литературы белорусской нации оказывается в одних руках и зависит от одного субъективного мнения. Очень интересно проследить за тем, произведения каких писателей выбирает Марина Домейко для сохранения «на веки вечные», ведь это прежде всего авторский выбор — Анна Северинец не только «позволяет» своей героине судить о значимости и роли в истории белорусской литературы тех или иных произведений и их создателей, но и дополняет роман собственными эмоциональными и притом профессиональными литературоведческими рассуждениями от первого лица.

В целом получается так: героиня «консервирует», выбирая на свой вкус определенные книги; автор «оживляет», рассказывая о Максиме Богдановиче, Владимире Дубовко, Янке Купале, Адаме Бабареко, Владимире Хадыко, Кондрате Крапиве и других классиках настолько интересно, что история белорусской литературы, представленная в лицах, получает во многом интригующий и противоречивый, неоднозначный, трагический и величественный — необыкновенно притягательный характер. Героиня романа спокойно вспоминает о своих впечатлениях, рассуждая как прагматичный ученый, автор же «пропускает через себя», переживает и проживает не одну драму вместе с теми, о ком идет речь. *«Карацей кажучы, напэўна, я ўсё ж такі не зусім здаровая па медыцынскіх мерках,* — иронично замечает по этому поводу Анна. — *У наяўнасці — праблемы з успрыняццем рэчаіснасці і прасторава-часавая шызафрэнія.*

Але ад таго, што я паставіла сабе дыягназ, мне не лепш. Бо яна не адступае, гэтая ці то тэле-, ці то эмпатыя. Ні пры якіх абставінах.

Я, напрыклад, сапраўды адчуваю, як пахне ў той камеры ў Бутырцы, дзе мае хлопцы сустрэліся — Дубоўка з Бабарэкам».

Кстати, Анна Северинец четко и однозначно обозначила себя именно как автора, а не писателя: *«Я — аўтар.*

Так, аўтар. Крый божа, не пісьменнік (о, гэтая сакральная для філолага прафесія! Для іншых лагічна: калі пішаш — пісьменнік, але для нас — не. Дастаеўскі — пісьменнік, Караткевіч — пісьменнік, а я хто?). Але ж аўтар».

Согласно утверждению выдающегося специалиста по толкованию художественных текстов Кевина Дж. Ванхузера, «автор — основа «бытия» смысла». Исходя из этого постулата, можно с высокой долей вероятности предположить, что героиня А. Северинец не случайно носит фамилию Домейко: историческая личность Игнат Домейко (1802—1889) — один из самых известных в мире белорусов, ученый, участник белорусского освободительного движения, друг белорусских поэтов и общественных деятелей Адама Мицкевича, Яна Чечота, Томаша Зана, а также национальный герой Чили.

История Марины Домейко, конечно, не столь славная, как у ее однофамильца, но показательная в плане становления национального самосознания. Показательная для нас, современных белорусов, ибо точно отражает реальность, которую многие старательно приукрашивают и лакируют, выдавая желаемое за действительное. Суть в следующем: *«Для яе мова не была роднай — яна наогул мала для каго была сапраўды роднай. Сказаць па праўдзе, Марыне нават цяжка было ўявіць сабе тых беларусаў XXI стагоддзя, ля калыскі якіх маці вырашала звычайныя паўсядзённыя пытанні па-беларуску. Існавалі, канешне, нейкія інтэлектуальныя беларускамоўныя сем'і, купкі, гурткі — ну дык і лаціна колькі яшчэ жыла, нягледзячы на тое, што памерла.*

*...А што яны шукалі ў мове? Парознаму, канешне. У асноўным да мовы

прыходзілі з нейкіх інтэлектуальных, палітычных, кар'ерных ці сямейных меркаванняў, маўляў, мой дзядзька — вядомы беларускі пісьменнік... Ці як яна». А она, Марина, пришла к так называемой белорусскости через личные — любовные, интимные отношения с, как ни парадоксально, русским по происхождению и белорусским по призванию националистом Богданом Семеновым: *«Ёй і самой хацелася з ім размаўляць на той самай мове, якая раптам стала мовай кахання і неспатольнай жарсці».* Да, роман «День Святого Патрика» не только о любви к родине и «родному» языку, но и о любви к мужчине. Однако о love story Домейко и Семенова скажу немного позже — сейчас честно показанные белорусское национальное самосознание и современная ситуация с белорусским языком и литературой требуют безраздельного внимания.

Общую картину формирования национального самосознания дополняют авторский опыт и метаморфозы националистической позиции Богдана Семенова. Путь Анны Северинец к белорусскости начался с прозы Владимира Короткевича, затем Янки Брыля, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Ивана Мележа, Янки Мавра, с поэзии Пимена Панченко, песен Данчика и поэзии Максима Богдановича — именно в таком порядке. В Богдановича Анна влюбилась и «передала» это состояние своей героине Марине. Вместе с литературой к А. Северинец начали «приходить» язык и понимание следующего: *«Мова — як назапашаны тваімі продкамі скарб ведаў аб жыцці. Мова — як стос пытанняў да сябе і да сусвету. Мова — як сістэма сігналаў і рэакцый на знешнія абставіны. ...Так, нашай мове дадзена вялікае шчасце: да яе трэба ісці, праз цяжкасці і складанасці, праз раманы з іншымі мовамі, праз дзяржаўную забарону і ўласную ляноту, да яе трэба ісці, як ідзе да сваёй веры апантаны вернік, яе трэба здабываць, як здабывае доўгачаканае золата аляскінскі авантурыст. Наша мова — не для кожнага матчына, падараваная разам з жыццём, яна бывае і бацькавай, бывае ўзнагародай за пошукі і за паразуменне».* Это глубокое понимание значимости белорусского языка и национальной культуры для каждого белоруса вызывает у Анны Северинец неприятие внешней атрибутики без внутренней осознанной привязанности, как модные нынче вышиванки: *«...любая мода заўсёды праходзіць,* — объясняет автор с помощью своей героини, — *...і будаваць культуру на модзе — неабачліва. ...Гэтая шумная папсовая беларушчына нават крыўдзіла яе: мова і літаратура Дамейкі пакутліва нараджалася ў тоўстых сшытках цытат і назіранняў, у бясконцых архіўных гадзінах, а тут — гэй, гэй! — нейкія неафіты ў святочных уборах з «Пагоняй» пад пашкаю і з «Малітваю» на рынгтоне. ...Бо на баку моды не было людзей сур'ёзных, а на баку людзей сур'ёзных не было моды».*

И, наконец, Богдан Семенов. Именно этот образ «пламенного революционера» показывает, как мне представляется, чего на самом деле стоит белорусский национализм, в действительности не основанный на любви к тому, что пропагандируется. Начинал Богдан националистическую деятельность с яростного отвержения родного ему русского языка и фанатичной пропаганды белорусского. Продолжал как яркий представитель «вышиваночного возрождения», не гнушаясь торговлей вышимаек, и *«змагаўся проста так, дзеля змагання».* Закончил как бизнесмен, бессовестно торгующий тем, что для националиста должно было быть святыней, — национальной культурой. Именно Богдан Семенов стал создателем санатория для депрессивных белорусов, в качестве терапевтического средства которым заставлял Марину выписывать произведения белорусской классики: *«Мы гэтыя кніжкі ў санаторыі па платных рэцэптах адпускаць будзем. Пабачыш, як пойдзе. Яшчэ кошт як заломім — тваім класікам і сучаснікам і не снілася. Дарагія лекі — гэта ж любімы радок у бюджэтах нашага народу».*

Метаморфозы своего национализма герой объяснил следующим образом: *«Калісьці я думаў, Мара, што шчасце запануе на свеце, калі мы ўсе разам пачнём размаўляць на мове і чытаць літаратуру. На нашай мове і нашу літаратуру. Гэта нас аб'яднае, і мы разам паляцім да зор. ...Потым я зразумеў, што мова і літаратура насамрэч нікога не аб'ядноўваюць. А калі аб'ядноўваюць, то не да канца і не тых. Потым аказалася, што і я не хачу аб'ядноўвацца ні з Васем з аўтаваза, ні з Кейстутам з Гародні. Бо ў нас усё такое рознае. Калі мовай валодаюць адзінкі, ты яшчэ можаш знайсці паразуменне. Калі сотні — можаш наладзіць дыялог. А калі сто адзін — усё, капец. Што яднае нас, няўжо мова? Калі нас будзе шмат, сярод нас усё адно будуць дурні і інтэлектуалы, забойцы і героі, бо чалавек існуе чалавекам незалежна ад мовы, на якой размаўляе. У нас нават гісторыі няма агульнай, бо кожны ведае толькі тое, што ведае. Сваю ўласную казку. Не. Я не хачу чужых казак»*. В этих словах нет любви, которой как бы изнутри подсвечиваются рассуждения автора о национальной литературе и языке. Любовь к национальным ценностям рождает неизменную глубину чувства, именуемую патриотизмом, а приверженность внешней атрибутике, свойственная националистам вроде Семенова, неизбежно ведет к разочарованию и предательству.

При всем том стоит обратить внимание, произведения каких белорусских писателей, согласно мнению Марины Домейко, а значит Анны Северинец, обладают благотворным терапевтическим эффектом. Так, людям в состоянии депрессии, находящимся на грани срыва, выписывались книги Михася Стрельцова и Владимира Короткевича. Женщине, которую пять раз бросали любовники, предлагались стихи Евгении Янищиц и Ларисы Гениюш, парню, который только-только «завязал», и «пожилым чайлдфри» — стихи Анатоля Сыса и Рыгора Бородулина, в качестве релакса для ветерана боев за Донецк — произведения Василя Быкова и Михаила Пташникова. Со временем всем, независимо от диагноза, стала выписываться проза Янки Брыля, так как выяснилось, что он «творит чудеса»: «*...згодна статыстыцы, менавіта тыя, каму Марына выпісвала «Гуртавое», «Ліпу і клёнік», «Птушкі і гнёзды», і асабліва — «Ніжнія Байдуны», пакідалі найлепшыя водгукі і дэманстравалі найвышэйшыя вынікі»*. Сама Марина лечилась с помощью книг Владимира Дубовки, считая его самым ярким примером принятия себя таким, какой есть, — со всеми своими чувствами, мыслями, реакциями, знаниями и опытом, примером безусловного принятия своей судьбы и настоящей любви к себе.

Позволю себе высказать субъективное мнение об этом субъективном разделении: мне очень нравится сама идея лечения психологических проблем с помошью литературы, и я полностью согласна с назначениями — на мой взгляд, «лекарства» подобраны отлично. А еще замечательно, что у каждого читателя есть возможность поразмышлять над тем, что назначил бы он в том или ином случае, и что подошло бы ему лично в определенных жизненных ситуациях. Замечательно потому, что способствует лучшему пониманию белорусской литературы, уважительному отношению к ней и лучше, чем националистические призывы и «вышиваночное возрождение», способствует любви к своей родной культуре, основу которой составляют язык и литература. Возвращаясь в контекст романа, стоит пожалеть, что эта терапия не проводилась Богданом Семеновым совершенно бескорыстно, *«але так склалася жыццё з таго самага Дня Святога Патрыка, што ўсе справы, якія павінны былі б рабіць людзі накшталт Сямёнава, рабілі людзі накшталт Дамейкі»*.

Марина Домейко с однокурсниками ежегодно отмечала ирландский праздник День Святого Патрика после того, как они случайно попали на своеобразный концерт, организованный минскими школьниками при поддержке английского посольства. После

окончания университета этот день Марина отмечала вместе с Богданом Семеновым. Их совместных Дня Святого Патрика было два, последний из которых и есть «тот самый», в который Богдан от нее ушел, казалось, навсегда.

Разрыв в отношениях Марины и Богдана был неизбежен ввиду двух основных причин: они очень разные по своему ментальному складу, по отношению к жизни и к той самой белорусскости, которая их объединила на некоторое время; Богдан вел себя хуже некуда — несколько дней в неделю не ночевал дома (молодые люди жили вместе в Марининой квартире), устраивал скандалы по три раза на неделе, пьянствовал, обманывал, а потом клялся в любви и обещал исправиться, исправлялся на один день и затем снова начинал куролесить. Марина тем временем с головой ушла в науку и к роковому Дню Святого Патрика стала *«той самай надзейна зачыненай ад знешняга свету, непахіснай і ўраўнаважанай Дамейкай, якая праз дваццаць год будзе сядзець у шыкоўным офісе на беразе акіяна і цвёрдым голасам канстатаваць: «Яна памерла»»*.

После праздничного концерта Марина стала рассуждать о мировой известности и популярности ирландской культуры при том, что ирландцы теряют свой национальный язык, вытесняемый английским, но не теряют культуру в целом. Совершенно справедливо девушка отметила, что белорусы больше увлекаются ирландской, а не своей культурой, лучше знают Святого Патрика, чем Евфросинию Полоцкую. *«Дзе ў нас Дзень Святой Ефрасінні? Хіба што ў святцах. Дзе ірландскія дзеці, якія ў яе гонар танчаць у якіх-небудзь іншых сталіцах? Ці нават у нашай сталіцы? Дык, мо, справа не ў мове?»* — спросила Марина и получила раздраженный ответ националиста и активного пропагандиста белорусской культуры Богдана: *«Слухай, ну што ты так спрашчаеш. Ну, бывае, што на мове не размаўляюць — па розных прычынах, але ж нацыя існуе толькі калі мова ёсць. Няхай сабе ў карыстанні элітай — ну дык а хто культуру робіць? Эліта ж. Астатняе быдла і так, і гэтак — гумус для эліты»,* — вот это национальное самосознание, уважение к представителям нации! Не ему ли, националисту Семенову, следовало сокрушаться из-за отсутствия у белорусов Дня Святой Евфросинии? На самом деле Марина делала то, что должен был делать Богдан. Не это ли его раздражало?.. После разговора он ушел, а вернулся через двадцать лет чтобы втереться к Марине в доверие, войти в состав Комиссии Международной Лингвистической Коллегии, организовать на ее базе санаторий для депрессивных белорусов и зарабатывать на мертвой белорусской литературе огромные деньги. Но это длилось недолго.

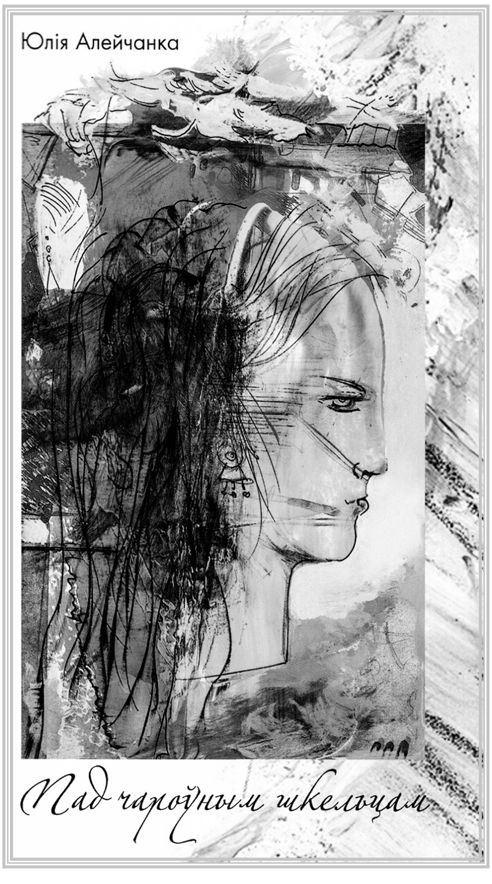
Они погибли вместе: Марина Домейко, Богдан Семенов, законсервированная неживая белорусская литература и законсервированный неживой белорусский язык. В башне, где размещалась Коллегия, начался пожар. Увидев его с улицы, Марина бросилась спасать главную ценность — книги, Богдан побежал за ней, в этот момент охваченное пламенем здание рухнуло…

«Жыццё працягваецца. Смерці няма», — этими словами начинается и завершается роман «День Святого Патрика». Так оно и есть: жизнь продолжается и смерти нет, она — другая форма существования вечных человеческих душ и мертвых человеческих языков, вроде латинского. Но пока существует жизнь человеческая и продолжается жизнь Богом данного национального языка, нужно не допустить, чтобы антиутопия стала реальностью, а это, судя по увиденному в зеркале текста, вполне может произойти.

Наталья ЯКОВЕНКО

С точки зрения рецензента

Дни весны родниковой



Однако о весне несколько позже. Тем паче, что, когда пишутся эти строки, на дворе осень. Чудная, прекрасная, такая, которую обычно называют левитановской, сравнивая с той, которая отображена на полотнах замечательного художника. Ею — как той, которую запечатлел Левитан, так и этой, настоящей, — нельзя не любоваться. Поэтому, как, пожалуй, и многие, при первой возможности брожу по парку или прогуливаюсь за городом. Там, где почти вплотную к домам подступают березовые рощи или хвойные леса, в которых эти белостволые красавицы стоят одиноко, сбрасывая с себя последние листья. Но садясь за письменный стол, как-то сразу остаюсь наедине с… зимой.

Такое неожиданное смещение пор года со мной (и во мне) происходит не случайно. Не один месяц уже нахожусь под впечатлением книги Юлии Алейченко «Пад чароўным шкельцам», жизнь которой дал Издательский дом «Звязда». В ней же мне особенно понравилось стихотворение «*** Хтосьці з неба вырашыў паслаць…». Настолько впечатлило, что не просто с удовольствием несколько раз перечитывал его. В сознании как бы сдвинулись временные рамки, и душа начала жить зимой, при этом, что особенно удивительно, будто наполнилась ветром, снегом, морозом. Да и, что странно, они воспринимаются так, что становится не холодно, а, наоборот, как-то тепло, уютно. Несмотря на то, что стихотворение «наполнено» тем же ветром, снегом, морозом.

Хотя чего слишком удивляться: написано талантливо. Поэтесса (в данном случае поэтесса, ибо Ю. Алейченко ко всему еще и прозаик, критик, переводчик, исследователь творчества Янки Купалы) удивительно тонко почувствовала (и прочувствовала!) особенности этой поры года. Не просто передала ее красоту, первозданную неповторимость, а словно живописными мазка-

ми, штрих за штрихом, создала яркие образы.

Кстати, этому объяснение не только в таланте поэтессы. Ю. Алейченко увлечена живописью, музыкой, мифологией. Если же человек чем-то увлечен, то это обязательно проявится. В данном случае в этом стихотворении. Хотя, если уж быть точным, это не просто стихотворение, а как бы небольшая живописная картина, созданная посредством поэтических образов. Вчитайтесь внимательно, и вы сразу почувствуете всю красоту белорусской зимы. Хотя о ней писали, пишут и, несомненно, еще будут писать многие поэты, но все равно вряд ли удастся им сказать так, как это сделала Ю. Алейченко:

Хтосьці з неба вырашыў паслаць
Дзіўны дар у голыя абшары…
Вольны вецер пачынае раздзімаць
Бель снягоў з вялікай шчодрай хмары.

Чыстай коўдраю ахутвае зямлю,
Гоіць раны на сусветным хворым целе.
Ціхай музыкай нам дараць… цеплыню
Нечаканыя марозныя мяцелі.

Продолжением этого праздника (да, праздника, а как же еще иначе можно назвать это обновление природы) звучит пожелание тем, кто еще не успел почувствовать всю его неповторимость, приобщиться к нему. Вобрать в себя всю прелесть того, радость от чего послана свыше. А вместе с этим самим стать лучше, добрее, избавившись от всего второстепенного, наносного, несовместимого с истинной человечностью:

Падстаўляйце сэрцы пад снягі,
Дайце душам піць святую сілу.
Снег ляціць на рэчак берагі.
На дзяцей, на даўнія магілы.

Снег ляжыць на ганку, на шашы,
Выпадае зноў і зноў вякамі.
Вы ніколі гэту бель душы
Не кранайце бруднымі рукамі…

Если бы сегодня готовилось новое издание «Анталогіі беларускай паэзіі», я бы, будь на то моя воля, представляя Ю. Алейченко, обязательно включил в него и это стихотворение. Да и нашел для «Анталогіі…» еще несколько. Сделать это не так и трудно: в книге «Пад чароўным шкельцам» немало произведений, заслуживающих самого пристального внимания. Несмотря на то, что поэтесса еще совсем юна (как там, в известном фильме: комсомолка, красавица?), да и печатается не так часто. Но это тот случай, когда мал золотник, да дорог. В том смысле, что как нельзя лучше подтверждается правильность мысли: важно не количество, а качество.

Стихи, вошедшие в книгу, — разнообразные по своей форме. Насчет этого в аннотации сказано: «На старонках зборніка знойдзецца як традыцыйная сілаба-тоніка, так і верлібры, як спавядальная, інтымная лірыка, так і філасофскія, постмадэрновыя творчыя пошукі». Хотя, по большому счету, не так и существенно это. Важно, есть ли в произведениях настоящая поэзия, насколько оригинально пишет автор. Форма же стиха — это все же второстепенное. В связи с этим позволю себе такое сравнение: слова «воздух», «вода», «любовь», «ненависть» и прочие, встречающиеся часто, на разных языках звучат по-разному. Но суть-то, заложенная в них, одна. Так и в поэзии.

Поэзия же Ю. Алейченко — это свой, притом объемный, мир, а поскольку лирическая героиня, как и сама поэтесса, молода, то в нем большое место занимает любовь. Она и часть ее сегодняшней жизни, но она одновременно — и поиск своего счастья. В этом поиске есть место не только для радости, но и для печали. В нем присутствуют не одни обретения, но и утраты. Лирическая героиня, конечно, в чем-то сомневается. Но зачастую уверенно заявляет о своем праве на истинную любовь, которую способны не все принять и понять, однако иного, как говорится, не дано. Вместе с тем присутствует и стремление к взаимопониманию, несмотря на то, что оно дается непросто: «А я дрыжу кожны раз // Ад твайго дотыку // І баюся стаць

кнігай, // Дзе ты нічога не зможаш // Прачытаць».

Однако иногда лирической героине мало этого мира, тесно в нем. А там, где есть ощущение тесноты, появляется желание преодолеть эту пространственную замкнутость. Космос ее души жаждет космоса Вселенной. Ей хочется ощутить себя частицей, пусть себе и маленькой, бескрайнего пространства, вырваться за пределы земного бытия. Но не о расставаниях хочется думать. Влечет то, что просторы неизведанного станут своего рода эликсиром, который, взбудораживая, придаст новых сил, а с ним появится и еще большая уверенность в себе. Для этого достаточно только одного резкого движения на грани невозможного, и так резко все изменится:

Лячу з твайго падаконня
У яршыстую цемру лёсу.
У зорак сляпых сутонне,
Пад коўш месяцовага плёсу.

Руку працягнуць мне хочаш,
І мрэ ад роспачы крык.
Ды позна. У чэраве ночы
Мой след развітальны знік.

Реальное и ирреальное то сближаются, то смещаются, что приводит даже к усложнению поэтического образа. Однако это нисколько не усложняет восприятие того, что поэтесса хочет сказать и что она высказывает. Лирическая героиня словно растворяется в космическом пространстве. Это, однако, не мешает ей постепенно приближаться туда, куда она стремится:

Пад стогны каменных вежаў
Я чую свой першы крок,
Малітвы сэрцаў бязмежных,
Бы плача за ўсіх прарок.

Сцябаюць зыркія промні,
Стыгматы душы пякуць!
Мне б трапіць ў твае далоні,
Ды зоры лятуць, лятуць…

Состояние непростое. Вечность уже как бы взяла лирическую героиню в свои объятия, цепко держит в них, не выпуская даже на мгновение. В то же время и Земля не отпускает от себя. Да и то, что за время этого «полета» стало вчерашним, удерживает. Возникает даже сомнение: а все ли это так, как происходит? Ищется выход — поиск этот трудный, напряженный. Усилия вызывают осмысление и переосмысление. Но кто ищет, тот… Правильно: обязательно находит ответ, как быть. Ответ этот неожиданный, но способствует еще лучшему пониманию лирической героини, постижению всей ее сути:

Дык мо застацца ў мінулым дні?
Няхай свецяць учорашнія зоры.
Няхай пярына будзе ласкавай.
А я — шчаслівай за межамі часу.

Книга «Пад чароўным шкельцам» позволяет познакомиться и с некоторыми переводами Ю. Алейченко. Кстати, сегодня среди молодых авторов Беларуси, пожалуй, никто так плодотворно (имеется в виду прежде всего качество) не работает в этом виде изящной словесности, как она. Да и широк круг тех, кому помогает «заговорить по-белорусски». Это видно и по разделу «Пераклады». Представлены эквадорец Хорхе Каррера Андраде, непалец Мадхаф Просад Гхимере, удмурт Сергей Матвеев, туркмен Агагельды Аланазаров, и конечно же, китайцы Ли Хэ и Ван Гочжэнь.

Неслучайно я сделал уточнение «и конечно», ибо поэты этой великой страны — особое пристрастие Ю. Алейченко. Она переводит их много и на высоком художественном уровне. Это видно и по сборникам серии «Светлые знаки: поэты Китая». В ней многие произведения переосмыслены ею. Не в меньшей степени своеобразие таланта Ю. Алейченко-переводчика позволяют ощутить и стихи, вошедшие в книгу «Пад чароўным шкельцам». В ней, правда, помещены стихи только двух китайских авторов, но их достаточно, чтобы почувствовать сам дух поэзии этого великого народа.

Произошло это благодаря тому, что Ю. Алейченко хорошо ощущает своеобразие таланта каждого автора. Смотрит на окружающий мир в

данном случае именно его глазами. Поскольку переводы сделаны не с оригинала, этого достигнуть было непросто. Конечно, сказались большая начитанность, эрудированность, глубокое знание китайской поэзии. Безусловно, хорошую услугу оказал и поэтический талант переводчицы. Он же у одаренного автора одинаково чувствуется, как в его оригинальных стихах, так и в творчески переосмысленных им.

Читая, скажем, стихотворение Ли Хэ «Песня аб невычэрпнасці часу», забываешь, что перед тобой же вовсе не оригинал. Конечно, это прежде всего авторство Ли Хэ, но в такой же степени автор и Ю. Алейченко, сумевшая постичь саму суть, дух его поэзии. Да и не только постичь. Она добилась и не менее, а возможно, в чем-то и более важного: прониклась самой эпохой, к которой в этом стихотворении обратился Ли Хэ. Зримо видишь, как «Да Заходняй гары дзень за днём // Апускаецца белае сонца. // У палацы бязмежных нябёс // Падымаецца месяц бясконца». Осязаемо чувствуешь давние-давние столетия. Они «проникают» в тебя самого: «І сівой даўніны доўгі шлях // Адбіваецца болем у скронях. // Сотні год — як раса ў траве, // Як пясчынка ў ветра далонях». И сразу же возвращение в день сегодяшний, понимание, что ход столетий никому не остановить:

> …Там, дзе мост бессмяротнасці
> Цсінь, —
> Зараз толькі луска на вадзе.
> Медны слуп памірае ў вяках…
> Час не спыніцца ў шпаркай хадзе…

Медный столп — это статуя, которая была установлена по приказу ханьского императора Уди для достижения долголетия. Издали она смотрелась как медный столп. Однако все в этом мире тленно. Как человек не может обеспечить себе физического долголетия, так и созданное им не выдерживает испытания временем.

Совсем иные ассоциации вызывает «Восеньскі пейзаж у азярцы» Ван Гочжэня. Благодаря этому стихотворению также ощущаешь одну из особенностей китайской поэзии. Но если Ли Хэ склонен к углубленно философскому проникновению в суть жизненных явлений, то чувства лирического героя Ван Гочжэня, его видение мира раскрываются через созерцание неповторимых пейзажей. Сознательно не уточняю, что китайских. Однако не только потому, что и так понятно, каких. Есть на это и иная причина. Китайские пейзажи одновременно стали и пейзажами белорусскими, а это уже заслуга переводчика:

> Азярцо ў восеньскім пейзажы,
> Восеньскі пейзаж — у азярцы.
> Бераг штось пяшчотнае зноў кажа,
> Лісце — быццам медзь у гаманцы.

Очень к месту употребление ныне редкого слова «гаманец», означающего «кашалёк». В другом варианте оно звучит как «гаман». Белорусский языковед Иван Белькевич объяснил смысл этого слова как «торбачка, машна для грошай». Сравнение листьев с «меддзю ў гаманцы» — очень оригинальное. Оно, не в последнюю очередь, и позволило Ю. Алейченко придать стихотворению Ван Гочжэня белорусский колорит. Это — свидетельство того, насколько талантливый переводчик способен сближать не только земные, но и языковые пространства. Да и в дальнейшем видится то, что делает это произведение настолько близким, что забываешь о том, что оно написано по-китайски. И это при том, что Ю. Алейченко близка к оригиналу, но слепо его не придерживается. Проще говоря, не только переводит Ван Гочжэня, но и образно переосмысливает его:

> Вецер пралятае ў ціхім танцы,
> Вечарам сыходзіць спакваля.
> З тонкаю вярбою мне страчацца,
> Слухаць, як кладзецца спаць зямля.
>
> Азярцо як быццам усё сказала,
> Толькі пра галоўнае змаўчала…

Завершение стихотворения, как видно, дает большие возможности для того, чтобы, вникая в смысл ска-

занного, о многом задуматься. О чем, это уже будет зависеть от каждого. В одном нельзя сомневаться: такие раздумья станут плодотворными. А ведь одно из важных качеств настоящей поэзии — это вызывать сопереживание. Таким свойством отличаются как авторские произведения Ю. Алейченко, так и переводные. В последнем случае этому способствует не только качество перевоплощения, но и требовательный подход к тому, что берется для перевода. Это видно и по стихотворениям вышеназванных поэтов, чьи стихи помещены в книге. Среди них Ю. Алейченко наиболее удался перевод стихотворений эквадорца Хорхе Каррера Андраде, на что, кстати, обратил внимание в статье «Матылёк пад чароўным шкельцам», посвященной творчеству Ю. Алейченко, Алесь Мартинович («Маладосць», 2017, № 8).

Алесь Карлюкевич в предисловии к книге «Пад чароўным шкельцам» «Сонца, свята ахвяруй!», говоря о творческих обретениях Ю. Алейченко, замечает: «Сумленне, праўда і мужнасць перажыванняў вылучаюць святло шчырасці і праўды, без якіх вялікай паэзіі проста не можа быць. А як мне падаецца, то Юлія Алейчанка знаходзіцца ў дарозе якраз да вялікай паэзіі». Сама поэтесса в стихотворении «ˣˣˣ Я гляджу ў пустыя вачніцы цемры», того не желая, подтверждает это:

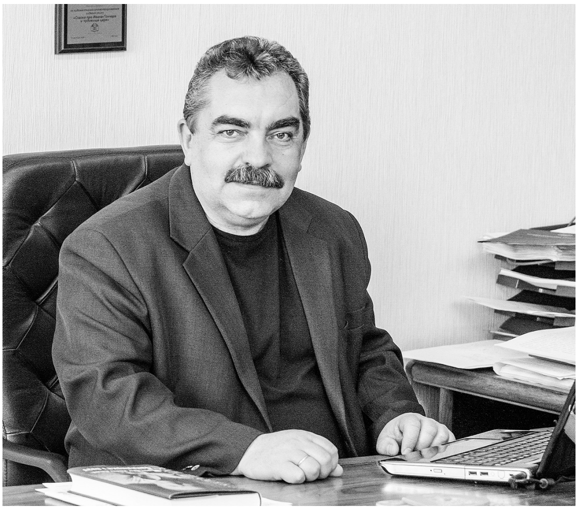
Не баюся пытацца, шукаць, губляцца,
Бо бруяць вясной маіх дзён крыніцы.
Покуль таххае сэрца ў шалёным
танцы,
Покуль цемра не гляне ў мае вачніцы.

«Не баяцца пытацца, шукаць, губляцца» — значит, одновременно находиться и в постоянном поиске. А в том, что он даст желаемый результат, приведет к большой поэзии, сомневаться не приходится. Дни весны родниковой тем и замечательны, что знаменуют собой и иные обретения. За весной в литературе, как и в жизни, наступает лето, а это еще далеко до осени. Когда же она придет, то урожай будет весомый, благо семена в благодатную почву положены хорошие.

Артем КОВАЛЬСКИЙ

Книгосфера

Художественная литература — поиск выживания



Интернет и традиционные журналы только дополняют друг друга...

В Беларуси, да и не только в Беларуси, хорошо знают прозаика, поэта, литературного критика Алеся БАДАКА. К тому же, еще и директора издательства “Мастацкая літаратура”. С книгоиздательских дел и начался наш разговор.

— Алесь Николаевич, можно ли по новинкам «Мастацкай» судить о развитии современной белорусской литературы?

— Надеюсь, что да. Другое дело, что сегодня, думаю, ни одно издательство не ставит перед собой цель в полном объеме отражать литературный процесс, как это было, например, в советское время, когда в Беларуси «Мастацкая літаратура» была единственным издательством, специализирующемся на выпуске, в первую очередь, художественной литературы. Но в союзном масштабе, когда мы говорим о совершенно других книжных объемах, где книжный рынок, понятно, был несравнимо богаче и разнообразнее, и тогда в издательском мире существовало «разделение труда»: «Худлит» больше выпускала классику, собрания сочинений, около 40 % книг «Советского писателя» составляла переводная литература с языков народов СССР, «Современник» в основном издавал новые произведения российских авторов. Сегодня в Беларуси сотни субъектов хозяйствования имеют право на издательскую деятельность, десятки из них занимают значительную нишу на книжном рынке страны. Естественно, их интересы нередко пересекаются и в плане выпуска художественной литературы. Поэтому одни авторы чаще появляются в одном издательстве, другие в другом. Это совершенно нормальная ситуация, поскольку существует реальная конкуренция.

Но вы совершенно правильно задали вопрос, поскольку «Мастацкая літаратура» дорожит своими традициями и стремится к тому, чтобы отражать весь спектр белорусской литературы — от классики до произведений современных авторов. Например, в 2017 году мы продолжили издавать 25-томное собрание

сочинений Владимира Короткевича, закончили — 10-томное собрание сочинений Ивана Науменко. Есть у нас и еще один очень важный, 50-томный проект, который охватывает тысячелетие существования белорусской литературы — от житий святых, Кирилла Туровского до современных классиков. Что же касается новинок, новых имен в литературе, то, конечно же, они занимают значительное место в издательском портфеле. Другое дело, что у нас всегда существовала и существует определенная планка, которая разделяет художественное произведение и чтиво.

— Какая из книг 2017 года, изданная в Вашем издательстве, пришлась Вам больше всего по душе?

— Однозначного ответа тут быть не может, ведь весь коллектив в издание каждой книги вкладывает частичку своей души. А вот больше всего впечатлила своей неожиданностью книга «Имеем наибольшее сами». Ее составили предисловия Франциска Скорины к изданным им книгам Библии, которые перевел на современный белорусский язык наш известный поэт, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Алесь Рязанов. Но это не просто предисловия. Это самая настоящая поэзия — образная, философская. Ведь раньше во всех белорусских поэтических антологиях Скорина был представлен одним стихотворением, которое, кстати, очень часто цитируют. Оно о том, что каждый человек должен любить землю, которая его взрастила. Так вот Алесь Рязанов показал, что у Скорины есть много других замечательных строк, которые имеют прямое отношение к художественной литературе.

— А вообще, что самое главное в белорусском книжном пространстве лично Вы заметили в 2017 году?

— Когда я общаюсь с библиотекарями, работниками книжных магазинов, учителями, школьниками, особенно младших классов, меня всегда интересует вопрос, насколько сегодня востребована детская литература. Ведь если сегодня дети читают или им, в силу их возраста, читают родители, то есть шанс, что спустя годы, когда они вырастут, не станут равнодушными к чтению и будут привлекать к этому уже своих детей. К счастью, спрос на детскую литературу по-прежнему большой. Да в общем-то, я это чувствую и по реализации книг «Мастацкай літаратуры».

Другой момент — это то, что востребована бумажная книга. Ни интернет, ни электронные читалки не могут ее заменить подавляющему числу читателей. Во всяком случае, возможно, многие из тех, кто не чуждается электронной книги, поступают, как я: электронный вариант хорош для того, чтобы прочитать то, к чему возвращаться уже не будешь. Или чтобы прочитать ознакомительный фрагмент. Но если этот фрагмент меня сильно впечатлил, то я, несомненно, буду искать бумажную версию.

Это, скажем так, общее впечатление от книжного рынка. То, что касается не только белорусского читателя и издателя. Если же иметь в виду именно белорусский контекст, то не может не радовать, что на нашем книжном рынке отечественная литература в большом количестве представлена всеми своими жанрами, что она активно развивается, в том числе и за счет пристального внимания к новым направлениям и тенденциям в мировой литературе.

— 500-летие белорусского книгопечатания принесло много открытий. Все ли сделано? Что бы еще Вы добавили в тему 500-летия?

— В нашем издательстве недавно вышел объемный том «500 лет белорусского книгопечатания», в котором сделана попытка отметить все самое значимое, что было в нашем книгопечатании за эти пять столетий. А если добавить к этому книги других издательств, посвященные юбилею нашего книгопечатания, то получится приличная и, мне кажется, очень ценная библиотечка. Поэтому, что касается каких-то книжных проектов, то тут проделана огромная работа. Но вот что касается

популяризации в массовом сознании образа Франциска Скорины, человека, благодаря которому мы и отмечаем этот замечательный юбилей, то тут, мне кажется, можно было бы сделать значительно больше. Тем более что жизнь и деятельность Скорины — это огромный материал для увлекательного романа, для сценария художественного фильма. Кстати, единственный игровой фильм о первопечатнике вышел аж в 1969 году. Назывался он «Я, Франциск Скорина», а главную роль в нем сыграл Олег Янковский.

— Какой максимальный тираж может сегодня быть у белорусской книги? Есть ли разница в этом плане, если книга издается на русском или белорусском языках?

— Максимальный — это скорее исключение из общей тенденции, поэтому о нем говорить сложно. Допустим, я назову цифру в три тысячи, что само по себе очень много, но возможно, что сейчас, когда мы беседуем, где-то печатается книга, которая разойдется и большим тиражом. Но вообще для хорошей прозы, для известного автора полторы тысячи — это хороший тираж. А так, чтобы исключить все издательские риски, проза обычно выходит тысячным тиражом. Детская — полторы-две тысячи. Увы, сегодня очень тяжело расходится поэзия. Но тут надо иметь в виду и тот факт, что и пишущих стихи у нас много, и многие авторы не прочь издать книжечку стихов за свой счет небольшим тиражом — в частном издательстве это не такие уж фантастические деньги. Поэтому книжный рынок такой продукцией не обделен, но тиражи ее маленькие.

— Достаточной ли Вам кажется существующая в стране книготорговая сеть?

— Конечно, хотелось бы, чтобы хороший книжный магазин был в каждом районном центре. Но я же прекрасно понимаю, что это вопрос, в первую очередь, экономической целесообразности. И любой книготорговец в ответ на мое пожелание может сказать, мол, выпускайте книги, которые будут тут же расходиться, и мы откроем по книжному магазину хоть в каждой деревне. А вообще у нас партнерские отношения с нашей главной в республике книготорговой организацией — «Белкнигой» — очень хорошие. Там работают замечательные профессионалы, которые любят книгу и готовы к сотрудничеству в любой форме, если оно способствует реализации книжной продукции. Хотелось бы, конечно, чтобы в недалеком будущем в одном из книжных магазинов появилась хорошая, просторная площадка для регулярных книжных презентаций, которые давно существуют, например, в Москве и Петербурге. Чтобы читатель знал, что именно там и по таким-то дням проходят встречи с авторами и издателями. Хотя мы и сегодня часто презентуем свои издания в книжных магазинах, но именно простора как раз-таки не хватает.

— Насколько меньше по сравнению с предыдущими годами стали покупать книги библиотеки?

— Увы, заказы упали раза в два. Но поскольку это произошло не сегодня, а несколько лет назад, мы, дабы не усугубилась эта проблема, поскольку все же львиная доля нашей продукции закупается именно библиотеками, начали более активно изучать их спрос на художественную литературу: чего из классики им не хватает, книги каких детских писателей они хотели бы приобрести и т. д. Это дало положительные результаты. С другой стороны, и мы сами там часто выступаем, пропагандируем тех авторов и произведения, которые пока, может, не очень хорошо известны, но достойны самого пристального внимания.

— Ваше отношение к творчеству молодых литераторов? Видите ли перспективные имена среди 20-30-летних поэтов и прозаиков?

— Литературное становление происходит очень быстро. В двадцать лет ты можешь быть еще никому не известным автором, а в тридцать уже

стать популярным. Кстати, Владимир Короткевич первый вариант своей знаменитой повести «Дикая охота короля Стаха» написал, когда ему еще вот-вот только должно было исполниться двадцать. Допустим, это исключение в литературном мире, но тогда вспомним другой факт: в двадцать восемь лет Иван Шамякин написал свой первый роман «Глубокое течение», который имел огромный читательский успех. Поэтому к творчеству молодых всегда надо подходить с трепетным чувством ожидания появления чего-то значимого, очень серьезного. Со следующего года «Мастацкая літаратура» начинает новую книжную серию «Время XXI». В основном в ней будут представлены как раз те, кого еще смело можно называть молодыми, в том числе и по возрасту. Те, о чьих произведениях можно сказать: это литература двадцать первого века, со своей стилистикой, своим языком. Первой в этой серии выступила Станислава Умец, которая пишет фэнтези, и мне кажется, пишет интересно, заставляя читателя не только следить за развитием событий, но и думать. Ну, а потом, уже через несколько месяцев должен появиться второй выпуск ежегодника «Першацвет» — книга, которую мы издаем по итогам ежегодного литературного конкурса молодых поэтов и прозаиков, где «Мастацкая літаратура» вместе с Министерством информации Республики Беларусь и Издательским домом «Звязда» выступает в числе организаторов. В прошлом году были очень интересные конкурсанты, и кое к кому из них мы внимательно присматриваемся, при этом прекрасно понимая, что литературное творчество не терпит суеты и молодой автор, победив в конкурсе с одним рассказом, потом может засесть на год-два за написание повести.

— Помогает ли развитию современного книгоиздания литературно-художественная критика? Где ей больше стоит работать — в Интернете, в литературных журналах или в массовых газетах?

— Конечно, сегодня влияние критики на литературный процесс уже не то, что было в советское время, когда появление твоего имени в одной обойме с более опытными и признанными мастерами слова уже этим возвышало тебя. Но, конечно же, она нужна, поскольку призывает и читателя обратить внимание на то или иное произведение, на нового автора, и самой литературе помогает сформулировать общие тенденции развития, расставить приоритеты, очертить проблемы. Она может и должна быть везде — и на страницах литературных изданий, и в общественно-политической периодике, и в Интернете. Другое дело, что в интернете все-таки превалирует читательская критика, не профессиональная, хотя нередко и пытается выдавать себя за такую. Что же касается массовых газет, то здесь тоже свои тонкости: я не уверен, что большинству читателей общественно-политического издания понравятся полосные рецензии на новую книгу какого-нибудь поэта. Конечно, им место в литературных изданиях. Но и Интернет, и массовая, и литературная периодика в этом плане только дополняют друг друга и в целом служат развитию литературы.

— И конечно же, не могу не спросить: а что же сам пишет издатель и поэт, прозаик, критик Алесь Бадак?

— Я сейчас готовлю две свои рукописи — одна прозы, другая поэзии. Учитывая, что прозы собралось больше, да и большинство из написанного в этом жанре уже прошло через периодику, многое переводилось на разные языки, думаю, что и готова она будет раньше.

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.

Литературное содружество

«Стихи с акцентом»

Известная таджикская поэтесса Гулрухсор Сафиева пишет стихи и на русском языке. Явление для литератур постсоветских республик, для национальных литератур бывшего Советского Союза, а также для национальных литератур Российской Федерации не новое. В Удмуртии плодотворно работает на удмуртском и русском народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги. В Калмыкии пишет стихи на русском, переводит стихотворения других авторов на калмыцкий кандидат филологических наук Римма Ханинова. И вот — еще одна встреча. Но уже в Центральной Азии…

Из одной поездки в Таджикистан привез поэтический сборник Гулрухсор (раньше ее знали исключительно как Гулрухсор Сафиеву) «Одна планета на двоих». В этом году у Г. Сафиевой — юбилей. И наверное, о ней много будут писать в самых разных странах Содружества… Ее творчество хорошо знают читатели нескольких поколений. Замечательная поэтесса, автор более 80 книг, она была депутатом Верховного Совета СССР. Лауреат Премии Ленинского комсомола — и Советского Союза, и Таджикистана. Лауреат Государственной премии Таджикистана имени Рудаки. Пишет на двух языках — на таджикском (фарси, дари) и русском. Первая книга стихотворений, написанных на русском, вышла в Москве — в 1997 году. Хотя еще и раньше многие сборники на русском выходили со стихотворениями, которые были переведены с таджикского. У меня в руках — душанбинское издание русских стихотворений живого классика таджикской национальной поэзии. Читаю предисловие самой поэтессы: «Стихи поэта — это его дети, и он за них в ответе в любом возрасте…

Мне кажется, прародительницей всех времен является любовь. Не люблю толковать слово «любовь», как это делают иногда. Слово это, как судьба, не поддается расшифровке… Любовь как талант: либо она есть, либо ее нет. По своей сути она созидательна. Таджики любят повторять: «Из мужчины истинного мужа сотворит женщина; из мужчины труса и ничтожество тоже сотворит она».

Можно сказать и наоборот: «И женщину делает царицей или рабыней мужчина». Миссия Адама и Евы на земле заключалась не только в продлении жизни, но и в сотворении поэзии.

А настоящая поэзия всегда была и будет детищем большой любви, на каком бы языке она ни писалась…»

В этих словах, с которыми сложно поспорить, — главный лейтмотив русскоязычного сборника поэзии Гулрухсор Сафиевой. Листая книгу стихотворений, я нашел и «белорусские» произведения талантливой поэтессы. Одно из них — «Света дочь». В подзаголовке: «Послание Светлане Алексиевич, белорусской писательнице, автору знаменитой книги «У войны не женское лицо». Написанное давным-давно, оно сегодня, когда Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию в области литературы, читается несколько иначе:

...Дочь света,
Белой Руси совесть,
меж жизнью и смертью
ты тонкая нить.
В твоих тревогах,
в твоих глазах,
на моих глазах,
Боже, без дыма,
без огня,
горит Хатынь,
Хатынь горит!..

Другое «белорусское» стихотворение адресовано Ядвиге — «Круговращение».

Ядвига Юферова — известная журналистка «Комсомольской правды», уроженка Гродненщины, точнее — Ивьевского района.

Гулрухсор Сафиева и сегодня много работает, живо интересуется состоянием дел в национальных поэзиях народов стран Содружества. Об этом мы говорили с ней в Союзе писателей Таджикистана. Об этом она говорила на Международном симпозиуме литераторов стран Навруза, который проходил в Таджикистане минувшей весной. Это видно по настроению, поэтическому сердцебиению в ее русскоязычной книге — «Одна планета на двоих». Под одной обложкой — стихотворения, посвященные Андрею Вознесенскому, Владимиру Савельеву, литературному критику Татьяне Бек, другие произведения, которые сегодня соединяют уже страны и народы. Нельзя без тревоги за завтрашние времена читать строки из стихотворения «Приглашение в рай», в подзаголовке которого: «Приезжайте! У нас будете жить, как в раю…» («Из приглашения поэту-беженцу»):

Я без Ада своего,
как рыбка без воды.
И без предательства
братьев кровных —
как Иосиф прекрасный
в колодце бездонном…

Поэтесса прошла через войну, через унижение и непонимание. Ее родной таджикский народ перенес испытания, вся трагичность которых, весь драматизм которых отбросил развитие гуманистических убеждений на столетия назад. И только человек с тонкой натурой художника понимает, насколько сложно восполнять потом сердечное, духовное пространсто, без которого мир, сама жизнь просто невозможны, теряют свой смысл. Гулрухсор Сафиева, вобравшая в себя всю боль и все страдания соотечественников, имеет право и на такое стихотворение-предупреждение, как «Чечне, пылающей в огне». Написанное в 1995 году, оно не может не остаться в арсеналах памяти многих народов.

Очаг, сожженный не однажды,
боль без рыданья,
страна страданья.
Мой дикий плач,
мой тихий стон —
Чечня!
Чечня —
моя больная совесть,
политики кровавой повесть,
Чечня —
подстреленный орел,
мой раненый Таджикистан, —
Чечня!

Поэты в тревожные времена первыми звонят в колокола. Разумеется, настоящие поэты, чьи произведения наполнены мужеством, честностью и правдивостью в гражданской позиции. Таджикская поэтесса Гулрухсор Сафиева — из их числа. И подтверждает это ее книга стихотворений, написанных на русском языке. Вот что писала о ней в 1997 году Татьяна Бек: «Красивая, статная, гордая, скуластая и густоволосая, острая на язык и фонтанирующая замыслами, непреклонная спорщица с сильными и щедрая опекунша слабых — таков общий абрис этого уникального облика и характера. А мы, друзья, называем ее ласково, как птицу: Гуля.

На ее землю пришла беда, война, распря. И страшная эта трещина прошла, как водится, и по судьбе поэта. Прекрасная женщина с отвагой посмотрела в лицо наемной гибели. Чудом выстояла ее отмеченная Богом душа: таланту и чистой совести можно угрожать, но их нельзя ни унизить, ни уничтожить. (Легче ли тебе, Гуля, от моих слов?)

Уже второй год она — везде и нигде. Теперь обитает здесь, у нас, в России, скитаясь по казенным домам Москвы и Подмосковья. Ей нелегко — и стихи ее, которые я уже давно перевожу (спорим до хрипоты над каждой строчкой!), становятся все трагичнее, мужественнее, глубже…»

Сегодня — и это тоже счастье! — Гулрухсор Сафиева дома, в Душанбе, Таджикистане. Ее голос слышат, ее шаги знают, ее любят и всегда ждут слов ее — призывных, страстных… А завершает сборник «Одна планета на двоих…» такое четверостишие:

Уходят люди не прощаясь,
В залог оставив высоту.
Как дочь Памира
низкорослым,
Я оставляю высоту!..

Микола БЕРЛЕЖ

Авторы номера

РУБЛЕВСКАЯ Людмила Ивановна. Родилась в 1965 г. в Минске. Окончила Минский архитектурно-строительный техникум, филологический факультет Белорусского государственного университета, училась в Литературном институте им. М. Горького. Поэт, прозаик, журналист, литературный критик. Автор более 20 книг поэзии и прозы. Лауреат конкурса драматургии «Купалавы далягляды», премии «Залаты апостраф» журнала «Дзеяслоў» и премии Франтишека Богушевича. Живет в Минске.

БАДАК Алесь Николаевич. Родился в 1966 г. в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор сборников поэзии «Будзень», «За ценем самотнага сонца», «Маланкавы посах», книг для детей «Верабей з рагаткай», «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў» и др. Лауреат литературных премий «Залаты апостраф», «Золотой купидон» и Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества». Живет в Минске.

БУНТО Тамара Петровна. Родилась в 1959 г. в г. Молодечно. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книг для детей «Белое облачко» и «Дзяўчынка з Вішнёвага завулка». Живет в Минске.

ЛИСНЯК Александр Алексеевич. Родился в 1948 г. в Лискинском районе Воронежской области. Окончил дирижерско-хоровое отделение культпросветучилища, факультет журналистики Воронежского государственного университета. Автор многих книг поэзии и прозы. Живет в деревне Прудок Городокского района Витебской области.

ШАТЫРЕНОК Ирина Сергеевна. Родилась в г. Молодечно. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книг «Нешкольные рассказы», «Старый двор моего детства», «Пестрые повести о любви», «Банные мадонны», «Слово о слове». Лауреат премии конкурса им. А. Дубко Гродненского облисполкома. Живет в Гродно.

ШЕВЧЕНКО (Чеботько) Людмила Владимировна. Родилась в 1954 г. в д. Губинка Гродненского района Гродненской области. Окончила культурно-просветительное училище и библиотечный факультет Минского института культуры. Автор поэтических сборников «Состояние души», «В зеленом мае», «Я здесь своя» и книг для детей «Праздничный пирог» и «Веселая карусель». Живет в Гродно.

МИХАЛЕНКО Елена (Элина) Иосифовна. Родилась в 1965 г. в Минске. Окончила физический факультет Белорусского государственного университета. Автор книги прозы «Дорога в Рождество», сборника стихотворений «Я — не чужая», книг для детей «Добрые сказки», «Подарок для Христа», «Веселые зверюшки», «Ласточка», «Тайны бабушкиного клубка», «Солнечный секрет», «Мир в дом», «Воскресная литургия», «Кто отдает, тому Бог подает» и др. Живет в Минске.

БЫКОВА Светлана Анатольевна. Родилась в 1962 г. в г. Заславль. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства. Автор восьми поэтических сборников, а также четырех книг стихов и сказок для детей и взрослых. Лауреат Республиканского литературного конкурса «Лепшы твор 2013 года» и литературной премии Минского облисполкома в номинации «Поэзия», награждена медалью ОО «СПБ» «За вялікі ўклад у літаратуру». Живет в Минске.

АИДТ Найя Марие. Родилась в 1963 г. в г. Аасиаат (Гренландия). Датская прозаик и поэтесса. Автор более 20 книг поэзии и прозы. Лауреат Литературной премии Северного совета, премии Датских литературных критиков и др. Живет в Бруклине (США).